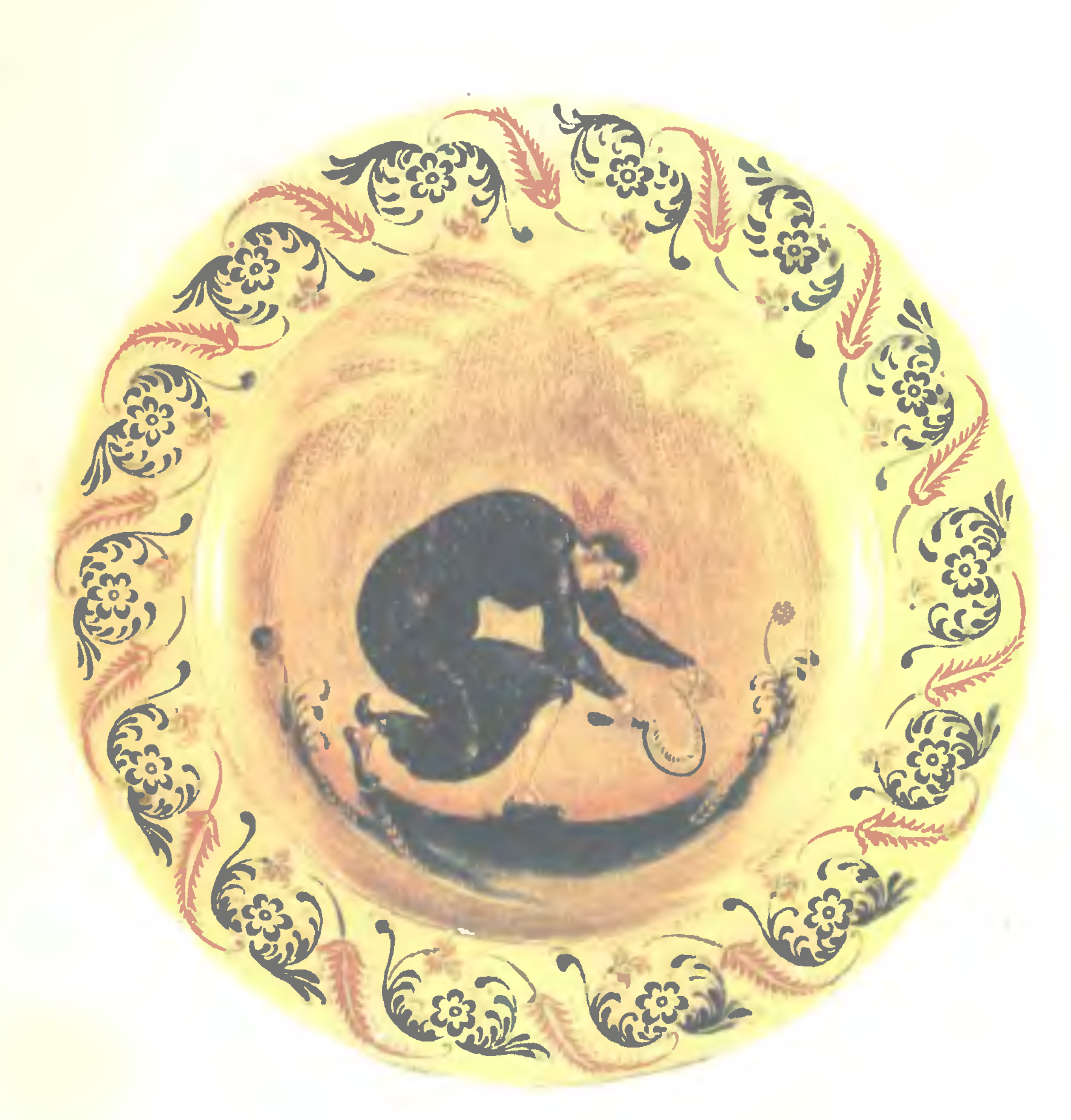


*На 1 и 4 обложках — работы
Ивана Голикова.
Палех.
1927 г.*

СЛОВО 1989. № 11. 1—88. Индекс 70110. 90 коп.

ISSN 0321-0561

СЛОВО

В МИРЕ КНИГ 11 89

ОТ ФЕВРАЛЯ

В этом номере целый ряд широко известных имен, назовем Горького, Троцкого, Пятакова, Замятина, Джиласа, Крюкова, Шафаревича... На первый взгляд может показаться странным такой выбор. Но вспомним, ведь номер-то ноябрьский, а это ли не самый подходящий повод поговорить о революции, о первых послеоктябрьских годах, о войне и неустроенности, о «белых пятнах» истории, которых так много падает именно на этот период.

Мы не даем расширенных комментариев к публикуемым произведениям, ограничиваясь в отдельных случаях редакционными примечаниями, с тем чтобы читатель сам постарался оценить суть авторского поиска истины и объективности в происходившие события.

Привлекая в свидетели истории очевидцев — революционеров, вождей, государственных деятелей, крупнейших писателей и общественных деятелей, — способных объяснить по-своему горячие точки столкновения масс, мы даем читателю возможность самому понять тайный смысл сложных явлений начала социалистического века во всей их противоречивости, а иногда и в трагическом драматизме, в непомерной жестокости.

Ведь это уроки нашей истории, и нам от них никуда не уйти... Постижение их не может быть легким, оно вызывает досаду, горечь, раздражение, но, одолев их, мы приблизимся к истине...

Революционеры. Открытка начала 20-х годов.



Представление рубрики на стр. 15. В этих материалах будут широко использоваться архивные фотодокументы.

ДО ОКТЯБРЯ

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

БЕССТРАШИЕ РАЗУМА

Иногда дерзость воображения, обязательная для литератора, ставит предо мной вопрос

— Как видит Ленин новый мир?

И предо мной развертывается грандиозная картина земли, изящно ограненной трудом свободного человечества в гигантский изумруд. Все люди разумны, и каждому свойственно чувство личной ответственности за все, творящееся им и вокруг него. Повсюду города, сады — вместилища величественных зданий, везде работают на человека покоренные и организованные его разумом силы природы, а сам он — наконец! — действительный властелин стихий. Его физическая энергия не тратится больше на грубый, грязный труд, она переродилась в духовную, и вся мощь ее направлена к исследованию тех основных вопросов бытия, над решением которых издревле безуспешно бьется мысль, расшатанная, раздробленная необходимыми усилиями объяснения и оправдания явлений социальной борьбы, измученная неизбежной в мире этих явлений драмой признания двух непримиримых начал.

Облагороженный технически, осмысленный социально, труд стал наслаждением человека. Действительно освобожден, наконец, разум человека — самое драгоценное начало в мире — и, действительно, разум стал бесстрашен.

Бесстрашие разума и острая проницательность в области политики — основные свойства натуры Ленина. Мир никогда не слыхал языка, которым говорит дипломатия, вдохновляемая им. Пусть это — язык, грубо терзающий нежные уши дипломатов во фраках и смокингах, но это — убийственно правдивый язык. А правда пребудет грубой до поры, пока мы, люди, сами не сделаем ее красивой, как наша музыка, которая является одной из хороших правд, созданных нами.

Не думаю, чтоб я приписал Ленину мечты, чуждые ему, не думаю, что я романтизирую этого человека, я не могу представить его себе без этой прекрасной мечты о будущем счастье всех людей, о светлой, радостной жизни. Чем крупнее человек — тем более дерзка его мечта.

Ленин больше человек, чем кто-либо иной из моих современников, и хотя его мысль, конечно, занята, по преимуществу, теми соображениями политики, которые романтик должен назвать «узко практическими», но я уверен, что в редкие минуты отдыха эта боевая мысль уносится в прекрасное будущее гораздо дальше и видит больше, чем я могу представить себе. Основная цель всей жизни Ленина — общечеловеческое благо, и он неизбежно должен прозревать в отдалении веков конец того великого процесса, началу коего аскетически и мужественно служит вся его воля. Он — идеалист, если вложить в это понятие соединение всех сил натуры в одной идее — в идее всеобщего блага. Его личная жизнь такова, что в эпоху преобладания религиозных настроений Ленина сочли бы святым.

Я знаю: мещан это взбесит, многие товарищи усмехнутся, и весело захохочет сам Ленин. Святой — это, действительно, парадоксальное и смешное слово в приложении к человеку, для которого «нет решительно ничего святого», как сказал о нем древний «богочеловек» бывший революционер Н. Чайковский; святой Ленин, — которого благовоспитанный и культурный вождь английских консерваторов лорд Черчилль считает «самым свирепым и отвратительным человеком»!

Но почтенный лорд не станет отрицать, что церковная святость редко исключала свирепость и жестокость, чему примером могут служить кровавые драки отцов церкви на вселенских соборах, инквизиция и множество прочих мерзостей. С другой стороны, область гражданской деятельности во все времена создавала гораздо больше истинно святых людей, если под святостью подразумевать бескорыстное, бесстрашное служение интересам народа, свободы, истины.

Суровый реалист, хитроумный политик — Ленин постепенно становится легендарной личностью. Это — хорошо.

Из глухих деревень Индии, проходя сотни верст по горным тропинкам и лесам, тайком, рискуя жизнью, пробираются в Кабул, в русскую миссию индусы, замученные вековым гнетом английских чиновников, приходят и спрашивают

— Что такое Ленин?

А на другом конце земли норвежские рабочие говорят русскому безразличному человеку

— Вот, Ленин — самый честный парень. Такого еще не было на земле!

Я говорю: это хорошо. Большинству людей необходимо верить для того, чтоб начать действовать. Слишком долго дожидаться, когда они начнут думать и понимать, а злой гений капитала все быстрее душит их нищетой, алкоголизмом, истощением.

Кажется, необходимо упомянуть, что Ленину не чужды увлечения дружбы и вообще не чуждо ничто человеческое. Несколько неловко и смешно говорить об этом, но мещане всего мира так напуганы, а лорд Черчилль, поглядывая на Восток, так свирепо и вредно для себя раздражается! Страдая добродушием, я нахожу себя обязанным несколько успокоить испуганных, раздраженных и прочих врагов вождя «большевизма».

Бывает, что Ленин переоценивает добрые качества людей в их пользу и во вред делу. Но почти всегда его отрицательные оценки — казалось бы неосновательные — неизбежно подтверждаются людьми, которых он отрицательно оценил еще раньше, чем видел результаты их работ. Это может свидетельствовать о том, что дурные свойства людей чувствуются Лениным лучше хороших, но также и о том, что дрянных людей вообще и всюду значительно больше, чем полезных.

Иногда в этом резком политике сверкает огонек почти женской нежности к человеку, и я уверен, что террор стоит ему невыносимых, хотя и весьма искусно скрытых страданий. Невероятно и недопустимо, чтоб люди, осужденные историей на непримиримое противоречие — убивать одних для свободы других, — не чувствовали мук, изнуряющих душу. Я знаю несколько пар глаз, в которых это жгучее страдание застыло навсегда, на всю жизнь. Всякое убийство органически противно мне, но эти люди — мученики, и совесть моя никогда не позволит мне осудить их.

Замечаю, что, говоря о Ленине, невольно хочется говорить обо всем, — пожалуй, иначе и не может быть, потому что говоришь о человеке, стоящем в центре и выше всего.

Разумеется, лично о нем можно сказать значительно больше, чем сказано здесь. Но — мне мешает скромность этого человека, совершенно лишенного честолюбия: я знаю, что даже и то немногое, что сказано здесь, покажется ему излишним, преувеличенным и смешным. Ну, что ж, — пускай он хохочет, он это хорошо делает, но я надеюсь, что многие прочтут эти строки не без пользы для себя.

В этих строках шла речь о человеке, который имел бесстрашие начать процесс общеевропейской социальной революции в стране, где 85% крестьян хотят быть сытенькими буржуями — не больше этого. Это бесстрашие многие считают безумием. Я начал свою работу возбудителя революционного настроения славой безумству храбрых.

Был момент, когда естественная жалость к народу России заставила меня считать безумие почти преступлением. Но теперь, когда я вижу, что этот народ гораздо лучше умеет терпеливо страдать, чем сознательно и честно работать, — я снова пою славу священному безумству храбрых.

Из них же Владимир Ленин — первый и самый безумный.

Фрагмент из статьи «Владимир Ильич Ленин», напечатанной в 1920 году в журнале «Коммунистический Интернационал» (№ 12) и с тех пор не публиковавшейся. Ее разыскал и предложил нам читатель из Ленинграда, библиофил В. Кондрияненко.

ТРАДИЦИИ. ДУХОВНОСТЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ.

ЕВГЕНИЙ ЧЕЛЫШЕВ,
академик

В ИМЯ ЛЮБВИ И СОБОРНОСТИ



ЧЕЛЫШЕВ Евгений Петрович родился в 1921 году. Получил высшее востоковедческое образование. В течение многих лет заведовал отделом литературы народов Востока в Институте востоковедения АН СССР. В 1987 году избран действительным членом Академии наук СССР, а в 1988-м — академиком-секретарем отделения литературы и языка Академии. Является также членом ее президиума. Лауреат премии имени Джавахарлала Неру. Член Союза писателей СССР. Автор многих книг и других публикаций по вопросам индийской литературы, восточной культуры и общим проблемам литературоведения и культурологии.

Сейчас в научных учреждениях страны, связанных с гуманитарными науками, идут жаркие дискуссии. Одна из них — о роли книги в духовной жизни, в восстановлении нравственных устоев нашего общества. Но так получается, что в массовой прессе инициативу ученых перехватывают публицисты и журналисты, часто высказывая непрофессиональное мнение, к тому же нередко отражающее групповые интересы. И это создает в сознании читателей перекосы, они сбиваются с толку: как все понять, где истина?

А что же ученые — филологи и литературоведы? Они главным образом заняты работой над фундаментальными трудами, которые, как правило, являются «долгостроем». В итоге научная мысль остается втуне, либо выходит на страницы лишь узкоспециальных периодических изданий. Я долго об этом размышлял, размышляю и сейчас, поэтому попытаюсь кратко сказать главное — о чем же спор.

КНИГА И ПЕРЕСТРОЙКА. МНЕНИЕ УЧЕНОГО

Наконец-то пришло время настойчивых поисков путей освобождения нашего сознания от догматизма и стереотипного мышления. Мы снова и снова пытливо обращаемся к отечественной и мировой духовной культуре, стремясь обнаружить в ней животворные силы, способные обновить, гуманизировать наше общество, вызвать в каждом человеке жажду нравственного совершенствования. Потому что мы сегодня как никогда нуждаемся в мудрости и добре, в «квинтэссенции мировой работы духа человеческого», воплощенной, по словам А. М. Горького, в книге. Мы прислушиваемся и к голосу наших далеких предков, стремясь обнаружить в нем, как писал летописец в «Повести временных лет», «великую пользу душе своей».

Безусловно, большую роль в преодолении бездуховности, в нравственном оздоровлении нашего общества играет русская православная церковь. И в то же время у нас существует Институт научного атеизма! Недавно мы прекрасно осознали значение для отечественной культуры 1000-летия крещения Руси, а у нас все еще бытуют стереотипные представления о религии как опиуме для народа... Но ведь Древняя Русь и с XV века Россия, Белоруссия и Украина вместе с Византией, как бы объединив Восток с Западом, создали единственную в своем роде синтетическую культуру, свободную от крайностей как восточного мистицизма, так и западного скептицизма. На этой плодородной почве выросли Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, творчество которых одухотворено, как сказал Д. С. Лихачев, возвышенным «нравственным идеалом» и «нравственным достоинством нации».

Ныне пред нами предстают во всем своем совершенстве уцелевшие от разрушения и надругательства восстановленные храмы. Мы заново узнаем потрясающую силу культовой музыки и церковных песнопений, пришедших к нам из далекого прошлого, но звучащих сегодня удивительно современно. В этой связи заслуживает одобрения и начало публикации в № 8 журнала «Слово» «Жизни Иисуса» Э. Ренана с содержательным предисловием члена-корреспондента АН СССР С. С. Аверинцева. Все это помогает утолять длившуюся в нашей стране многие годы духовную жажду...

Так постепенно мы приобщаемся к истокам, которые веками формировали русский характер, закладывали основы нашей самобытности. Но я бы хотел вернуться в более близкое время. Все мы видим, какой большой общественный интерес возбужден долгие годы находившимися под запретом произведениями русских философов — Н. Бердяева, С. Булгакова, В. Соловьева, П. Флоренского, А. Лосева. Ибо мы устали от схоластики, начетничества, догматизма, нагнетаемых в «творениях» некоторых наших официальных философов, лишь компрометировавших марксизм. В атмосфере бездуховности народ истосковался по живому слову, по высокой историко-философской культуре. И вот классики отечественной мысли возвращают нам в своем величии и глубине все животворное, что содержится в духовной традиции России. В эпоху, когда над человечеством нависла угроза самоуничтожения, необходимо вернуться к традиционному пониманию добра как единого для всех абсолюта. И русская философия дает здесь верные ориентиры.

Но было бы наивным ожидать, что поборники догматизированного марксизма в философии легко сдадут свои позиции. Одни из них, к примеру, стремятся (и небезуспешно) урезать тиражи произведений русских философов (сочинения В. Соловьева были выпущены 30-тысячным тиражом, а Гегель издан в количестве 175 и 150 тысяч экземпляров), другие открыто выступают против их взглядов. Ну могли ли философы-ортодоксы времен культа личности и застоя принять идею В. Соловьева — его требование от каждого человека постоянного нравственного беспокойства за свое поведение. Только тот, утверждал ученый, кто постоянно чинит суд над самим собой с позиции высшего авторитета (а у религиозных людей это Бог, у неверующих — личный нравственный идеал), неспособен на подлость, не теряет человеческого достоинства, не совершает сделку с совестью. Как это важно, как нужно сегодня всем нам!

Можно зачастую слышать, что обращение к нашим духовным традициям означает уступку религии, противоречит зафиксированному в ряде различных официальных документов тезису об атеистическом воспитании и антирелигиозной пропаганде. Но вряд ли кто ныне станет прилюдно отрицать, что в обстановке гуманизации нашей общественной жизни и формирования нового мышления, при утверждении таких во многом утраченных нравственных идеалов, как доброта, порядочность, сострадание, совесть, милосердие, огромна роль отечественной духовной культуры, а значит и ее составной части — религиозной идеологии.

Особенно большой ущерб был нанесен запретом на Библию, являющуюся, как известно, в течение многих веков неиссякаемым источником культурного прогресса человечества. Год назад в издании Московской патриархии Библия вышла тиражом 100 тысяч экземпляров. За рубежом на русском языке появилась трехтомная Толковая Библия под редакцией профессора А. Лопухина... А у нас ничего — издательства молчат. Что же получается? За рубежом Библия является основой гуманитарного образования, там дети со школьного возраста узнают свою национальную культуру, которая воплощена во многих библейских текстах. У нас же без меры изучают различные обществоведческие дисциплины, во многом построенные на устаревших догматических теоретических предпосылках.

Хочется надеяться, что становящиеся достоянием широких кругов нашей общественности Библии и произведения русских религиозных философов будут только способствовать восстановлению в нашем обществе нравственных идеалов, придадут новый импульс развитию отечественной культуры. Не будем забывать, сколько ее шедевров создано под воздействием библейской мифологии. Воспитанниками В. Соловьева были наши «серебряные поэты» А. Блок, А. Белый, В. Брюсов. А разве не является продолжением той же цепи обращенная с жгучим вопросом к действительности «Плаха» Чингиза Айтматова с ее возвышенным моральным пафосом, освещенным бессмертными образами христианской мифологии, которые обрели в руках большого художника не религиозное, а общечеловеческое содержание...

Преследованиям у нас, как известно, подвергалась не только православная церковь, но и ислам, распространенный в республиках Средней Азии, а также в некоторых районах Кавказа, Урала, Поволжья; католицизм и протестантство — в прибалтийских республиках и в западных районах Украины; буддизм — в Бурятии и т. д. «Таджикская словесность, записанная арабским шрифтом, запечатлевшая мудрость веков, обобщившая нравственный опыт поколений, способный осветить жизненный путь... все то, что считалось священным, было объявлено вредным, использовано как топливо, затоплено в реке и арыке, замуровано в стене, закопано на кладбище», — писал недавно академик Академии наук Таджикской ССР М. Шукуров. Думается, что возвращение у нас интереса к арабской письменности является стремлением вернуться к своим истокам, найти в них опору и поддержку в восстановлении разрушенной духовной культуры.

Участь Библии у христиан разделил Коран, слово которого, являясь высшим вербальным, или графическим знаком для мусульман, представляет собой основу классического наследия сотен миллионов людей в странах Востока, квинтэссенцию их духовной культуры. «Мать книги» (Умм ал-китаб), как называют Коран мусульмане, всегда вызывала большой интерес в нашей стране не только как священная книга мусульман, но и как важнейший памятник арабско-мусульманской и мировой культуры.

Многие отечественные ученые, комментаторы, переводчики внесли заметный вклад в мировое корановедение. Первый перевод Корана на русский язык, правда, еще весьма несовершенный, был осуществлен по инициативе Петра Великого и вышел в свет в 1716 году. Переводы и исследования Корана обогатили мировую и отечественную культуру. Мотивы Корана звучат в творчестве И. В. Гёте, поэтические образы Корана послужили источником вдохновения А. С. Пушкина в его «Подражаниях Корану». Издание полного перевода Корана значится в проспекте издательства «Всемирная литература», основанного в 1919 году М. Горьким. В 1963 году с большим трудом удалось осуществить в Издательстве восточной литературы издание Корана в переводе известного советского востоковеда академика И. Ю. Крачковского. В настоящее время в издательстве «Наука» готовится новое издание Корана — в переводе профессора Н. О. Осипова.

Таким образом предпринимаются попытки восстановления нашей духовной культуры. При этом мы хорошо отдаем себе отчет в том, что в религиозной идеологии гуманистические мировоззренческие тенденции сосуществуют с фанатизмом, ортодоксальностью, кликушеством. Задача состоит в том, чтобы отделить зерна от плевел, и приходится предпринимать много усилий для того, чтобы восстановить «белые пятна» в советской многонациональной культуре.

Сегодня мы особенно ясно осознаем, как гонения на религию, разрушение храмов, мечетей, пагод, запреты на литературу, обращенную к духовным традициям, репрессии против верующих подрывали основы нравственности, нагнетали обстановку бездуховности, являлись одной из причин обострения в нашей стране межнациональных конфликтов.

Еще свежа в моей памяти состоявшаяся в апреле 1988 года научная конференция, посвященная актуальным вопросам исторической науки и литературы, организованная АН СССР, Союзом писателей страны и Академией общественных наук при ЦК КПСС. На ней со всей очевидностью обнаружилось отставание нашей исторической мысли и, как неизбежное следствие этого — изъяны и издержки исторической тематики в отечественной литературе. Однако и до сего времени мы весьма медленно продвигаемся по пути раздогматизирования отечественной истории, равнодушно, даже пренебрежительно относимся к своим культурным традициям.

Не так давно я присутствовал на весьма интересном совещании, в котором участвовали заведующие кафедрами марксизма-ленинизма, все те, от кого зависит повышение уровня преподавания обществоведческих дисциплин. В содержательном докладе М. С. Горбачева на этом совещании содержался призыв: надо решительно перестроить работу — раздогматизировать преподавание обществоведческих дисциплин. И вот слышу, как кто-то сидящий рядом шепчет: хорошо говорить, а у нас программы уже утверждены, и нам придется отвечать за их произвольное изменение...

Я уверен, по собственной инициативе, без указания сверху такие люди ничего не сделают. И вот опять идут разговоры о том, что крайне медленно перестраивается преподавание обществоведческих дисциплин, создание и издание соответствующих учебников и пособий. Когда же закончится раскачка? Ведь уходит драгоценное время. Надо торопиться! В частности, печатать и начинать изучать Библию, которая является не только собранием религиозных текстов, — ее мессианские образы давно вышли за культовые рамки, став феноменами высокого нравственного пафоса. Так неужели высокопоставленные чиновники, запрещающие использование Библии для широкого ознакомления, этого не знают и всерьез думают, что мы имеем дело с каким-то мракобесием? В такое трудно поверить, ибо речь идет о книге, которая давным-давно стала общекультурным достоянием и вот уже тысячу лет сопровождает наш народ на всех изломах отечественной истории и в радости и в беде.

А разве не парадокс, что за рубежом изучают историю СССР, русскую литературу по книгам американских, немецких, английских авторов? Я пытался выяснить у зарубежных коллег — почему. Потому, отвечали мне, что вся ваша литература такого рода комплиментарная. Зарубежные университеты сами формируют свою программу, сами выбирают учебники — те, где, на их взгляд, события изложены объективно, ничего не урезано, не искажено.

Несколько лет назад, находясь в Дели, я спросил у нашего представителя «Международной книги»: как же вы терпите, что рядом, в делийском университете, изучают советскую историю по изданным на Западе учебникам. И тогда мой собеседник рассказал, как несколько лет назад он пригласил одного индийского ученого и предложил ему приспособить наш учебник отечественной истории к требованиям тамошней университетской программы. Ученый выполнил просьбу, переработав учебник, устранив в нем «белые пятна» и другие погрешности. Рукопись была послана в Москву, а в ответ пришла разгромная рецензия, в которой учебник был признан ревизионистским.

Однако надо сказать, что дело не только в устранении «белых пятен» и фальсификаций, хотя это тоже существенно для формирования исторического сознания. Сегодня особенно важна для нашего духовного возрождения проблема историко-культурной преемственности, творческого осмысления и освоения прошлого, нравственного очищения общества. Перекосы сознания, абсолютизация конкретных событий и личностей отечественной истории, норм нравственности делали саму нравственность относительной, второстепенной, служанкой социальной действительности.

Мы живые свидетели того, как искажения, урезывания, замалчивания прошлого нанесли нам огромный ущерб, стали одним из главных источников распространения в нашем обществе бездуховности, слепого, бездумного копирования худших образцов зарубежной культуры. К сожалению, процесс восстановления исторической правды идет еще негладко — в противоборстве с экстремистскими, консервативными силами. Очень трудно преодолеть инерцию, воспринять свежий ветер перестройки не как разрушительную бурю. Падают тиражи книг историко-культурного содержания, в то время как растет всенародный интерес к историческим трудам Н. Карамзина, В. Ключевского, С. Соловьева. Сразу же после издания библиографической редкостью стали «Записки императрицы Екатерины Второй». Нетрудно разгадать секрет популярности переизданий такого рода сочинений. Читатели устали от «узаконенных» неправды, недомолвок, фальсификаций, подтасовок фактов, других неблаговидных приемов, свойственных работам многих советских авторов, на темы, связанные с историей родины, с отечественной духовной культурой.

Большой ущерб развитию советской книги нанесла и ее жестокая идеологизация. Провозглашая социалистический реализм самым совершенным художественным методом, наши теоретики «разоблачали» и «отлучали» тех деятелей литературы и искусства, творчество которых не укладывалось в догматизированную схему; «боролись» с теми, кто выступал с иных идейно-эстетических, философских позиций. В этой борьбе было немало наломано дров. Мы оттолкнули от себя многих известных деятелей мировой культуры, превратив их из ищущих, сомневающихся в наших недругов, создали для некоторых своих писателей невыносимые условия, вынудив их покинуть родину.

В этой связи особую актуальность приобретает вопрос об отношении к так называемой буржуазной советологии. Прежде политика партии в области зарубежной литературы предусматривала восхваление тех писателей, которые во всем соглашались с нами, безоговорочно принимали наш образ мыслей, и отлучение, охаивание тех, кто отваживался нас критиковать, с нами не соглашаться.

Перечитывая ныне некоторые работы зарубежных советологов, вспоминая те однолинейные оценки, грубые разносы, которым они у нас подвергались, сейчас понимаешь, что нередко не так уж и неправы они были в оценках недостатков нашей литературы, искусства, негативных явлений в жизни советского общества.

Сколько брани, например, обрушилось в свое время на Жана Поля Сартра, Дьердя Лукача, Андре Жида. О последнем скажу несколько слов. Творчество Андре Жида в 20—30-е годы было весьма популярным в Советском Союзе. Прежде всего потому, что тогда он выражал чувства симпатии к нашей стране, восхищался ее успехами. А. В. Луначарский даже написал предисловие к его роману «Фальшивомонетчики», вышедшему в русском переводе. Но после приезда Андре Жида в СССР в 1936 году, когда он написал книгу «Возвращение из СССР», где правдиво рассказал, какая глубокая пропасть отделяла действительность от социалистических идеалов, и осудил культ личности Сталина, книга эта была у нас оценена как «антисоветский памфлет», а ее автор заклеймен как «ренегат».

Приведу несколько недавно опубликованных у нас фрагментов из «Дневника» Андре Жида, которые поражают своей прозорливостью. Вот что он писал в январе 1945 года: «...в СССР меня удручало то, как еще больше, несмотря на громадные и кровавые усилия революции, укрепилось деление общества на классы, как над свободой поруганной мысли взяли верх социальные условности, а над действительностью — ложь... Разве не любовь к родной земле и личной собственности, а часто и религиозное чувство, в гораздо большей степени, нежели упрямая приверженность марксистским теориям, сделали русские силы столь храбрыми и победоносными? Сталин хорошо это понял и доказал, что понял, когда снова открыл церкви... Однако я думаю, что очень скоро будет признана обоснованность моих обвинений; особенно обвинения СССР в том, что там угнетена мысль...»

Не потому ли, из-за этого угнетения мысли, еще в 1927 году А. Фадеев отмечал, что наш читатель читает главным образом классику и переводы. Изменилось ли что-нибудь потом? Существует ли у нас объективная статистика, позволяющая определить степень популярности советской литературы в Советском Союзе и за рубежом? Или мы и здесь в интересах самоуспокоения и самовосхваления выдаем желаемое за действительное?

К сожалению, не всем известно, но мы-то, ученые, хорошо знаем, какие жаркие споры ведутся по поводу советской литературы. Перед нашим литературоведением стоит задача освободиться от догматизма, начетничества, стереотипного мышления, объективно, без предвзятости, с научных, а не пропагандистских позиций оценить советскую литературу, разобраться в ее истории, определить ее место в мировом литературном процессе. В частности, идет реабилитация, восстановление доброго имени писателей, которые по разным причинам у нас замалчивались и выпадали из литературного обихода. Издаются произведения Н. Гумилева, В. Набокова, В. Ходасевича, Е. Замятина. Современная советская литература за последнее время обогатилась «Реквиемом» А. Ахматовой, романами А. Бека, В. Дудинцева, поэмой А. Твардовского «По праву памяти». Некогда названный «очернителем советской действительности» Ф. Абрамов сегодня чтим как один из самых прославленных наших художников-реалистов.

Тем не менее процесс «реабилитации» идет не гладко. Мне кажется, что правы те критики, которые считают: нельзя сегодня безудержно восхвалять каждого писателя лишь потому, что в свое время он находился в опале или очутился в эмиграции. Критерием должны являться не факты биографии, а художественный уровень произведений.

Неверно также отодвигать на второй план наших, даже известных мастеров слова только потому, что сегодня в моде литераторы, чьи произведения долгое время находились под запретом. Честным рассказом о времени и о себе мне представляются мемуары К. Симонова, написанные им незадолго до кончины и опубликованные в журнале «Знамя». Можно пожелать, чтобы и некоторые наши ученые-обществоведы нашли бы в себе мужество также рассказать о том, как в обстановке идеологического диктата они создавали труды, за которые им приходится сегодня краснеть.

Шараханье в оценке художественных произведений писателей, которых предавали анафеме, а сегодня прославляют, существует, к сожалению, и поныне. Ленинградский литературовед Ю. Андреев рассказывал о том, как в свое время не вышла в свет его работа «Слабые и сильные стороны повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» потому, что раньше не хотели подчеркивать сильных сторон творчества этого писателя, а теперь не желают говорить о слабых. Как тут не вспомнить слова А. М. Горького. Более семидесяти лет назад он, имея в виду, что из-за недостаточной развитости общественного сознания литература в нашей стране всегда играла особенно важную роль в духовной жизни, пытался убедить оппонентов в том, что к русскому писателю «надо относиться вдвойне уважительно, ибо это лицо почти героическое, изумительной искренности и великой любви сосуд живой».

Но раньше мы повсюду декларировали преимущества именно советской литературы перед всеми иными, поскольку, дескать, в ней основной движущей силой является социалистический гуманизм и она основана на самом передовом творческом методе — социалистическом реализме. Ныне не нужно рассказывать, насколько подвергается не только критике, но и переосмыслению само понятие социалистического гуманизма.

Данный вопрос обостряется, если вспомнить, что «социалистическим гуманизмом» оправдывали жестокость и ненависть, если они проявлялись к «классовому врагу», а такие понятия, как милосердие, доброта, человеколюбие и совесть, относились к абстрактному гуманизму, то есть как раз к тем чертам русской классики, которая принесла ей мировую славу. Поэтому-то у нас и замалчивались, хранились за семью замками «Несвоевременные мысли» Горького, в которых он критиковал жестокость и беззакония, проводившиеся под флагом революционного возрождения. Как тут не вспомнить и слова Ф. Шаляпина о том, что нигилистическое отношение к прошлому у нас стало принципом государственной политики, или слова И. Бунина о том, что в России оборвалась веками налаженная жизнь, ничего не стало святого и заветного, иссохла мать-сыра земля.

Так что теперь с иных позиций следует подойти к оценке «социалистического гуманизма» ряда советских писателей, писавших о гражданской и Великой Отечественной войнах, о коллективизации и временах, когда строился «развитой социализм». В своем романе «Счастье» П. Павленко, видимо, не задумываясь о трагизме ситуации, рассказал, как за счастьем приехали в Крым переселенцы с Кубани и вселились в дома, откуда были изгнаны крымские татары. А сколько поколений советских зрителей смотрели пьесу К. Тренева «Любовь Яровая», сочувствуя женщине, предавшей своего мужа, пусть оказавшегося по другую сторону баррикад, однако самого близкого и дорогого ей человека. Но сколько было наших писателей, не соглашавшихся с такой трактовкой социалистического гуманизма. Говоря о гражданской войне, А. Неверов писал, что «жалеть нельзя, но и не жалеть нельзя».

К сожалению, идея утверждения приоритета классовых интересов над общечеловеческими ценностями пронизывала многие произведения советской литературы и искусства. Может быть, воспитанные именно на этих произведениях, в 1937 году дети публично отрекались от своих родителей — «врагов народа». Может быть, не следовало нам восхищаться и «призывом к топору», как известно, прозвучавшим в русской дореволюционной литературе.

Мы долго декларировали формулу о диалектическом единстве национального и интернационального в социалистической культуре. Но все мы сейчас являемся свидетелями того, как порой проявляется это «диалектическое единство» в межнациональных отношениях, в нашей литературе. И как не вспомнить в связи со всем здесь сказанным краеугольные камни философии В. Соловьева — любовь и соборность. Любовь, по мысли Соловьева, — это преодоление эгоизма; смысл ее — создание нового человека, его рождение и преображение. Не вдаваясь в религиозно-философскую трактовку этого понятия, замечу лишь, что соборность — это то общее, которое включает в себя все богатство каждого — особенного и единичного. Люди собираются вместе для совершения благого, общего дела без распрей, без разногласий, устремленные к единой благородной цели. Именно этих качеств недостает нам сейчас в преодолении мелочных, эгоистических интересов, в борьбе с главным — с бездуховностью, в утверждении высоких нравственных идеалов в нашей литературе и в общественной жизни.

В МИРЕ КНИГ

МОСКОВСКАЯ СТАРИНА

Изданный «Правдой» сборник воспоминаний москвичей прошлого столетия — это и есть народоведение. Поскольку городская жизнь раскрывает грани народного характера не менее ярко, чем крестьянская. Здесь тоже — у москвичей, киевлян, петербуржцев, одесситов, новгородцев — «что ни город, то норов», который уже не переломить. Такой предстает в этом сборнике Москва прошлого, которую, конечно же, мы и ранее знали по книгам Пыляева, Белоусова, Сытина, Гиляровского. Но рядом с ними в последние годы все чаще появляются новые, ранее неведомые страницы. Москва театральная, Москва торговая, Москва купеческая, Москва рабочая, Москва кулачных и петушиных боев. А популярный тенор, литератор и собиратель песенного фольклора П. И. Богатырев создал летопись московских застав — Крестовской, Бутырской, Серпуховской, Калужской, Рогожской, Покровской, в которых тот же самый неповторимый московский норов.

Правда, читая воспоминания московских старожилов, трудно не испытывать чувства ностальгической боли по утраченному, по Москве, которой уже нет и никогда не будет. Такое впечатление, что не столетие прошло, а тысячелетия. Мы смотрим туда, в XIX век, не из другого, XX столетия, а из другого мира, с другой планеты. Мы — инопланетяне по отношению к своей собственной истории. И в нас, инопланетянах, историческое сознание вообще не было предусмотрено, оно стерто из нашей памяти начисто.

Но остались книги, остались пусть малые, но все же живые частички старой Москвы, которые не удалось стереть с лица земли. А, значит, осталась и надежда, что и мы перестанем быть инопланетянами на своей родной земле...

К. ИЛЬИН.

МОСКОВСКАЯ СТАРИНА. Воспоминания москвичей прошлого столетия / Общ. ред., предисл. и прим. Ю. Н. Александрова. — М.: Правда, 1989. — 544 с.

КНИГОЧЕЮ НА ЗАМЕТКУ

Вагнер Г. К., Чугунов С. В. РЯЗАНСКИЕ ДОСТОПАМЯТНОСТИ. — М.: Искусство, 1989. — 167 с., ил. — (Дороги к прекрасному). — 50 к. 100 000 экз.

СОЛНЦЕ НАШЕЙ ПОЭЗИИ: Из соврем. Пушкинианы / Сост. Ю. И. Осипов. — М.: Правда, 1989. — 462 с. — 2 р. 10 к. 100 000 экз.

Вертинский А. ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗ РОДИНЫ: Страницы минувшего. — Киев: Муз. Украина, 1989. — 141 с. — 40 к. 21 000 экз.

Джонсон А. ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПЕРЕПЛЕТНОМУ ДЕЛУ / Пер. с англ. — М.: Книга, 1989. — 100 с. — 50 к. 55 000 экз.

Шалимов С. А., Шадура Е. А. СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНСКАЯ КУХНЯ. — 4-е изд., с изм. — Киев: Техника, 1989. — 287 с., ил. — 3 р. 10 к. 300 000 экз.

«МИНУВШЕЕ МЕНЯ ОБЪЕМЛЕТ ЖИВО...»: Воспоминания рус. писателей и их современников. Рек. библиогр. энциклопедия / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; науч. ред. В. А. Ковалев. — М.: Кн. палата, 1989. — 349 с. — 1 р. 40 к. 33 000 экз.

Барсова Л. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. 1844—1908: Попул. моногр. — 2-е изд. — Л.: Музыка, 1989. — 85 с., ил. — 35 к. 40 000 экз.

Эткинд М. А. Н. БЕНУА И РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА. — Л.: Художник РСФСР, 1989. — 480 с., ил. — 5 р. 30 000 экз.

Чегодаев А. Д. НАСЛЕДНИКИ МЯТЕЖНОЙ ВОЛЬНОСТИ: Пути худож. творчества от Великой французской революции до середины девятнадцатого столетия. — М.: Искусство, 1989. — 303 с., ил. — 1 р. 70 к. 25 000 экз.

В Р Е М Я

ИДЕИ. ДИАЛОГИ. ПОИСКИ.

Редакция печатает публицистическую статью Э. Скобелева, вводя при этом новую журнальную рубрику — «Ортодоксальные заметки». Имеется в виду первичное значение этого слова — правоверный, последовательный. Нужда в такой **правоверности и последовательности** сегодня — как и всегда — крайне большая, несмотря на всю идеологическую и социальную эластичность плюрализма. Иначе немыслима сама идея плюрализма, равноправного диалога, а не новых форм идеологического диктата и монополии на истину.

Автор этих заметок — Эдуард Скобелев, известный белорусский писатель. Родился в 1935 году в Минске. Окончил Московский государственный институт международных отношений, находился на дипломатической службе, ныне занимается вопросами зарубежных связей в аппарате ЦК Компартии Белоруссии.

Творческий багаж Эдуарда Скобелева — более двадцати книг прозы и поэзии. Среди них известные всесоюзному читателю романы: «Свидетель» (о масонах при дворе императора Петра III), «Катастрофа» (антиутопия о ядерной войне), «Мирослав — князь дреговичский» (тысячелетняя история славянства до крещения Руси), поэтические драмы о Сократе, Дмитрии Донском, Джордано Бруно, Кастусе Калиновском, Симеоне Полоцком, а также книги для детей и юношества.

В последние годы внимание читателей привлекла повесть «Гладиатор» (журнал «Неман», № 1, 1988) о чиновниках времен застоя. А недавно опубликован новый роман писателя «Беглец» («Неман», № 6—7, 1989), действие которого происходит в деревне неподалеку от Чернобыльской АЭС после эвакуации из нее жителей. Этот роман — в полном объеме — только что вышел в издательстве «Мастацкая литература» (Минск). Новая книга Э. Скобелева, в которую вошли романы «Катастрофа» и «Свидетель», вышла в этом году в издательстве «Советский писатель».



ЭДУАРД СКОБЕЛЕВ

Не доводить до абсурда



ОРТОДОКСАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Пришло время, когда мы должны взглянуть в глаза друг другу и покаяться за все негуманные деяния. Советские народы достаточно цивилизовались, чтобы повести дело подлинно равноправно, исключив любые попытки использовать чужую спину.

Самая тончайшая сфера — сфера национального самосознания, особенно сфера исторического национального самосознания. Сейчас, в период перестройки, когда мы сплачиваемся для новой работы на принципах демократизма и гласности, пора отбросить прочь все расистские бредни о богоизбранности и односторонних привилегиях. Надо подняться выше — во имя будущего. Загасить пробудившуюся жажду равноправия и достоинства не удастся; тот, кто не утратил разум, должен понять это или уйти с нашей дороги.

Я, белорус, отдаю должное в исторической жизни своего народа и русским, и украинцам, и полякам, и татарам, и евреям, и литовцам, и представителям других народов, которых люблю искренне. Но я помню и о попытках установления гегемонии, приведших к кровопролитиям и жертвам, посеявших семена раздоров и напряженностей, и говорю об этом именно для того, чтобы исключить новое проявление национальной кичливости, делающей невозможным признание ошибок, допущенных отдельными группами в том или ином народе.

Экстремисты, склонные величать себя «прорабами перестройки», все более яростно выступают за свое идейное влияние, а затем и политическую власть. Свою пропаганду они построили на эксплуатации ужасов так называемой «сталинщины», в самом деле потрясающе воздействующих на людей, так что люди в состоянии психологического шока приняли уже немало горьких пилюль с новыми лживыми мифами.

Один из них — то, что все беды страны начались в 1937 году, а до того времени, мол, были случайные «заскоки» революционеров. У «прорабов» нет никакого желания подробно и пофамильно проанализировать события до 1937 года. Почему?

Не потому ли, что этот миф имеет целью воспеть односторонние потери, оставляя в стороне вопрос об участии «революционеров» троцкистского типа в кровавых репрессиях против громадного большинства народов СССР вскоре после Октября 1917 года?

Нет прощения Сталину. Но нет прощения и той реальной системе селективных преференций и селективных репрессий, которая утвердилась задолго до того, как Сталин получил все бразды власти.

Писатель К. Лагунов опубликовал в журнале «Урал» (№№ 5—6, 1989 г.) «Хронику Сибирского мятежа», в основу которой положены подлинные материалы Тюменского губкома РКП(б) за 1921 г. Хроника показывает, какому террору подвергали народные массы «истинные революционеры» уже в первые годы Советской власти — вопреки установкам Ленина и в обход этих установок.

Вот как оценивали сложившуюся ситуацию крестьяне Караульноярской волости Тюменского уезда: «Мы ждали Советскую власть, думали, что это наша, народная власть, мы будем сами хозяева, она принесет покой, и мы улучшим свое существование. Новая власть освободила нас от податей и поборов, а взяла в тысячу раз больше, отобрали скот, хлеб и даже инвентарь. Разорили нас и обложили непосильным трудом. Положение наше с каждым днем ухудшается... Нас замучили дровами... Мыслимо ли дрова рубить зимой из мерзлого лесу и возить в таком виде. Это больше, чем тройная работа. Обмерзшие ветви деревьев, как проволочные заграждения, беспощадно рвут последнюю одежонку. Топоры об мерзлое дерево ломаются, а новых власть не дает... Излишки хлеба отобрали и не оставили даже для корма лошадей, не говоря уже о мелком скоте и птице.»

Вот он, уже обрисовавшийся ГУЛАГ! И дело, конечно, не в революции, не в социализме, не в партии — дело в особых интересах, которые преследовали присосавшиеся к революции силы, ища своей власти и своего процветания.

К. Лагунов пишет: «Губпродкомиссар Инденбаум сам не однажды допускал беззакония при проведении продовольственной разверстки: подчистую забирал зерно у всех крестьян, самовольно арестовывал и сажал крестьян в холодные амбары, арестовывал даже руководителей местных Советов.

С ведома губпродкомиссара в продотряды принимали бывших белогвардейцев. Губпродкомиссар покровительствовал продработникам, которые творили вопиющие беззакония, переходящие в политическое хулиганство. Зимой 1920/21 гг. при проведении разверстки по шерсти они силой заставляли крестьян стричь овец, которые потом погибали. Стригли даже... полушубки и тулупы!»

Я делаю выписку исключительно для того, чтобы показать: революция — это не единый процесс, это процесс противоречивый, в котором линии на освобождение народа противостояла линия на создание нового «панства», опирающегося уже не на родовые поместья, а на густую «интернациональную» фразеологию. Несчастный люд призывали отречься «во имя революции» от веры, от семьи, от вековых ценностей жизни. И — отрекались, машина «промывки мозгов» и насилия делала свое дело.

Вот почему, когда я вижу, что и теперь повторяется прежний вариант, когда нас призывают выбросить на свалку «скомпрометировавший себя социализм» во имя «будущей единой глобальной цивилизации» (см. «Международную жизнь», № 5, 1989, стр. 14), когда вперед всех протискиваются те же знакомые «прогрессисты», я говорю: задумайтесь, люди! Оцените не слова зазывал, ловко играющих на ваших страданиях и обидах, оцените их реальные дела! Куда они тянут? Чего добиваются?..

Именно такая ситуация складывается пока в так называемом «Белорусском народном фронте», где подлинные творческие силы народа оттеснены на задворки, а впереди все чаще мелькают те, кто без колебаний станет чинить насилия над правдой и национальной культурой при самой первой возможности.

Один из умнейших людей своего поколения Андре Моруа признавал: «В семье наций существуют чересчур добрые народы» («Письма незнакомке»). Он по-своему сформулировал закон, о котором нам долго не позволяли помнить: «Народы, как и отдельные люди, заходят в своих требованиях слишком далеко и посягают на что-либо до тех пор, пока не встречают отпора. Система сил пребывает в равновесии, пока действие равно противодействию. Когда противодействия нет, равновесие невозможно».

Призыв к равновесию — не моя выдумка, это общее требование народов, мощно и однозначно прозвучавшее во время работы Съезда народных депутатов СССР.

А. Солженицын, прошедший «мастерские» ГУЛАГа, вплотную подошел к пониманию сути репрессивных событий, но все же не сделал однозначного вывода, боясь «тех же нехороших людей». Именно эти люди препятствовали вплоть до недавнего времени изданию в СССР его главной книги, в которой «антисоветчины» не больше, чем в некоторых периодических миллионных изданиях, зато есть правда, которая содействовала бы оздоровлению нашей жизни.

Под флагом защиты национальной культуры можно как угодно насиловать и извращать эту культуру. Достаточно любому начинанию придавать характер крайности, — под самым безобидным и безопасным предлогом — хотеть больше, хотеть скорее и хотеть полнее «во имя»... Если уж революция, то полное уничтожение прежнего культурного слоя (миллионы людей), если уж коллективизация, то поголовная, вплоть до ссылок бедняков и расстрелов середняков (опять миллионы людей), если уж прославление вождя, то непременно создание культа, при котором легко задавить всякий голос правды как проявление «опасного инакомыслия». Эти «если» можно повторять и повторять. Задумаемся, отчего так, стихиен ли процесс в мире, сотканном из одних только причин и следствий?..

Всем нам необходимо твердо усвоить, что народ измотали именно при помощи крайностей, при помощи крайностей исчерпали творческие силы народа, внушая при этом, что в беде повинен сам народ, его дурные свойства.

Хочу привести пример использования в политических целях законов «перехода крайностей в крайности», «разрыва естественной связи между высшим и низшим, левым и правым, внешним и внутренним», «лишения цветов и отрыва от корней»...

Вспомните, на протяжении десятилетий все народы СССР были лишены доступа к произведениям своих лучших художников и наставников. Замалчиванию и освистыванию подвергались, в частности, Достоевский, Есенин, Гоголь. Читатель не знал пленительнейшего из творений Гоголя — «Выбранных

мест из переписки с друзьями».

В школе заставляли наизусть учить письмо Белинского к Гоголю, но самого произведения Гоголя не изучали, хотя во всей мировой литературе немного книг, которые могли бы сравниться с упомянутой по обилию нравственного света, образующего каркас любой национальной культуры.

Я не хочу сказать, что Белинский, авторитетом которого воспользовались «прорабы» просвещения после 1917 года, был совсем неправ в нападках на Гоголя, но впервые в споре двух гигантских умов столкнулись два подхода к исторической жизни, которые объясняют многие «загадки» не только прошедшей, но и нынешней истории.

Ожидая смерти, Гоголь высказал соотечественникам бесконечную, вечную правду, благодаря которой только и возможна другая правда — «правда» очередной политической потребности, которую представил в своем письме «неистовый Виссарион».

Движимый интересами радикальной партии, стремящейся поскорее и любой ценой цивилизовать Россию на западный манер, Белинский в порыве искренних чувств отринул вечные истины, за которые выступал Гоголь, и тем самым погрешил против правды исторического развития народа, требующей сочетать вечное и повседневное с максимально возможным служением именно вечному.

Увы, миновало полтора столетия, а мы все еще больны именно несамостоятельностью мысли, наивной доверчивостью, неумением постоянно сопрягать свои поиски с поисками великих сердец и великих умов.

Падение уровня нашей повседневной мысли — то, что примечено с удивлением уже всеми, — как раз и объясняется снижением градуса «идеализма», то есть все большей приверженностью текущим выгодам, сегодняшнему рублю, все большим забвением непреходящей, «божественной» сути человека...

О, непростое, непростое приоткрывает спор между Белинским и Гоголем! Нам и теперь, пользуясь сложностью ситуации, подсовывают в виде «выходов» сиюминутные «истины», которые назавтра уже выявят свою неодолимую пагубность. Так, например, усиленно советуют полностью отказаться от антиалкогольного законодательства 1985 года, ссылаясь на то, что оно, дескать, повлекло за собой взлет самогоноварения и ущерб казне. Напирают на самогоноварение, хотя связь здесь отнюдь не прямая и не простая. Для чего? Чтобы «народ» опять высказался за «пьяный бюджет», то есть остался опять же на положении обираемого и попираемого. Кое-кто в Госплане и Минфине только и ждет отмены или полного размыва закона. Причем все объясняя с «высших позиций».

Но что это означает реально? Реально это означает, что многочисленные проекты, которые ныне предложены правительству народными депутатами, будут финансироваться в основном за счет «пьяного бюджета», то есть за счет последних остатков последнего здоровья народа.

Предлагают еще одну «сиюминутную» панацею от бед: новые валютные займы и расширенный импорт зарубежных товаров. Привлекательнейшая перспектива! Как ей не похлопать? И хлопают. Но не представляют последствий: кровью и слезами отзовутся эти займы, кабалой, которой не будет конца, слаборазвитостью, из которой не выйдем. Весь мир ныне в безвылазной кабале — у кого? И наша задолженность достигла предельно допустимых размеров. Еще немного — и мы будем работать только на то, чтобы отдавать долги — цель, которую перед собою ставят не только союзы западных кредиторов, но и наши «прорабы», целиком устремленные на капиталистический путь развития. Тогда уже мы станем полными заложниками своей недальновидности.

Я полагаю, основной водораздел в дискуссиях на Съезде народных депутатов проходил именно по этой принципиальнейшей позиции: или обновленный социализм — или капитализм, припудренный и прикрашенный «под социализм». Ведь нас же звали к полной свободе рынка, к продаже земли и средств производства, к многопартийности, к защите спекулятивных кооперативов, которые уже высосали из народного кармана миллиарды рублей, перепродавая по существу народное достояние, и готовы хоть сегодня скупить тысячи государственных предприятий и посадить на дотации тысячи государственных служащих...

Кто не видит этого? Кто не понимает, откуда эта ожесточенность борьбы, откуда неожиданная смычка между национальным экстремизмом и «новым социализмом»?..

Обозревая наши многочисленные проблемы, я вижу, что все сошлось на человеке. И только те реформы выведут нас на нужный путь развития, которые откроют простор не столько рублю, сколько чести, достоинству, самоуважению, покоящемуся в том числе и на материальном фундаменте.

Это верно, что пока мы в массе плохие работники. Но ведь мы в своей массе отравлены алкоголем, измучены дефицитом, затюканы скученностью и проистекающей отсюда невозможностью сосредоточиться и нежеланием подумать о всех проблемах жизни, мы подавлены «промывкой мозгов», которую с бешеным напором ведут «прорабы» от перестройки.

Не устранив этих причин, мы никогда не получим хорошего работника...

Есть еще одна причина, которая не покрывается названными: мы плохие работники оттого, что перестали верить в себя, перестали уважать себя, а, следовательно, и результат своего труда. «Мастерство — зачем? — пожимает плечами нынешний «работяга». — Это ничего не дает и ничего не меняет».

Начало всему — свет впереди. Кто же украл его у нас? Кто лишил нас идеала? Кто надругался над нашей мечтой?..

И гибель истребителя в Бурже, и взрыв на Чернобыльской АЭС, и чудовищная беда на башкирских дорогах, и продажа за бесценок на металлолом наших подводных лодок, и готовность размещать на своей территории вредные производства, и еще многое-многое другое ранит наше национальное достоинство, топчет нашу честь.

Мы устали, наш гнев направляется большей частью не на причины, а на следствия. Я на каждом шагу сталкиваюсь с тем, что многие из моих сограждан не понимают, о чем говорят, например, Василий Белов или Валентин Распутин, что они хотят сказать, о каких опасностях предостерегают. Это ли не грозный симптом? Что толку, если мудрец увидел пропасть и кричит о ней, а люди уже настолько измучены демагогами, что не понимают даже значения крика?

Накануне революции в России «неожиданно» утвердилось самое демократическое законодательство. Его итогом была не только более эффективная защита интересов радикальных и торгово-промышленных слоев, но и взрыв судебных тяжб (миллионы людей «вдруг» стали судиться друг с другом по самому незначительному поводу), разгул бродяжничества и разбоев, необычайное усиление нигилистских настроений вследствие вопиющего и, действительно, нестерпимого несоответствия между новейшими гражданскими законами и устаревшим социальным и экономическим базисом. Выявился эффект так называемого «социального резонанса»...

Я не провожу параллелей. Я хочу сказать, что «демократия», перешагнувшая рубежи вспаханной почвы, доведенная до абсурда, ведет к анархии, способствует осуществлению не созидательных, но исключительно разрушительных целей.

Похмелье еще предстоит. В попытке разрушить пресловутую бюрократию, но не понимая ее нынешней вездесущности, люди подрывают аппарат управления и оказываются еще в большей опасности перед силами эгоизма и агрессии. Грядет новая волна преступности, умножение числа фактически бедных людей и безработных.

Нас соблазняют западными витринами, чтобы вновь околпачить. Таких витрин у нас не будет, если мы не сохраним социализм и пока не создадим именно тот социализм, который ежечасно будет работать на человека чести и труда, на человека совести и правды. Если этого не будет, вместо пустых полок в магазинах мы очень скоро получим пустые карманы.

Капитализм — это еще не витрины, как нам внушают. Апологеты частного капитала (и своей власти) «забывают» о реальных противоречиях положения человека при капитализме. Наконец, умалчивают о том, что многие демократические институты нынешний капитализм сохраняет только благодаря глобальному противостоянию социалистической системы, где СССР остается оплотом. Без этого оплота мировой капитализм тотчас же изменит свое нынешнее лицо.

Мы преданы новому мышлению. Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы утвердить линию на мирное развитие человечества. Но мы видим, что процесс все еще пока односторонний и «ястребы» на Западе никак еще не вышли из моды. Они все еще пугают «русскими» и бдительно следят за всеми нашими событиями.

В то время как ЦК КПСС рассматривает проблему комплексно, видя опасность разрыва таких задач, как гласность, демократизация, экономическая реформа, «прорабы» от перестройки дуют исключительно в дуду односторонне толкуемой демократизации и даже запугивают руководство с помощью западной прессы.

Почему?

Мне кажется, партийное крыло на Съезде народных депутатов не развернуло всех своих потенций, не явило ту интеллектуальную мощь, на которую оно способно в лице лучших своих представителей. И одно это ставит вопрос о новых формах воздействия на политическую жизнь. Это необходимо еще и потому, что партия — мощный фактор единения в условиях многонациональной страны.

Покончив с авторитарными замашками внутри партии, партия должна еще выше поднять главные знамена своих исторических обязательств: с эксплуатацией и неравенством должно быть покончено решительно и навсегда, причем ныне речь идет не только об экономической эксплуатации, а национальной, региональной, культурной!

Только борясь за выполнение своих программных задач, партия может оставаться главным генератором идей обновления, пионером в поиске новых социальных и экономических форм народного быта, которые, с одной стороны, соответствовали бы традициям коллективизма, слава богу, сильного во всех наших народах, а с другой стороны, повышали бы качество социальной и духовной жизни.

Политика — не обмен любезностями и не искусство совместного чаепития. Ложь, будто в тонкостях политики можно разобраться, не интересуясь политикой, оставаясь равнодушным к реальным и мнимым интересам всех сил, участвующих в политической жизни. Политика — та сфера позитивного знания и практики, где пока больше насилия, лжи, подкупа, предвзятости и демагогии.

Особую сложность представляет политика в сфере межнациональных отношений. Тут уж совсем недопустимы спешка, эмоции, ультиматумы и шараханья в стороны, забвение общего, объединяющего начала.

Исторический опыт Белоруссии подтверждает это мнение. В самом деле, и в период усиленной белорусизации, и в период борьбы с националистическими уклонами на поверхности оказывались одни и те же интересы.

Мы достаточно насмотрелись на умельцев, снимавших пенки и с фракционной борьбы, и с заискивания перед более сильным, и с закулисных интриг. Сейчас нас пытаются вновь провести за нос, убеждая, что не существует уже никаких особых интересов социальных групп, есть многие «глупые» и немногие избранные «умники», между которыми и предстоит выбирать (именно так заявил с трибуны Съезда народных депутатов С. Федоров, подкорректировав затем стенограмму).

Конечно, всякий депутат вправе говорить все, что ему подсказывают знания, ответственность и внутренняя культура, но позвольте и нам, избирателям, судить о своих депутатах в зависимости от своих знаний, своей ответственности и своей культуры.

Деление общества (или депутатского корпуса) на «умников» и «глупых» — это разговор на заниженных критериях. Тривиальное деление маскирует подчас пропасть: мы убедились, что за всеми расхождениями, которые могут принимать вид процедуры, пристрастия к личности и т. п., просматривается главное: кто будет работать, а кто будет считать барыши. Так было и, увы, пока остается, и, только осознавая это, можно ориентироваться в хаотической, на первый взгляд, обстановке.

Куда тянут иные силы, ясно из выступления одного из депутатов, который поставил условием выхода страны из кризиса снижение доли государственного сектора до 50 процентов.

Нас давно пытаются убедить в том, что «реальный социализм», при котором мы жили и живем, — единственно возможный вид социализма, и потому от социализма нужно отказаться как от вредоносной, ничего не дающей практики.

Передергивают и тогда, когда речь заходит о партии: поскольку, мол, партия не сумела противостоять «сталинизму», поскольку так или иначе обеспечила «брежневщину», — долой ее! И все беды бюрократического аппарата и командно-административной системы переносятся на саму партию. Но в основном партийный аппарат состоит из высококвалифицированных и ответственных людей, без их организаторских и исполнительских талантов не сможет эффективно работать государственная машина. Заметьте, в так называемых «правовых государствах» организаторским и исполнительским кадрам придается огромное значение: без них невозможно нормальное функционирование демократических систем... Поэтому лично я расцениваю нападки на партию, вобравшую в себя мощные кадры специалистов всех профилей, как попытку обезглавить народ, сделать его добычей безответственных демагогов, спекулирующих на трудностях.

Тот, кто сохраняет чистую совесть (главный компонент диалектического знания) и высокую заботу о правде и справедливости, в состоянии постигать причины и следствия как доступных обозрению событий, так и недоступных, вершащихся втайне от народных глаз.

Я полон желания разобраться в «сталинизме» и «брежневщине», чтобы выявить механизм подавления воли большинства, узурпации власти в партии и т. п.

Начнем с известного: и «сталинщина», и «брежневщина» — творение коллективное, при котором политическая наивность и близорукость сочетались с коварством непримиримого врага, чванство и безответственность — с невежеством и ленью, тяга к «сладкой жизни» — с пустословием, бескультурье — с планомерным разрушением капитальных социалистических структур.

Обещание Хрущева, что «нынешнее поколение будет жить при коммунизме», при всей своей расплывчатости отражало, как это ни покажется странным, реальные социальные возможности советского общества. Вся беда была в том, что Хрущев не знал, как подойти к коммунизму; представления его тут были сугубо догматическими и потому совершенно нереальными.

Тем не менее империализм почувствовал величайшую для себя угрозу. В отличие от некоторых отечественных недоумков, он-то уж очень хорошо понимал, что любая действующая коммунистическая модель, сколь бы локальна ни была, означала бы безвозвратный прорыв человечества к совершенно иной морально-политической стадии развития, к той реальной альтернативе, по сравнению с которой «реальный социализм» всегда оставался бы малоубедительным.

В ответ на обещания Хрущева империализм резко увеличил расходы на оборону, образование, социальные программы, а главным образом — на подрыв социализма методом мирного размыва — для этой цели и была изобретена «оттепель», породившая в нашем стане немыслимые прежде надежды.

Американский образ жизни стал внедряться повсюду бешеными темпами, усиленно эксплуатировались «права человека». Увы, власти не только не воспротивились новым волнам потребительской философии, но сделали немало практических шагов по ее закреплению в экономических и социальных структурах. Всюду брали верх принципы бесконфликтного существования, прямо вытекающие из философии потребительства. Научно-техническая мысль почти полностью привязала себя к западной технологии.

Между тем известно, что социализм, будучи переходным этапом от капитализма к коммунизму, крайне неустойчив и изначально подвержен кризисности, поскольку постоянно решает вопрос, в какую сторону пойдет развитие. В силу этого социализм не преодолеет своих трудностей до тех пор, пока не станет выполнять своего прямого предназначения — нарождения предприятий коммунистического типа.

В мещанском сознании коммунизм — «рай», где можно хватать столько, сколько войдет в руки, но в коллективе личностей, жаждущих совершенства, рассматривающих совершенство как залог свободы, материальное потребление практически не превышает уровня потребления в развитом индустриальном обществе.

Коммунизм складывается постепенно как ассоциация небольших производственно-потребительских коммун, которая берет начало с одной-двух-трех коммун; для подтверждения своей жизнеспособности и преимуществ коммуны могут функционировать в опытном порядке на глазах всего общества и пять, и десять лет, неся те же самые обязательства перед центральными и местными властями, как обычное социалистическое предприятие.

Собственно, и по своей форме коммуна представляет из себя «обычное» предприятие, только со своей производственной и жилой земельной площадью, со всеми автономными вспомогательными социальными службами. Коммуна — кооператив-

ное предприятие из добровольцев, дополняющее экономический хозрасчет хозрасчетом социальным, что означает обязательство его членов по самостоятельному воспроизводству коммунистической морали и нравственности.

Экономичность самой организации коммуны, впервые и полностью исключающей бюрократизм, полностью освобождающей каждого своего члена от расточительных забот по самообеспечению (жилье, питание, одежда и т. п.), создает предпосылки для высокоэффективного труда и высвобождения все большего свободного времени — в целях развития и совершенствования личности, каковая потребность и является главным побудительным мотивом для вступления в коммуну.

Мне кажется, все сложности нашего нынешнего положения, будь они еще более грозными, нисколько не оправдывают «стыдливости», которую ныне почему-то проявляют партийные органы по отношению к партийному и вместе с тем всенародному идеалу, рожденному в глубинах тысячелетии.

Как бы ни была далека цель, все же только сообразуясь с ней, можно верно строить стратегию и тактику движения. Умалчивая о цели, мы обрекли себя на импровизационный подход и опасные шараханья, которые ничего, кроме конфуза и миллиардных потерь, не дали.

Скажу более того: в нашей стыдливости ощущаются невежество, укоренившиеся школярско-сталинские представления о коммунизме как о сплошной принудительной коммунизации на базе рек и берегов, объявленных молочными и кисельными.

Мы тратим миллиарды рублей на строительство атомных станций, которые потом закрываем, или на рытье каналов, которые потом придется засыпать, а 15—20 млн. рублей не можем выделить на социальный эксперимент, да еще с полной уверенностью, что вложенные деньги окупятся гораздо быстрее, нежели вложенные в любое из предприятий.

Просвещенность и мудрость — разные пока понятия. Понимание техники не связано пока принципиально с пониманием сути человеческих отношений. И так же, как существует трудная наука строить, существует наука разрушать, хотя ее законы и авторы этих законов менее известны обществу.

Один из мощнейших таранов разрушения — лишение общества исторических, национальных корней; это достигается за счет разжигания недоверия между поколениями, шельмования опыта предшествующих поколений... При этом пропаганда обычно достигает цели, потому что разрушение всегда проще, нежели созидание, и потому что юному поколению предстоит не только усвоить предшествующий опыт, но и вырабатывать свой собственный, а о диалектике этих жизненных задач школа и институт обычно умалчивают.

Охваченные почти инстинктивным желанием сохранить свой индивидуальный мир в пошатнувшемся общем мире, мы все ратуем за национальную культуру, не представляя себе, что национальная культура тоже маскирует политику, подобно тому, как политика маскирует национальные подходы. Очень скоро мы убедимся в том, что нет единого понятия национальной культуры, перед нами во весь рост встанут те же нравственные проблемы: за кем идти? кому верить? кому отдать предпочтение?

Надо оставить иллюзию или сознательный обман, будто можно уйти от «надоевшей» политики, обратившись к проблемам национальной культуры. Наоборот, именно полное, осмысленное участие в политике оставляет нам шансы действительно защитить национальную самобытность и при этом не подорвать наш статус цивилизованного народа.

Я обеспокоен завтрашним днем. Процессы происходят неоднозначные. Нам продолжают навязывать низкопоклонство и национальную ущербность. Нас убеждают в том, что мы уже и посмотреть на себя не можем трезво, навязывают оценки буржуазной прессы, ее глазами понуждают глядеть на события, так что иной раз — грешным делом — думаешь, что похвалы или хула Запада больше корректируют наше развитие, нежели мнения народных депутатов. Демагогическая борьба против партии ведется все более откровенно, едва-едва маскируясь под ненависть к «бюрократизму». Парализуется и свертывается управление, расшатывается дисциплина, близится время неустойчивости. Не затронут ли события и партию, многие члены которой удивлены, отчего они, сохранив верность народу, вдруг лишились возможностей самозащиты?

Один из документов, подготовленный «московской группой» для обсуждения на Съезде народных депутатов и озаглавленный «Концепция экономической системы», без всяких стеснений заявляет: «Перед страной со всей остротой стоит задача: или найти новую модель экономики и всего социализма, или прекратить эксперимент по созданию социалистического строя как преждевременный с точки зрения уровня развития человеческой цивилизации».

Это чудовищный документ.

Итак, люди с «рыночным» складом мышления называют весь героический, полный трагизма путь советского народа от Октября «экспериментом». Какой уж здесь плюрализм мнений, если под сомнение поставлены фактически все ценности нашей революции!

Их не беспокоит, кто толкал народ на авантюры, кто изматывал его шараханьями и подножками, их интересуют возможности скорейшего преобразования накопленных миллионов в легальную политическую власть. Не случайно эти люди поднимают на щит Н. Шмелева, Г. Попова и других, ратующих за сохранение и умножение преимуществ кооператоров, а по сути, за свертывание одного из величайших достижений социализма — общественных фондов потребления, за углубление дифференциации в уровне доходов — в пользу «состоятельных граждан».

На Съезде заявили о себе силы, которые поведут ожесточенную борьбу за свою линию на последующих этапах, стремясь доказать, что разработанная ныне правительством экономическая стратегия нежизнеспособна. Завтра мы узнаем о существовании и действиях лоббистов этой силы, как узнали о существовании и действиях лоббистов свободного предпринимательства, например, в Венгрии.

На кого же опираются эти силы? На «теневых» бизнесменов, на новых спекулянтов, на те поощрявшиеся «свободной» печатью социальные группы, которые к основной зарплате постоянно имеют густой приварок. В силу привычки к легким заработкам и относительной материальной защищенности они требовательней всех заявляют о своих потребительских интересах. Все они эксплуатируют идею равенства лишь для того, чтобы получить новые льготы и преимущества для себя, как и их идейные вдохновители, которым нужна своя безраздельная власть над народом (КПСС мешает), та власть, которой они долгое время пользовались при социализме, пока он не приобрел слишком непредсказуемый характер.

Человек, не осознающий своего действительного положения в системе противоборствующих сил, — послушный раб. Им пользуются в большой «шахматной» игре, о которой он и не подозревает.

А что же народ, люди, которые создают все ценности? Боюсь, что никто у народа не спросит, «свободная пресса» и дальше будет толкать его на разрушение собственного дома, используя досаду и нерешенность многих проблем.

Социализм еще не сбросил с себя ярмо искажений, извращений и безответственной импровизации, а уже вновь под угрозой.

Правда, появился фактор, который способен внести существенные коррективы в любые зловещие замыслы, — подал голос рабочий класс, весомо, достойно, патриотически опуская всех на землю. Я имею в виду забастовки шахтеров Донбасса, Караганды, Кузбасса, Воркуты и других мест. Разумеется, при том экономическом напряжении, которое существует в стране, забастовки — не лучший способ разрешения конфликтов. Но меня интересует в данном случае другое — готовность рабочего класса встать на защиту перестройки с позиций социализма, с позиций общенародных, а не групповых интересов. Думаю, забастовки добавили политической зрелости рабочим, укрепили надежду народа на то, что авантюризм более не пройдет. Не случайно забастовки так обеспокоили всех тех, кто прямо рассчитывал на «польский» или «венгерский» вариант.

Сейчас следует ожидать усиления попыток разложить рабочий класс изнутри, заразить его бациллой экономизма. Отсюда наметившаяся линия на компрометацию профсоюзов, на отрыв рабочих от местных партийных комитетов, стремление обострить экономическую, социальную и национальную напряженность в стране.

Прочно держаться интересов трудящихся — вот, на мой взгляд, тот компас, который выведет нас из кризиса, оздоровит все наши отношения.


Фото НИКОЛАЯ КУЛЕБЯКИНА

МЫ ДЕТИ ОДНОЙ ОТЧИЗНЫ

Беседа с бывшим белорусским партизаном и православным священником, автором книги «За Веру и Отечество» Павлом Кузьмичом Раина.

Это воспоминания верующего человека, сына священника, не мыслящего своей жизни вне церковной ограды. Они написаны в виде очерков, посвященных духовенству Пинского края, оккупированного в первые же дни войны. В сопротивлении захватчикам здесь прямо или косвенно участвовали многие священно- и церковнослужители. Сведения о них, к сожалению, до сих пор не собраны воедино. А ведь партизанское движение в Полесье, как об этом свидетельствуют представленные материалы, никогда не могло бы иметь таких широких масштабов без благословения и поддержки подавляющего большинства местных батюшек. И это лишь один небольшой пример, показывающий вклад Церкви в общенародное дело борьбы с фашистскими ордами. История Великой Отечественной войны остается неполной, пока в ней отсутствуют объективно написанные главы, посвященные событиям церковной жизни по обе стороны фронта.

...И тем с большим уважением мы должны относиться к тем священнослужителям, которые при вероломном нападении противника стали думать не о своей личной выгоде, не о сведении счетов, а о Родине, об Отечестве, о народе Божием и о помощи страждущим. Сколько мужества, жертвенности, веры требовалось каждому пастырю-патриоту в долгие дни войны! Десятки белорусских священников стяжали мученический венец, многие потеряли своих близких — жен, детей. Перед их светлой памятью все мы еще в большом долгу.

Патриотическая деятельность духовенства на временно оккупированных территориях нашла, пусть и скромное, отражение в художественной литературе. Назову, к примеру, рассказ В. Катаева «Отец Василий».

О том, какой живой интерес представляет эта тема, свидетельствуют многочисленные письма после опубликования в пятом номере журнала «Человек и закон» (1988) интервью со мной, где было упомянуто о случае зверской расправы с жителями села Корюковка Черниговской области. От рук фашистских карателей в начале марта 1943 г. погибло 7640 человек. Среди расстрелянных был священник Бондаревский, его супруга и брат.

Сегодня, давая оценку поступкам верующих людей во время Великой Отечественной войны, следует быть предельно честным и объективным. Для верующего человека Родина, Отечество, Православие, Святая Русь, дом Пресвятой Богородицы не просто отвлеченные понятия, а конкретная реальность, где храм с его святынями, вера отцов и дедов, память святых и славные подвиги соотечественников по созиданию духовного родства составляют основу его каждодневной жизни и деятельности. Хочется верить, что воспоминания П. К. Раина вызовут новые отклики, и список имен священников-антифашистов, равно как и примеры их самоотверженного служения делу победы добра над злом будут значительно умножены.

Протоиерей Владимир СОРОКИН,
ректор Ленинградской Духовной
Академии и Семинарии.

Непривычно маленькая, аккуратная церковь. Сюда чаще приходят люди, одетые в черное. Приходят, чтобы поставить свечку, помянуть, совершить печально-торжественную молитву. Церковь стоит в Ленинграде, на дальнем Серафимовском кладбище, за памятной Черной речкой. Слева от главного входа в храм — чуть приметная дверь. За ней — лестница, круто поднимающаяся вверх, как на стареньком пароходике, узкая, полутемная... Осторожно ступаю, привыкая к сумеркам. Вот, наконец, и комната. Здесь мы договорились встретиться со стростои церкви.

Что я знаю о нем? Павел Кузьмич Раина — кандидат богословия, выпускник Ленинградской духовной академии. В юности, еще подростком, был участником партизанского движения в Белоруссии, награжден орденом Боевого Красного Знамени и медалями «Партизан Великой Отечественной войны» I и II степени.

Воображение уныло-традиционно рисует мне эдакого согбенного сурового старца. Но нет — меня встречает совсем не старец, а живой, энергичный человек. Его улыбка, мягкая, доброжелательная, обнадеживает. Между нами был телефонный разговор и договоренность, что он расскажет о своем участии в Великой Отечественной войне. Но для начала...

— Павел Кузьмич, вы из семьи священнослужителя?

— Да, мой отец протоиерей Косьма Петрович Раина был благочинным Пинского Западного округа, настоятелем церкви в селе Хойно.

— Наверное, с детства вас окружала особая нравственная атмосфера и воспитывали вас по строгим правилам семьи священника?

— Хотите расскажу один случай, очень характерный для моего детства? Когда я был совсем маленьким, на Рождество приготовили в доме много разных вкусных блюд и поставили их на стол. Но ужин полагался после церковной службы. А хотелось непременно отведать, тем более что родители оставили нас одних. Не исполнить маминой просьбы — грех, а терпеть не хватало больше никаких сил. Мы много раз подходили к окну... И тут возникла гениальная мысль: мы завесили иконки полотенцем, чтобы Боженька ничего не видел, и наелись досыта. Но вот беда — мы тут же поняли, что, когда придут родители, они сразу увидят, что кисель кто-то пил, пленки на нем уже нет! Тогда мы сняли полотенце с иконы и стали молиться, чтобы кисель пленкой затянулся... Дети есть дети. И мы не были исключением, хватало шалостей и проказ. Мы росли обыкновенными, нормальными детьми, ничем особым от других не отличались. Да и став взрослыми, мы, как и все истинно верующие, старались ничем и никогда не выделяться. Другое дело, что в мирской жизни нас с малолетства пытались искусственно отделить от других детей...

Это тяжелое чувство... Нельзя искусственно разрывать целое, как пытаются еще некоторые идеологи. Народ един!

— Павел Кузьмич, а где вы учились?

— Десять классов я закончил в Пинске, в школе, и, пусть это не удивляет вас, был секретарем комсомольской организации...

— Сын священника и комсомольский секретарь?

— Почему бы и нет? В то время еще не обращали на религиозность придирчиво-наказуемого внимания. Учился я хорошо. В войну 13-летним подростком воевал в партизанском отряде. Советскую власть признавал полностью. И ко мне не было тогда особых претензий. Организация у нас была крепкая, жили мы дружно и вполне интересно. А после школы я поступил в Московскую духовную семинарию, потом в Ленинградскую духовную академию... Служил священником во Владимирской области. Но светские власти вынудили меня оставить духовный сан...

— Почему?

— При Хрущеве, в шестидесятых годах, началось повальное закрытие церквей, открытых по разрешению самих же властей во время войны, и очень осложнились отношения церкви и государства. Конфликты возникали повсеместно. Тогда-то и приключилась со мной малоприятная история. Поехал я в Ленинград и на магнитофон «Днепр» записал богослужение в Никольском соборе. Вернулся домой и вечером включил запись для своих гостей. А вскоре вызвал меня уполномоченный Совета по делам религии Владимирского облисполкома и уволил с формулировкой «за использование достижений советской техники в целях религиозной пропаганды». Сейчас кажется — Боже, какая же нелепость! А тогда радовался, что меня не засудили и дело мое не закончилось тюрьмой. А могло бы... Ведь заступиться за меня никто не мог...

Но трудности эти меня не сломили. Несмотря на хрущевскую «оттепель», я понимал, что против нас, верующих, действует все тот же сталинский режим, с той же беспощадностью и неукоснительностью во всем — от доносов и до жестких, а иногда и жестоких расправ... Я все испытал в этой жизни на себе. И никто не принимал во внимание, что я защищал Отечество с 13 лет...

Оказавшись не у дел, я поехал в Ленинград, закончил курсы медицинского оптика и стал работать по специальности. Но Церковь не оставил: ее вины в моих бедах не было, она была так же беззащитна перед законом и властью, как и я сам. Но вера — это совесть души человека. Только это не все понимают.

Лишь через семь лет после случившегося на Владимирщине я стал помощником старосты в Александро-Невской лавре. Мое служение Богу вновь продолжилось...

— Когда я обратилась в Ленинградскую духовную академию с просьбой помочь мне встретиться со священнослужителем — участником Великой Отечественной войны, отец Виктор, помощник секретаря митрополита Алексия, сразу же назвал вас. Наверное, он имел для этого основания?

— Да, он знает, что из нашей семьи трое были на войне. Мой отец, старший брат Петр и я участвовали в белорусском партизанском движении. В 1942 году я познакомился с руководителем Пинского подполья Николаем Игнатьевичем Чалеем. Он еще жив, председатель совета ветеранов в Пинске, и мы с ним старые друзья. А после этой встречи все было, как у миллионов моих сверстников, сменивших игрушечные автоматы на огнестрельные...

Первые задания нам давали совсем несложные. Вертелись в местах, где работали военнопленные, знакомились, потихоньку передавали медикаменты, продукты. Организовывали их побеги, распространяли листовки, сводки Совинформбюро. Потом поручения стали посложнее — взрыв спичечной фабрики, госпиталя с офицерами-карателями...

В 1943 году, после разгрома Пинского патриотического подполья, нас с братом перевели в партизанский отряд имени Кирова соединения Героя Советского Союза генерал-майора Василия Андреевича Бегмы, где до конца войны я был бригадным разведчиком, а Петр после выхода партизан из лесов добровольцем ушел на фронт.

— А как сложилась жизнь вашего отца и брата после войны?

— После войны отец был настоятелем соборов в городах Белоруссии: Пинске, Кобрине, Бресте, Гомеле, Могилеве. А будучи уже на пенсии, пока позволяло здоровье, служил в храмах Ленинграда. Погребен на Серафимовском кладбище, около самой церкви.

Брат отличился в боях за Берлин, был награжден орденами Красной звезды и Славы третьей степени. Как и я, он закончил духовную академию. Долгое время служил в представительствах Русской Православной церкви в Египте и США. Сейчас настоятель церкви в Химках под Москвой.

— Как возникла мысль о книге?

— К тысячелетию празднования Крещения Руси издательский отдел Московской Патриархии предложил мне написать очерки о деятельности священнослужителей в период временной оккупации Белоруссии. А отец Владимир Сорокин, ректор Ленинградской духовной академии, можно сказать, прямо вдохновил меня, а также оказал большую помощь в подборе материала. Я с радостью согласился. Поскольку мне была интересна тема и я знал, что это будет в своем роде первая книга об участии священников в Великой Отечественной войне. Мне приятно, что Лениздат выразил готовность выпустить книгу до конца уже этого года.

— А почему только Белоруссии?! Или у белорусских пастырей особые заслуги?!

— Нет, у них заслуги, как и у всех священнослужителей, принимавших участие в войне. Однако в партизанское движение Белоруссии священники действительно вписали свою боевую страницу. Об этом я и рассказываю в своей книге. Белорусы начали защищать свою землю с первого часа войны, и уже тогда рядом с ними были священники. Они мужественно исполнили свой долг — долг добрых пастырей, душу положивших за овцы свои. И многие из них доказали свою верность и любовь к Матери-Родине и Православной церкви, приняв мученическую смерть.

Однако об этих героях известно очень мало, и только лишь потому, что они были пастырями. Народ неверующий, живущий вне интересов церкви, не знает фактически ничего о боевом подвиге священнослужителей. Да, впрочем, откуда ему об этом знать. Я уже сказал, что моя книга первая будет... Ведь сами служители церкви никогда не отделяли себя от Родины и народа.

Но сейчас, когда в советском обществе идет процесс восстановления исторической правды прошлого, когда отношения церкви и государства стабилизируются, настало благоприятное время, чтобы забытые герои войны от церкви стали и всенародными героями. Поэтому моя книга — это долг памяти живых перед незаслуженно забытыми священниками — участниками войны...

На всю жизнь я запомнил слова моего отца, протоиерея Косьмы, произнесенные им на отпевании казненных фашистами жителей села Невель: «Мы верим, что по молитвам Святой церкви они получат со святыми упокоение, верим, что память о погибших сохранится не только в наших сердцах, но и в сердцах тех, кто будет свободно жить на этой земле, где пролита их невинная кровь...»

Наш долг — оправдать их веру, сделать все, чтобы не только мы, но и наши потомки помнили их имена, их деяния.

Русская Православная церковь всегда была со своим народом на протяжении всей ее долгой и многострадальной истории. Недаром же среди первых русских святых — киевский князь Владимир-«Красное солнышко», заботившийся об объединении Руси, укреплении и защите национальной целостности и независимости Русского государства, и великий князь Александр Невский, одержавший победу в Ледовом побоище и защитивший Русь. Русская церковь во все времена осуждала захватнические войны и благословляла на подвиг во имя защиты своего народа и Отечества.

Вспомните историю. В эпоху Киевской Руси Православная церковь всеми силами старалась прекратить княжеские междоусобицы, во времена монголо-татарского нашествия призывала к борьбе с завоевателями. Преподобный Сергий Радонежский благословлял св. Димитрия Донского на ратный подвиг освобождения Земли Русской на поле Куликовом. Во время войны с Наполеоном церковь собирала пожертвования на снаряжение войск и народного ополчения, а Святейший Синод отдал на военные нужды все средства Русской православной церкви. А сколько было старост, причетников, возглавлявших народные отряды; сколько церквей, монастырей, ставших неприступными крепостями в тылу врага...

Необходимость знания деятельности Русской Православной церкви в период Великой Отечественной войны продиктована и тем, что за рубежом книжный рынок все больше заполняется «трудами», в которых грубо искажается сущность всей жизнедеятельности Русской Православной церкви. Наши противники всех направлений пытаются доказать, что народы Советского Союза видели в немецком солдате своего «освободителя» и на путь борьбы вступили лишь в результате «ошибок», допущенных фашистской администрацией, а также террора гитлеровцев по отношению к мирному населению.

Нам думается, что подобные утверждения могут быть только у тех, кто до сих пор продолжает видеть в фашисте «освободителя», в разгроме гитлеровской Германии — «ошибку». Спорить бесполезно! Бывают вечнопрошлые даже и среди историков.

Террор и зверства фашизма сыграли лишь роль дополнительного фактора в создании «второго фронта» — героической борьбы партизан и подпольщиков, которых фашисты могли убить, повесить, расстрелять, но только не превратить в рабов.

Нет, не террор, а воплощение в реальной жизни бессмертных идеалов христианства первым в мире социалистическим государством (кто не работает, тот не ест; нет раба и господина) — вот тот первый камень, о который споткнулись фашисты в своем ослеплении военным потенциалом; второй — теория о превосходстве одной расы над другой; третий — ложный расчет на вековую отсталость России. Тысячелетняя борьба за свободу родной земли и православной веры — бесспорное свидетельство для тех, кто ищет правду, а не аргументы, как опровергнуть ее.

Действия Русской Православной церкви в годы Великой Отечественной войны — это продолжение и развитие многовековой патриотической традиции нашего народа. Иначе быть и не могло. Митрополит Сергий, в 1943 году ставший Патриархом, в первый же день войны обратился с воззванием к пастырям и верующим: «Православная наша церковь всегда разделяла судьбу народа... Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением всех православных на защиту священных границ нашей Родины...»

— И призыв его был услышан?

— Несомненно, воззвание читалось во время служб по всем церквам. И верующие, приняв высокое слово митрополита, уходили на фронт, напряженно работали в тылу, вместе со всеми рыли окопы, выращивали хлеб, изготовляли оружие для фронта. С самого начала войны по церквам шли сборы на приобретение теплых вещей, подарков воинам-красноармейцам, на содержание госпиталей и детских домов, помощь инвалидам войны, восстановление районов, пострадавших во время оккупации. На средства, собранные Русской Православной церковью, были созданы воздушная эскадрилья имени Александра Невского и танковая колонна имени Димитрия Донского. Чтобы иметь хотя бы отдаленное представление о количестве всех собранных средств, могу сказать, что только в храмах блокадного, голодного Ленинграда было собрано 5,5 миллиона рублей. Я уж не говорю о том, сколько героев выдвинула наша церковь. Так, нынешний Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Пимен и его предшественник, Святейший патриарх Алексий, бывший митрополит Ленинградский и Новгородский, перенесший все испытания 900-дневной блокады, были отмечены высшими орденами и наградами нашей Родины. Известны и рядовые священнослужители, отличившиеся на поле брани. Один из них — гвардии пехотинец Борис Крамаренко, ныне диакон Киевской митрополии, кавалер орденов солдатской Славы трех степеней.

— Герои вашей книги — кто они?

— В моей книге нет ничего выдуманного. Герои ее — священнослужители, жившие и боровшиеся в годы оккупации на территории Белоруссии. Многих из них я знал лично, о других рассказывал отец. Но работа над книгой была долгая и, прямо скажу, нелегкая. Ведь печатные источники почти отсутствуют. В первых послевоенных изданиях еще можно было найти имена священнослужителей, принимавших участие в партизанском движении, а в последующих — даже кратких упоминаний нет. В своей книге я привожу весьма характерный пример. У отца моего был давний друг — священник Иоанн Лойко. Его заживо сожгли в церкви вместе с жителями деревни Хворостово. На этом месте сейчас — братская могила, где названы имена погибших, только имени священника Лойко среди них нет... А ведь он, отец четверых сыновей, партизан, был добрым пастырем во всем величии этих евангельских слов и в тяжкий час смерти не оставил Богом данных ему людей и вместе с ними принял мученический венец... И, к сожалению, случай этот далеко не единственный.

— А вы рассказываете в книге только о белорусах?

— Знаете, национальность для меня не имела никакого значения. В моей книге есть рассказ о поляке, ксендзе Франтишеке Купше: он закончил войну полковником, награжден советскими и иностранными наградами. Просто в годы войны мы не делили себя на белорусов, русских, армян, грузин, верующих, неверующих. Мы все были дети одной матери — Родины, которую нам предстояло защищать. И мы умели тогда находить общий язык. Вот это была поистине радость духа! Вера пробуждала в человеке в те страшные годы лучшие чувства, и человек творил чудеса.

— А как действовала церковь на оккупированной территории?

— Как всегда, свято исполняла свою апостольскую миссию на Земле в деле милосердия, сострадания ближним и помощи всем обездоленным. В проповедях священнослужители призывали оказывать — кто чем может — помощь партизанам, не слушать и не исполнять приказы оккупантов, защищать всеми силами объятый пламенем отчий дом и в каждой протянутой руке видеть руку самого Христа.

— Что особенно ценили в деятельности священников партизаны?

— Командиры партизанских отрядов хорошо понимали, какой силой убеждения обладали священнослужители, тем более, что белорусские крестьяне в основе своей были людьми глубоко верующими. А они-то как раз и составляли большую часть партизанских отрядов. Помню такой случай. Протоиерей Александр Романушко, настоятель Мало-Плотницкой церкви Логишинского района — кстати говоря, он не раз участ-

вовал в боевых операциях, ходил в разведку — был в полном смысле партизанским священником, однажды пошел на такой смелый шаг. Было это летом 1943 года. Родственники убитого партизанами полицая искали священника, чтобы отпеть покойного. Обратились к отцу Алексею, он отказался. А вот отец Александр согласился сразу же. Только на кладбище на удивление пришло много народа, пришли и люди, мало знакомые с покойным. Была выставлена и полицейская вооруженная охрана. Все приготовились слушать отпевание. Отец Александр, надев на себя епитрахиль и ризу, отошел в сторону и глубоко задумался. А потом совершенно неожиданно начал: «Братья и сестры, я понимаю большое горе матери и отца убитого, но не наших молитв и «Со святыми упокоение» своею жизнью заслужил во гробе предлежащий. Он — изменник Родины и убийца невинных детей и стариков... Вместо «Вечной памяти» произнесем же «АНАФЕМА». Люди стояли, как громом пораженные.

А отец Александр, подойдя к полицаям, продолжал: «К вам, заблудшим, моя последняя просьба, искупите перед Богом и людьми свою вину и обратите свое оружие против тех, кто уничтожает наш народ, кто в могилы закапывает живых людей, а в Божиих храмах заживо сжигает верующих и священников...»

Эти простые слова пронзили сердца людей. Они говорили: «Если священники взялись за оружие, так и нам Бог велит идти в партизаны». И в самом деле — в тот день прямо с кладбища в партизанский отряд пришло пополнение...

— Столь высока была степень доверия к священнослужителям?

— Это была, действительно, высокая степень доверия. Я знаю много случаев, когда от действий священника, его смелости и решительности зависела жизнь сотен, тысяч людей. Расскажу о настоятеле церкви в селе Сверцевичи Иване Ивановиче Рожановиче. Было это в январе 1943 года, в дни действий наступательных карательных отрядов. Весь партизанский край был объят пламенем. В штабе обсудили исход предстоящего боя. Но все же решили сначала пойти на хитрость. Послали к карателям церковную делегацию с жалобой, якобы, на партизан и с просьбой о защите. Главой делегации был отец Иоанн, которому предстояло убедить карателей, что партизаны сильны и располагают большими силами. В том и состояла хитрость командиров.

О чем он говорил, беседуя с карателем, эсэсовским офицером, я пересказывать не буду, но закончилось тем, что офицер скомандовал своему отряду: «Срочно отступать!» Тогда отец Иоанн спросил: «Господин офицер, а кто же будет нас защищать от партизан?!» Офицер вместо ответа только махнул рукой и побежал к машине...

Такие вот события, теперь больше похожие на легенды, происходили в Белоруссии. И это не единичные факты. Судьбы многих священников, служивших на оккупированных территориях, отмечены героическими поступками. Другое дело, что мы еще не знаем поименно всех героев. Вот только в одной книге «Преступления немецко-фашистских захватчиков Белоруссии в 1944 году» я нашел такие факты: за связь с партизанским движением расстрелян священник Новик с женой и детьми, сожжен священник Назоревский с дочерью, убит 72-летний протоиерей Павел Сосновский с 11-летним мальчиком, после мученических пыток расстрелян 47-летний священник Павел Щерба... И этому трагическому списку жертв нет конца, так много их было — сожженных, расстрелянных, повешенных... Почему же память о них предана забвению, чем они провинились перед людьми и Отечеством?! Нет у них вины!

Книгу свою я заканчиваю словами: «Памятью и сердцем мы всегда будем в вечном долгу перед павшими, кто бы они ни были, ибо все мы — дети одной Отчизны».

Теперь, в заключение нашей беседы, мне хотелось бы обратиться к уважаемому читателю: чтобы совесть наша перед Богом и павшими людьми была чиста — откликнись, пока не поздно, живым своим сердцем и умом на призыв Матери-Родины: «Никто не забыт и ничто не забыто», и помни, что священные эти слова должны стать смыслом нашей жизни.

Ленинград — Москва

Беседу вела
Вероника БАРАБАШ.

В МИРЕ КНИГ

СЛОВО МОЛОДЫХ

В издательстве «Современник» вышел в свет первый выпуск литературно-художественного и публицистического сборника «Слово». В основные его разделы — «Проза», «Поэзия», «Публицистика», «Критика», «Наследие», «Искусство» — вошли произведения как известных авторов, так и тех, кто наверняка станет известен широкому читателю в ближайшее время. Здесь опубликованы рассказы Н. Шипилова, А. Сегеня, В. Бутромеева, А. Брежнева, стихи М. Шелехова, В. Лапшина, А. Белова, О. Кочеткова, А. Трофимова, рассказы и стихи других авторов, статьи и эссе о современной и классической литературе, истории, классической и рок-музыке, живописи Вик. Левченко, С. Хелемендика, В. Славецкого, П. Паламарчука, К. Ковалева, П. Горелова, Ю. Селезнева, Е. Курляндцевой.

Думается, что внимание читателя привлекут эссе А. Любомудрова «Да ведают потомки...», посвященное теме «Пушкин и русская история», публицистическая статья М. Петрова «Местные условия», в которой рассказывается о старых крестьянских традициях в земледелии и анализируются причины утраты этих традиций и последствия, связанные с этими утратами. В разделе «Страницы истории» статьи Ю. Лубченкова «Незабвенный год» и Вл. Левченко «...Мы братской тризной поминая...» посвящены некоторым эпизодам Отечественной войны 1812 года. В статье Вл. Левченко затронута тема «Пушкин и война 1812 года».

Современный воинский фольклор в разделе «Поэзия» под заглавием «На суровой земле афганской, под чужим неласковым небом...» представлен А. Фоменко. В разделе «Наследие» опубликованы фрагменты «Автобиографии» Н. С. Сохановской (Кохановской) (1823—1884). Во вступительной заметке В. Кожинов пишет об авторе, почти неизвестном современному читателю: «Для меня нет сомнения, что перед нами наиболее выдающаяся писательница в русской литературе вообще...». Здесь же — подборка «военных» стихотворений Н. Гумилева.

Нельзя не заметить, что весь сборник проникнут неким художественным и идейным единством. Исчерпывающе определить это единство трудно: здесь и традиционность, присущая русской литературе и вообще культуре, и интеллигентность, так необходимая сегодня всем нам в любой сфере деятельности, и, главное, неравнодушие, боль за все то, что оболгано, растоптано, порушено, утеряно в минувшие годы и десятилетия. Вместе с тем сам факт издания этой книги свидетельствует о том, что в нашем Отечестве есть духовные силы, способные к серьезной работе, направленной на его возрождение.

Ю. ЧЕХОНАДСКИЙ.

СЛОВО: Литературный, художественный и публицистический сборник. — Выпуск первый. — М.: Современник, 1989 (Новинки «Современника»).

КНИГОЧЕЮ НА ЗАМЕТКУ

Савцов В. Я. ПРЕСТУПЛЕНИЕМ И ОБМАНОМ: Методы и средства сионизма в осуществлении политики неоколониализма. — Киев: Политиздат Украины, 1989. — 204 с. — 55 к. 23 000 экз.

ПРОЦЕССЫ. ГЛАСНОСТЬ И МАФИЯ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ / Сост. Е. Додолев. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 191 с. — 1 р. 150 000 экз.

Ньюмен А. ЛЕГКИЕ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ: Влажный тропический лес — наиболее угрожаемый биоценоз на Земле / Пер. с англ. — М., 1989. — 335 с., ил. — [illegible] р. 85 000 экз.

Волкогонов Д. ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ: Полит. портрет И. В. Сталина. В 2-х кн. — М.: Изд-во АПН, 1989. Кн. 1. Ч. 1. 302 с., ил. 2 р. 90 к. 100 000 экз.

СЛОВО ПИСАТЕЛЯ. ВЫСТУПЛЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ НА СЪЕЗДЕ НАР. ДЕПУТАТОВ СССР / Сост. Г. Иванов. — М.: Худож. лит., 1989. — 198 с. — 35 к. 100 000 экз.

Иллеш А. КАТАСТРОФА. У разрушенного реактора, в зале суда, в начальственном кабинете, на берегу погибающей реки. — М.: Известия, 1989. — 160 с. — 45 к. 50 000 экз.

Коваленко А., Рисованный Ю. ЧЕРНОБЫЛЬ — КАКИМ ЕГО УВИДЕЛ МИР. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 174 с. — [illegible] к. 75 000 экз.

ИСТОРИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ. ОЧЕРКИ. ПИСЬМА.

ОТ ФЕВРАЛЯ 1917 ДО ОКТЯБРЯ

Нам нужна полная и правдивая информация. А правда не должна зависеть от того, кому она должна служить.
В. И. ЛЕНИН

Рубрику ведут
Андрей Кочетов
и
Алексей Тимофеев.

Наши читатели, должно быть, обратили внимание на то, что в Афише журнала «Слово» среди новых рубрик, которые редакция уже завела или предполагает завести в ближайших номерах, есть рубрика, названная «От Февраля до Октября». Откроют ее воспоминания председателя последней, IV, Государственной Думы М. В. Родзянко, организатора предреволюционного Русского Бюро ЦК РСДРП(б) А. Г. Шляпникова, а также стороннего свидетеля февральских событий в Москве Н. Морозова, который выпустил (как сейчас говорят, за счет средств автора) дневник личных наблюдений спустя буквально несколько дней после отречения Николая II. Первые материалы этой рубрики будут опубликованы во втором номере журнала в следующем году. Редакция планирует освещать ход событий месяц за месяцем, в хронологической последовательности, избегая, впрочем, чрезмерно жестких временных рамок, которые при осуществлении задуманного едва ли удастся соблюсти. Поэтому на стыках публикаций возможны незначительные отступления от хронологического принципа.

От Февраля до Октября... Февральская революция, как органическая часть Великой русской революции, начавшейся в 1905 году и победно завершившейся в октябре 1917-го, имела огромное значение в истории нашей страны. Она не только, говоря словами В. И. Ленина, «смела всю царскую монархию, но *дошла вплотную* до революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства». Февральская революция, как мы знаем, положила начало процессу перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. Именно тогда повсеместно возникли Советы, которые стали единственной властью в результате победы Октября, Советы, историческое возрождение которых стало требованием нашего времени.

События февраля 1917 года сложны и противоречивы. Ключ к их пониманию и выявлению закономерностей и особенностей дают ленинские мысли о ходе классовой борьбы в Февральской революции, в которой «в силу чрезвычайно оригинальной исторической ситуации слились вместе, и замечательно «дружно» *слились, совершенно различные потоки, совершенно разнородные* классовые интересы, *совершенно противоположные* политические и социальные стремления».

Обращаясь к истории, мы не собираемся ошеломлять читателей какими-то сверхсекретными сенсациями или откровениями скандального характера. Наша цель — воскресить забытые героические и драматические моменты не такого уж и далекого прошлого, с разных точек осветить эти «совершенно противоположные политические и социальные стремления». Воскресить — в самом что ни на есть прямом смысле этого слова. Ведь многие документы, дневники, воспоминания, с которыми мы намерены ознакомить своих читателей, были в свое время преданы гласности, однако позже, по известным причинам, попали в различные спецхраны и архивы, исчезли, казалось бы, навсегда с глаз людских, что привело к появлению белых пятен, одностороннему освещению тех или иных исторических фактов.

Наполненные ожесточенной политической борьбой дни и месяцы судьбоносного для России и всего мира 1917 года находились и продолжают находиться в поле зрения ученых-обществоведов как в нашей стране, так и за рубежом. Известный американский советолог, профессор Принстонского университета Дж. Биллингтон писал о том, что «если для мыслителя XIX века главной задачей было определить свое отношение к Французской революции, то для современного человека центральная задача состоит в оценке Русской революции». Причем, по мнению столь же авторитетного на Западе исследователя Дж. Кеннана, Февральская революция — это «одно из наиболее удивительных, наименее пред-



Март 1917 года.

А. Ф. Керенский

виденных и до сих пор наименее понятых политических изменений в истории...» (В. И. Ленин, предвидевший ее неизбежность и менее всего склонный считать Февральскую революцию чудом, называл ее все же «головокружительным успехом».)

Буржуазные историки и социологи, как правило, противопоставляют Октябрьскую революцию Февральской, изображая последнюю как чисто стихийный процесс, не имеющий никакого отношения к организаторской и политической деятельности каких-либо партий вообще и большевистской в особенности. В нашей же историографии, в которой проблематика Февральской революции длительное время разрабатывалась слабо, а заслуживающим внимания объектом считалась лишь история Великого Октября, давалось такое освещение Февральской революции, из которого вытекает, что стихийный элемент в ней вообще отсутствовал, а она с самого начала и до конца была плодом организаторской деятельности партии большевиков. Это, разумеется, другая крайность.

Как признано в недавно предложенном отделением истории АН СССР проекте комплексной программы исследований, в советской науке «история Великой Октябрьской социалистической революции всегда принадлежала к числу приоритетных, активно разрабатываемых направлений. Пожалуй, ни по одному периоду истории советского общества мы не имеем такого обилия книг, статей, диссертационных работ, документальных публикаций, как по истории Октябрьской революции. И, тем не менее, в наши дни общественное мнение все больше склоняется к тому, что мы до сих пор так и не создали подлинную, правдивую историю нашей великой революции».

Выпущенные в этом году издательством «Наука» материалы прошедшего 22—23 октября 1988 года «круглого стола» историков свидетельствуют о «кризисе исторического сознания». В выступлениях почти всех участников, за исключением, может быть, академика И. И. Минца, возглавлявшего в последние 30 лет разработку проблем истории Октябрьской революции, прозвучали слова покаяния. По мнению многих выступавших, специалисты в этой важнейшей области по сути превратились в «замкнутую касту», ушедшую далеко от естественных духовных запросов народа, ведущую схоластические споры на страницах книг, написанных безлико, сухим казенным языком. Тем, кто хотел публиковаться, приходилось укладывать факты в прокрустово ложе навязанных сверху схем и догм, творить мифы, вызывавшие протесты участников реальных событий. Как полемически отметил один из выступавших: «Если на основе работ хотя бы последнего десятилетия попытаться составить цельную картину 1917 года, то выйдет нечто сюрреалистичное... Нарушены пропорциональные соотношения политических сил, исторических деятелей. И если бы творцы революции увидели эту картину, она скорее всего напомнила им зеркала в комнате смеха».

Ряд историков в качестве первоочередной задачи поставили публикацию широкого круга источников, в том числе и тех, с которыми работал В. И. Ленин. Ведь это лишь позднее изучение лагеря противников революции, а также свидетельств репрессированных большевиков стало сопряжено с опасностью в обвинении пропаганды враждебных идей. Особенно необходимы такие публикации и потому, что, по общему мнению, доступное нам историческое знание обезличено, в нем практически отсутствуют живые люди, со своими мыслями и страстями.

В отличие от художника, который в силу специфики своего таланта способен нарисовать реалистическую картину с помощью лишь одной какой-нибудь краски, ученый не в силах воссоздать правдивое историческое полотно только из белых, красных или черных тонов — иными словами, без учета взглядов, деяний и помыслов представителей всех общественно-политических течений. Без свидетельств непосредственных участников и очевидцев сложнейших событий, которыми отмечен период от Февраля до Октября 1917 года, свидетельств, запечатленных на бумаге по горячим следам теми, кто завоевывал новую власть, равно как теми, кто либо противодействовал, либо стоял в стороне, сохраняя нейтралитет, — без всех этих свидетельств множество интереснейших фактов, масса характерных деталей безвозвратно были бы утеряны. Разумеется, невозможно требовать полной беспристрастности от каждого, оставившего после себя личные впечатления о пережитом и виденном. Их дневники и воспоминания, конечно же, не лишены субъективных суждений и оценок, невольно проскальзывающих в самом как будто бы объективном изложении фактов. Но разве это причина для их запрета? Разве это повод для их изъятия из открытых фондов? «Оправдание» запрета и изъятия субъективизмом их авторов выглядит по меньшей мере кощунственно, поскольку результатом явились вопиющие пробелы в изучении нами социально-общественных и политических групп того времени.

Издатель выходившего в начале двадцатых — середине тридцатых годов в Берлине многотомного «Архива русской революции», один из лидеров партии кадетов, адвокат и публицист И. В. Гессен, говоря о задачах своего «Архива...», отмечал: «В настоящее время, когда все авторитеты разрушены, когда все вообще поколеблено до самых оснований своих, никто не вправе навязывать читателю свои выводы-предсказания, никто не вправе претендовать на то, чтобы им верили. Предоставим каждому делать свои заключения... Русская революция... — продолжает И. В. Гессен, — и освободившаяся от всяких форм жизнь безудержно разлилась по всему необъятному пространству великой России. Привычная размеренная поступь сменилась колебательным движением, все бродит, сталкивается, перекрещивается. Навыки и привычки отринуты, каждый шаг приходится обдумывать самостоятельно, и каждому нужно действовать на свой образец. Типические явления уничтожены, нет ничего устоявшегося, и разрушена всякая связь и зависимость между различными и ближайшими частями прежде единого целого. Этот великий перелом не находит ни малейшего отражения в печати. В Советской России существует только большевистская пресса, всецело поглощенная агитационными задачами и не освещающая внутренней жизни страны, вне советских границ печать имеет единственной целью борьбу с большевиками, и тщетно старались бы мы за страстной, с обеих сторон ослепленной, полемикой уловить биение пульса подлинной жизни».

И. В. Гессен не совсем точен в характеристике советской печати. Многие материалы отнюдь не агитационного характера, а также ряд документальных свидетельств, вошедших, кстати, в «Архив...» самого Гессена, претендующего на высокую степень объективности, были опубликованы в двадцатых годах на страницах советских исторических журналов, таких, в частности, как «Пролетарская революция» и «Красная летопись», напечатаны в серии книг «Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев», появились в «Красном архиве», сто с лишним томов которого увидели свет в период с 1922 по 1941 год. Отдельными книгами в те же годы вышли воспоминания В. Д. Набокова, П. Н. Краснова, А. И. Деникина, А. Ф. Керенского, М. В. Родзянко, другие издания серии «Из белых мемуаров».

Практически все вышеупомянутые издания можно обнаружить в одном из своеобразнейших документов своей эпохи — объемистом, 460-страничном, набранном петитом томе под названием «Сводный список книг, подлежащих исключению из библиотек и книготорговой сети» (М., 1961, часть II). В сухом алфавитном перечне, спускавшемся соответствующими органами соответствующим исполнителям, — целый комплекс изданной в СССР литературы о революционном движении. Среди «арестованных» по неуказываемым причинам книг встречаются не только труды Деникина, Родзянко или Каменева с Зиновьевым, Краткая история ВКП(б) (все издания до 1936 г. включительно) или «Как не нужно писать историю Октября? По поводу книги Троцкого «1917» (М., Гос. изд., 1924), но и, к примеру, «Ленин в воспоминаниях» (М., Гудок, 1926), «Ленин и Октябрьский переворот. Как жил и работал и что писал В. И. Ленин накануне Октября и в октябрьские дни» (Тифлис, Заккнига, 1924), «Ленин в Октябрьские дни. Материалы, речи, статьи. Приложения. Воспоминания... В. Полянского и Н. Подвоиского» (Харьков, Пролетарий, 1924). Есть в этом «черном» списке и сборник статей «От февраля к Октябрю (в Москве)», (вып. I, М., Новая Москва, 1923). Среди многих указателей литературы и каталогов — каталог книг «Октябрьская революция» (М., 1926). Вызывают вопросы и позиции типа «Феликс Дзержинский. Автобиография и статьи» (М., Гос. изд., 1926) или даже «Карл Маркс (1818—1918). К столетию со дня его рождения» (Пг., Изд. Сов. раб. и солд. депутатов, 1918).

Сегодня, когда активно снимаются ограничения с книг, десятилетиями пылившихся на полках спецхранов, наша история (не тот суррогат, которым нас с детских лет потчевали в школе, потом в институтах, кружках политсамообразования, народных университетах и т. д.), настоящая, неприглаженная и непричесанная, постепенно становится доступной всем.

Свою посильную лепту в этот живительный процесс хотели бы внести и мы, редакционный коллектив журнала «Слово», задумав рубрику «От Февраля до Октября». Тем более, что среди многих моментов, подтверждающих важность любых свидетельств — дневников, записей, воспоминаний, — есть и такой, особо выделенный упомянутым И. В. Гессеном и всецело разделяемый нами: «Нужно вообще твердо помнить, что даже и при наивысшей объективности воспоминания и дневники дают богатейший, незаменимый материал автобиографический, наиболее ярко выступает в них личность самого пишущего, как бы мало он ни выдвигал себя: по тому, что он видел, на что обращал внимание, что бросалось ему в глаза, какие черты характера в окружающих его лицах он подчеркивал, по всему этому прежде всего можно безошибочно определить его собственное миросозерцание, его душевное и умственное состояние. Если же прямо поставить себе цель дать характеристики, судить и оправдывать, жалеть и пророчествовать, то ничего, кроме автобиографического материала, воспоминания представлять не будут, и только с этой точки зрения они будут интересны для уяснения себе сущности данной эпохи».

Цель открывающейся в нашем журнале рубрики «От Февраля до Октября» — привлечь внимание читателей и издателей к вышедшим в разные годы в Москве и Берлине, Петрограде и Софии, Ленинграде и Нью-Йорке книгам, ставшим библиографической редкостью. Возможно и использование неизданных архивных источников. Среди намеченных к публикации — выдержки из трудов П. Н. Милюкова «История второй Русской революции», В. А. Антонова-Овсеенко «Записки о гражданской войне», Дж. Бьюкенена «Мемуары дипломата», В. Д. Бонч-Бруевича «На боевых постах Февральской и Октябрьской революций», М. Палеолога «Царская Россия накануне революции», В. Д. Набокова «Временное правительство», И. Г. Церетели «Накануне июльского восстания», П. Н. Краснова «На внутреннем фронте», Ф. Ф. Раскольникова «20—21 апреля 1917 года», А. И. Деникина «Очерки русской смуты», а также, как мы объявили в нашей Афише, фрагменты из книг А. Ф. Керенского, Ф. И. Дана, Б. В. Савинкова, Л. Б. Каменева, Г. Е. Зиновьева, В. В. Шульгина, А. С. Лукомского, Л. Д. Троцкого, И. В. Сталина, С. Д. Мстиславского, Н. И. Подвойского...

Итак, рубрику «От Февраля до Октября» мы открываем во втором номере журнала в 1990 году.

Н. ВАЛЕНТИНОВ

РАЗГОВОР С ПЯТАКОВЫМ В ПАРИЖЕ

ПРИМЕЧАНИЕ ОТ РЕДАКЦИИ

Полезность публикации сегодня очерка Н. Валентинова о партии, о сути большевизма несомненна. Когда мы вновь пытаемся понять причины наших поражений, мы обращаемся не только к истории партии, но и к тем дискуссиям, которые велись в ней на переломных этапах, когда определялось ее будущее, определялось прежде всего вождями, довольно часто без учета коренных интересов народа. Собственные тщеславные претензии застилали им глаза, они боролись за власть для себя и шли на любые компромиссы, порой и безнравственные.



ПЯТАКОВ Георгий (Юрий) Леонидович (1890—1937). Родился на Украине в семье директора сахарного завода. Дважды исключался из киевского реального училища св. Екатерины: в 1905 г. как руководитель «ученического восстания», в 1907 г. за «дерзкий спор» со священником училища. Был активным членом анархистских кружков, входил в автономную террористическую группу в целях убийства генерала-губернатора Сухомлинова. Будучи студентом Петербургского университета изучал работы К. Маркса, В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, классиков политэкономии и философии. В 1910 г. за участие в университетских беспорядках выслан в Киев, где сразу вошел в инициативную группу возрождения городской нелегальной социал-демократической организации. В 1912 г. арестован и осужден к ссылке на поселение. В октябре 1914 г. из Иркутской губернии через Японию бежит в Европу. Участник бернской конференции большевиков. Вместе с Е. Б. Бош и Н. И. Бухариным выступает против ленинской позиции по национальному вопросу; позднее признает свою неправоту. После Февральской революции — в Петрограде, затем в Киеве — председатель городского комитета РСДРП(б), член исполкома Совета рабочих депутатов. После победы Октября вызван в Петроград, где назначен главным комиссаром Госбанка. В 1918 г., как писал Пятаков в своей автобиографии в 20-х годах, на Украине в отряде Примакова «вел политработу, выпускал с Лебедевым газетку «К оружию!», чинил суд и расправу, ездил в разведку и был пулеметчиком». В годы гражданской войны — член РВС армии, комиссар дивизии, комиссар Академии Генерального штаба. В 1920 г., после овладения Крымом, один из руководителей («пятаковская тройка») массовых расстрелов белых офицеров, пришедших на объявленную регистрацию.

Находясь на хозяйственной работе, занимал посты заместителя председателя ВСНХ, заместителя наркома тяжелой промышленности. В 1937 г. по делу о «параллельном антисоветском троцкистском центре» Военной коллегией Верховного суда СССР Пятаков был приговорен к расстрелу. За год до этого, согласно докладу Ежова Сталину, Пятаков просил предоставить ему «любую форму реабилитации» и, в частности, от себя внес предложение «разрешить ему лично расстрелять всех приговоренных к расстрелу по процессу, в том числе и свою бывшую жену» («Известия ЦК КПСС № 9, 1989 г.).

Реабилитирован в июне 1988 г. Пленум Верховного суда СССР отменил приговор, установив, что обвинения были необоснованными и материалы дела сфабрикованы.

На следующих ниже страницах приводится речь Пятакова. Буквально с ужасом мне довелось ее слышать в Париже в марте 1928 года, т. е. в год входа в «сталинскую эпоху». В этой речи обнажена вся глубинная суть сталинизированного коммунизма — партии «чудес», не связанной никакими законами, делающей «возможным невозможное». Невольно просится параллель: мерзкое, трусливое, лживое, маленькое существо, изображенное Достоевским в «Записках из подполья», все-таки не хотело быть только «фортепианной клавишей или органным штифтиком», а хотело сохранить «самое главное и самое дорогое, нашу личность и нашу индивидуальность». А вот Пятаков, настоящий революционер, очень даровитый, с громадной волей, человек, явно выделяющийся из общего ранга, — стал доказывать, что, будучи настоящим большевиком-коммунистом, не только психологически можно, а и должно превратиться в клавишу и органный штифтик. Для характеристики этой психологии, этого течения мысли слышанное от Пятакова представляется мне настолько важным, что я не хотел бы ограничиваться тем, что сделал до сих пор: словесной передачей его речи и записью ее для архива Колумбийского университета. Нужно подробно изложить ее в печати, но предварительно, хотя бы кратко, объяснить, в какой обстановке Пятаков изложил ошеломляющую меня «философию».

В 1922—28 гг., имея над собою в роли «комиссара» — М. А. Савельева, я был фактическим редактором «Торгово-промышленной газеты», органа Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ). В это время председателем ВСНХ был сначала Рыков, потом Дзержинский, а после его смерти в 1926 г. — Куйбышев. С ними со всеми, так же как и с их заместителями, мне пришлось иметь дело. Одним из заместителей председателя ВСНХ был Ю. Л. Пятаков. В своем «завещании» Ленин указывает только на шесть лиц, и среди них Пятаков. Ленин пишет, что он «человек несомненно выдающейся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе». Управлению и развитию индустрии Пятаков отдавался со всей присущей ему страстью и превосходно знал состояние, успехи и недостатки всех промышленных отраслей. Мы, «беспартийные спецы», ценили его талантливость, огромную работоспособность, уважали его, но нельзя сказать, чтобы «любили», именно потому, что он был слишком властен и как администратор груб. Главное же, что нас отталкивало — это его политическая позиция. Вместе с Троцким и Преображенским он был виднейшим представителем левой коммунистической оппозиции, считал введение НЭПа крупнейшей ошибкой, стремился возможно скорее задавить частный торговый капитал и с помощью налогового и всякого другого нажима на крестьянство получить средства для максимального развертывания индустрии. Он полностью разделял взгляды Преображенского, творца в 1923 г. знаменитого «закона первоначального социалистического накопления», по которому социализм (как первоначальный капитализм) должен строиться на базе «эксплуатации досоциалистических форм хозяйства», ресурсов крестьянства и городского мелкобуржуазного хозяйства. Ни правые коммунисты, а среди них самым правым был Дзержинский, ни беспартийные спецы, конечно, не разделяли пятаковских воззрений. Мне они были абсолютно чужды, и я не скрывал, что считал их вреднейшими, ведущими к возврату убивающего страну «военного коммунизма». Это было известно Пятакову, раздражало его, вызывало со мною стычки, и, не будь у меня защиты и опоры в лице Рыкова и Дзержинского, Пятаков, несомненно, изгнал бы меня из редакции «Торгово-промышленной газеты». Но с конца 1925 г. отношение ко мне Пятакова резко изменилось, стало почти дружеским. После одной моей статьи в «Торгово-промышленной газете» он, вопреки тому, что думал, узнал, что я почитатель и сторонник руководимого Пятаковым «Освока» — Особого Совещания по воспроизводству основного капитала промышленности, секции которого делали весьма увлекавшие меня первые пробы, первые наброски пятилетних планов развития промышленности. Вместе с тем, он узнал, что в некотором замалчивании в газете ВСНХ работы Пятакова не я повинен. До этого, встречаясь со мною в ВСНХ, Пятаков демонстративно от меня отвертывался, теперь стал «благоволить», приглашать к себе в кабинет («поидемте поболтать»), вести со мною разговоры и споры о принципах построения хозяйственных планов, о накоплении и потреблении в общественном хозяйстве, о законах накопления во 2 и 3-м томах «Капитала» Маркса, о НЭПе, о последних статьях Ленина и пр. В конце 1927 г. вся левая оппозиция, в том числе и Пятаков, была изгнана из партии, и Политбюро, не желая, чтобы он оставался в Москве, назначило его на пост председателя Амторга (Торгового представительства СССР) в Нью-Йорке. Пятаков, которому при этом назначении было предоставлено право пригласить нескольких нужных ему лиц, предложил мне ехать с ним на службу в Америку. Это было дополнительным свидетельством явного изменения его ко мне отношения, но, вызывая его неудовольствие, я от предложения все-таки отказался, мотивируя отказ тем, что плохо знаю английский язык. Но и Пятаков в Америку не попал, так как Вашингтон в визе ему как «левому коммунисту» отказал. Тогда Политбюро, по-прежнему желая удалить Пятакова из Москвы, назначило его председателем Торгового представительства СССР в Париже, и в 1928 г. он, с великим отвращением, почему-то ненавидя и презирая Францию, туда отправился.

Изгнание в декабре 1927 г. из партии левой оппозиции скоро вызвало в ее рядах покаянное настроение, обращение к ЦК и ЦКК с просьбами о возвращении в партию. Галерею каявшихся открыли Зиновьев и Каменев в письме, помещенном 27 января 1928 г. в «Правде», а через месяц после них в той же «Правде» (№ от 29 февраля) с покаянием выступил и Пятаков. Его статья (копия бумаги, отправленной в ЦКК) безобразно написана, хаотична, и никакой искренности я в ней не увидел. Она была в духе и стиле многократных заявлений оппозиции, говорила об отказе от «фракционной деятельности», но всем было известно, что это обещание оппозиция немедленно нарушала. Сомневаться в искренности заявления Пятакова я имел тем более оснований, что несколько раз видел, до какой степени то, что я слышал от него, расходилось с тем, что он провозглашал официально, чтобы не входить в острый конфликт с Дзержинским. Не я один, а многие совершенно не верили, чтобы этот ультралевой человек так быстро и легко сдался пред Политбюро. Говорили, что покаянную статью свою Пятаков написал в пьяном состоянии и что у него была одна только цель — любой ценой добиться возвращения «из ссылки», из Парижа в Москву.

В то время, когда появилась в «Правде» статья Пятакова, я был в Германии, куда был послан лечиться от всяких болезней, нажитых в течение лет крайне тяжелой работы в ВСНХ. Лечение в санатории Либенштейн в Тюрингии меня несколько поставило на ноги, и я решил воспользоваться пребыванием за границей, чтобы повидать давно живущую в Париже мою сестру. Она выхлопотала у префектуры визу, разрешавшую мне пробыть в Париже семь дней, и так, в конце марта 1928 г., я и попал в него. Я не преминул посетить Пятакова — торгпредство тогда помещалось в доме № 25 на rue de la Ville-l'Evêque. Секретарь Пятакова Москалев (погибший вместе с ним в 1937 г.), с которым мне часто приходилось видеться в ВСНХ, встретил меня с распростертыми объятиями как «человека оттуда» — как и Пятаков, но по другим мотивам, он жаждал возвратиться в Москву. О моем приходе Москалев немедленно доложил Пятакову. Тот с не свойственной ему любезностью принял меня, начал расспрашивать, как и почему я попал за границу, и узнав, что я приехал в Германию, в частности и для того, чтобы лечиться от тяжелого переутомления, предложил мне служить в торгпредстве, заведовать экономической информацией и редактировать орган торгпредства «La Vie Economique des Soviets». «У вас будут помощники, работой переобременены не будете. Это не «Торгово-промышленная газета» — сидеть на вашей шее не буду. Значит, у вас есть возможность здесь еще более поправиться и укрепить силы».

Неожиданное предложение Пятакова очень отвечало возникшему у меня еще в Германии желанию некоторое время пожить за границей (стать эмигрантом тогда и мысли не было), но я хотел предварительно узнать, как и при каких условиях ведется предлагаемая мне работа и уже тогда решить, подходит ли она мне. Ознакомившись со всем этим делом (в сравнении с адской работой в «Торгово-промышленной газете», оно показалось мне пустяком), я на следующий день пришел к Пятакову сообщить, что предложение его принимаю. Он, видимо, остался этим доволен, сказав, что будет просить об освобождении меня от службы в ВСНХ и даст приказ, чтобы начали хлопоты о получении визы для моего въезда во Францию на постоянную работу. Когда разговор о моей будущей работе окончился и темою стал поносимый Пятаковым Париж, он вдруг, без всякой связи с тем, что говорилось, спросил, читал ли я его заявление в Центральную Контрольную Комиссию о возвращении в партию и что по этому поводу скажу.

Говорить с ним на эту тему, сказать прямо в глаза то плохое, что я о его заявлении думал, — мне не хотелось, тем более, что только что получил от него весьма и весьма меня устраивающее предложение перейти на службу в торгпредство в Париже. Я ответил, что заявление читал, судить же о нем не могу, это дело чисто внутрипартийное, а я в партии не состою. Вопрос Пятакова застал меня врасплох, и мой ответ был заикающийся, путаный. Я начал в дополнение говорить, что, будучи беспартийным, очень далек от знания, что происходит наверху партии, а без этого нельзя дать правильную оценку его заявления.

«Скажите, пожалуйста, Валентинов, — крикнул Пятаков, — для чего вы изображаете из себя дурака, явно сочиняете, что будто ровно ничего не знаете, что происходит в партии? Из бесед с вами в Москве я мог убедиться, что вы знаете о том гораздо более, чем это полагалось бы беспартийному, хотя понимал, что такое знание вам было нужно, чтобы не садиться в лужу, а с большей осведомленностью в политической партийной обстановке редактировать газету. Откуда вы получали нужные вам сведения, не допытываюсь, но утверждаю, — чтобы сказать, как вы относитесь к моему заявлению, не нужно большого знания того, что делается в Цека, в Политбюро, в ОРГ-бюро и других учреждениях партии».

Так как я продолжал уклоняться от ответа, настаивая, что у меня нет всех данных для оценки его заявления, Пятаков язвительно и грубо мне крикнул:

«Я знаю, почему вы не хотите ответить на мой вопрос. Очевидно, просто боитесь. А вдруг, будучи искренним, ляпнете нечто такое, что воняет затхлым меньшевизмом или чем-то похуже этого. Вот возвратитесь в Москву, а Пятаков вослед настрочит куда следует письмецо с советом получше наблюдать за вами, так как, мол, из разговора с Валентиновым выяснилось, что он совсем не такой, каким мы его видим. Такого рода боязнь заставляет вас дипломатничать, выдумывать разные отговорки, увертки, чтобы не ответить на вопрос. Не думал, что перед лицом начальства, хотя бы в данное время исключенного из партии, вы обнаружите такую трусость. Прежде казалось, что вы не трус, а теперь вижу, что никакой смелости и никакого мужества у вас нет».

Слова Пятакова так меня разозлили, вернее сказать, бросили в такую ярость, что без малейшей уже думы, что это может плохо отразиться на осуществлении моего плана служить в Париже, у меня сразу появилось решение выпалить без всяких умолчаний, что я думаю о его заявлении.

«Отвечая на обвинение в трусости, — сказал я, — мне приходится сказать вам в лицо вещи малоприятные. Из деликатности я не хотел о том говорить, пеняйте же на себя, вы сами меня вынудили на ответ. Так как я читал ваше заявление почти месяц тому назад, не могу точно указать, какие в нем слова и выражения вызвали у меня особое недоумение».

«Я вам дам его», — сказал Пятаков и, вынув из ящика своего письменного стола «Правду», протянул ее мне.

По правде сказать, я не стал перечитывать заявление Пятакова внимательно, я выхватил из него лишь особенно «ударные» места. Я был слишком озлоблен грубостью Пятакова, и мне хотелось поскорее на нее ответить, не стесняясь в выражениях. Мне придется довольно подробно изложить, что я говорил, без такой передачи не будет понятна самая речь Пятакова и неизвестно будет, на что он возражал.

«Ваше заявление, — сказал я Пятакову, — занимает в «Правде» целых два столбца, в этих пределах можно было бы многое сказать и объяснить, но самого главного вы не говорите и не объясняете. В течение ряда лет вы рьяно боролись за идеи оппозиции. Еще в 1923 г. в защиту ваших идей выступали с резкой критикой позиции и политики Политбюро и Центрального Комитета, сначала в компании трех оппозиционеров, а потом сорока пяти. Вплоть до конца 1927 г. вы держались за эти идеи, их защищали, их пропагандиро-

Лагерная поэзия

Первое место в лагерном песенном фольклоре занимает песня «Ванинский порт». Ее пели от Владивостока до Бреста, это как бы национальная песня народа архипелага ГУЛАГ. Она, как настоящая народная песня, стала народным достоянием, бытует во многих вариантах, ее сокращают и дополняют. В 1960-е годы был записан вариант на Колыме со строфой, явно порожденной решениями XX и XXII съездов:

В Кремле заседанье идет,
Судьбу заключенных решают.
А там, далеко, в Колыме
Безвинные люди страдают.

Я ПОМНЮ ТОТ ВАНИНСКИЙ ПОРТ

Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.

На берег ложился туман,
Ревела стихия морская.
Пред нами стоял Магадан,
Столица Колымского края.

А в трюмах сидели зека,
Обнявшись, как родные братья,
И только порой с языка
Срывались глухие проклятья.

Будь проклята ты, Колыма,
Что прозвана чудной планетой!
Сойдешь поневоле с ума,
Отсюда возврата уж нету...

Я знаю: меня ты не ждешь
И писем моих не читаешь,
Встречать ты меня не придешь,
А если придешь, — не узнаешь...

Михаил Николаевич ФРОЛОВСКИЙ (1895—1943). Инженер. Впервые был арестован в 1925 году за участие в религиозных собраниях, в 1925—1928 годах находился на Соловках, затем в ссылке, вторично арестован в 1941 году, умер в заключении.

* * *

Тяжело сдавили стены,
Тяжело гнетет тюрьма,
Мутным призраком свободы
За решеткой дразнит тьма.

Спит тюрьма и трудно дышит,
Каждый вздох — тоска и стон,
Только мертвый камень слышит,
Ничего не скажет он.

Но когда последней дрожью
Содрогнется шар земной,
Вопль камней к престолу Божью
Пронесется в тьме ночной.

И когда, трубе послушный,
Мир стряхнет последний сон,
Вспомнит камень равнодушный
Каждый вздох и каждый стон.

И когда последний пламень
Опалит и свет, и тьму,
Все расскажет мертвый камень,
Камень, сложенный в тюрьму.

Спит тюрьма и тяжко дышит,
Каждый вздох — тоска и стон,
Неподкупный камень слышит,
Богу все расскажет он.

1925, Великий Четверг

Ольга Львовна АДАМОВА-СЛИОЗБЕРГ (род. 1902). Экономист. Находилась в заключении в 1936—1944 годах, в 1949—1954 годах — в ссылке в Караганде.

КНИГИ

Когда ночами, мучима тоской,
Ища напрасно отдых и покой,
В пережитом ответа я искала:
Что жизнь мою и гибель оправдало!
Когда я видела, что целый свет
Враждебен мне, что мне опоры нет,
Чтоб смертную тоску от сердца отогнать,
Я принималась в уме перебирать
Стихи любимые. Сквозь тьму веков, сквозь дали
Сердца родные сердцу вести слали,
И отзывалися снова в душе унылой,
Как ласка друга, трепетною силой.
В реке поэзии омывшися душой,
Я снова силу в жизни находила:
У Пушкина гармонии учились,
У Кюхельбекера — высокой и прямой
Гражданской доблести, любви к искусству
И чистой дружбы сладостному чувству.
Веселой радости в безжалостном бою,
Бездонной нежности и мужеству терпенья
Училась у насмешливого Гейне,
Свободе жизнь отдавшего свою.
И Лермонтов, могучий, мрачный гений,
Мне раскрывал весь мир своих мучений.
И вас, учителя людей, я вспоминала,
Ромен Роллан и Франс, Тургенев и Толстой,
В мир ваших мыслей погружаясь душой,
Я горькую печаль свою позабывала.
И, с человечеством вновь через вас родня,
Гнала ночной кошмар и шла навстречу дня.

1936
Бутырская тюрьма

вали. Значит, вы были в них убеждены. Чем же тогда объяснить, что, как только вас ударили, исключили из партии, от убеждений ваших сразу ничего не осталось? Они испарились, исчезли. Такое же изменение взглядов произвели Зиновьев и Каменев. Этой мгновенности изменения убеждений я абсолютно не понимаю и в нее не верю. Вы не школьник, который немедленно просит прощения, когда его бьют по руке или в наказание ставят в угол. Не свидетельствует ли это о том, что желание состоять, находиться во что бы то ни стало в партии, занимать в ней большой пост у вас много сильнее ваших убеждений? Я понял бы, если бы вы сказали, что, оставаясь при прежних убеждениях, пропагандировать их не будете, а будете держать их про себя, будете стараться проводить принятые партией решения. Я понял бы вас и в другом случае: вас исключили из партии, но через год или какое-то большое время, убедившись, что жизнь идет вразрез с вашими идеями, вы найдете их ложными, откажетесь от них и на этом основании будете хлопотать об обратном приеме в партию. У вас совсем не то. У вас скоропалительная смена убеждений произошла, можно сказать, в 24 часа или 24 минуты, с субботы на воскресенье. Вы пишете, что «теперь я не считаю правильным защищать основную установку «платформы» оппозиции от 3 сентября 1927 г.» Но вы ее защищали еще в декабре, а с тех пор прошло только два месяца. Разве можно убеждения, за которые вы сражались в течение ряда лет со свойственной вам страстью, упорством, настойчивостью, сразу, в самый краткий срок, выбросить как остаток выкуренной папиросы или грязный платок? Я считаю это просто невозможным. Вы убежденный человек, а у таких людей этого не бывает. Повторяю, это психологически невозможно. Какой же из этого следует вывод? Не обижайтесь, прямо скажу: искренность и правдивость вашего заявления весьма и весьма сомнительны. Вы человек гордый, но в данном случае полностью жертвуете и гордостью, и самолюбием — только бы быть снова принятым в партию. Это желание вызывает у вас внешний отказ от идей оппозиции, тогда как внутренне вы, наверное, продолжаете верить в истинность своей линии. В вашем заявлении вы раз пять или шесть вставляете в текст «диктатура пролетариата», забывая, что Ленин называл этот термин жестоким и рекомендовал им зря не пользоваться. А у вас в заявлении оно появляется зря, вроде необходимого украшения и ни в какой связи с самой сущностью и целью вашего заявления не находится. Два или три раза вы говорите, что партия проводит ленинскую политику. О какой ленинской политике идет речь? Есть два Ленина — один до НЭПа, другой — вводящий НЭП. С 1921 г. ленинская политика выразилась именно в проведении НЭПа и особенно развита в его последних произведениях 1923 г. Но ведь мне, как всем другим, хорошо известно, что НЭП вы никогда не принимали, считали его политикой ошибочной. Почему же в своей статье вы пишете, что у вас «нет сомнения», что партия проводит и проводила ленинскую политику, тогда как сомнения именно в этом отношении и отталкивали вас и ваших единомышленников от линии партии, проводившейся с 1921 г.? Вы заявляете, что у вас «нет никаких колебаний» по вопросу об обязательности решений высших учреждений партии и вы «никоим образом» не уклоняетесь от подчинения их решениям. И тут же указываете, что такое неподчинение вас и других привело к фракционности, к «выступлениям», которые, как вы пишете — «явно ослабляли партию как носительницу диктатуры пролетариата». Однако, к решению подчиняться вы пришли лишь после того, как вас исключили из партии, так как без такого обещания подчиняться «высшим учреждениям» вас в партию не возвратят. И снова встает тот же вопрос: насколько искренно ваше заявление? Ходят слухи, они долетели и до меня, что некоторые члены самого высшего учреждения партии, так сказать, «заразились» идеями оппозиции, стали к ним склоняться. Подобные слухи находят себе отголосок в некоторых решениях и резолюциях 15-го съезда. Если это так, тогда подкладка вашего заявления и желания быть возвращенным в партию могла бы стать ясной. Вы видите, что какие-то члены Политбюро или Цека идут навстречу вашим идеям, следовательно, между ними и вами прежние разногласия исчезают, а при этих условиях исключение вас из партии делается недоразумением. Вы упрекали меня в трусости, отсутствии смелости говорить то, что думаю, а теперь я скажу — смелости-то именно у вас нет; если бы она была — то вы должны были бы объяснить, что, так как произошло и происходит изменение отношения Цека к идеям оппозиции, вы, один из ее лидеров, это приветствуете, от фракционной борьбы отказываетесь и без колебаний подчиняетесь новым решениям партии. Вместо этого вы написали совсем другое, нечто туманное, неясное, неловкое, неизбежно наталкивающее на вывод, что искренность в вашем заявлении отсутствует».

Я говорил довольно долго, но нет надобности передавать полнее мною сказанное. Разозленный упреками в трусости и тоном, которым Пятаков об этом говорил, я отвечал ему более резко, я бы сказал, более запальчиво, чем это видно из моей передачи. Слушать обвинение в неискренности Пятакову было явно неприятно, однако он не сделал ни малейшего жеста, ни малейшей попытки меня остановить или перебить мою речь. Только щеки его краснели. Когда кто-то позвонил ему по телефону, он не стал даже слушать: «Я занят, позвоните через час». Москалева, вошедшего в кабинет и робко доложившего, что Пятакова кто-то давно ждет, он просто выгнал. Волосы на голове и жидкая бородка Пятакова были светло-рыжие, а под лучами солнца, падающего из большого окна кабинета, казались ярко и неестественно желтыми. И эта желтизна, в сочетании с покрасневшими щеками, придавала Пятакову какой-то странный облик, по сей день запечатлевшийся в моей памяти. Он ни на минуту не выпускал папиросы изо рта, ни одной не докуривал до конца, кидал их в пепельницу, нервным движением тушил и тут же из коробки брал другую. И так все время, пока я говорил. А когда я кончил, Пятаков начал свой ответ сидя, потом встал и продолжал говорить, расхаживая по комнате, то подходя ко мне, то отходя к окну. И там, повернувшись ко мне спиною, не глядя на меня, точно не только мне, а еще кому-то кроме меня, твердыми, отчеканенными фразами пояснял свою позицию, правильнее бы сказать — скрытые основы своего мировоззрения. Его речь, как я уже раньше сказал, произвела на меня ошеломляющее впечатление. В сравнении с услышанным то, что я говорил, было маленьким, бесцветным и ненужным. Сделать возможно точную и полную передачу его речи я считаю крайне важным. Она бросает свет на психологию большевизма-коммунизма и, в частности, на все поведение Пятакова на суде 1937 г. Зарегистрировать эту передачу мне тем легче, что содержание ее я неоднократно передавал очень многим лицам. Позднее, уже находясь в эмиграции, я услышанное от Пятакова, когда начались кошмарные московские процессы, рассказывал М. А. Алданову, который нашел, что от речи Пятакова веет подлинным духом учения главы иезуитов, с его правилом — perinde ac cadaver. Рассказывая с доступной для меня точностью о смысле речи Пятакова, я *подчеркну* в ней некоторые места, являющиеся самыми важными. Их Пятаков произносил с особым нажимом. Они врезались в мою память, ручаюсь, что передаю их почти со стенографической точностью.

«Должен отказаться, — начал свою речь Пятаков, — от наименования вас трусом. Не боясь бить «начальство», вы сказали, кажется, даже больше того, что, может быть, следовало сказать. Во всяком случае, кое-что из вами сказанного услышать не ожидал и за откровенность благодарю. Укажу, что я совсем не зря, как вы полагаете, ввел в мое заявление упоминание о диктатуре пролетариата. Я хотел подчеркнуть, что этой диктатурой изгоняется другая возможная диктатура — кулачества, а за нею политически обязательно появляется диктатура вообще буржуазии во главе с крупно-капиталистической. НЭП опасен тем, что потихоньку, незаметно развязывал кулака. Он создавал особую атмосферу, в которой кулак может жить, развиваться, постепенно жиреть, заражать своим духом все крестьянство, а через него, с помощью передаточных социальных слоев, производить давление на партию с вытекающими отсюда последствиями, то есть, сначала маленькими уступками, потом большими, потом еще большими, создающими в конечном счете то, что стали называть «атмосферой термидора». Полностью отрицаю, будто, по вашим словам, есть два Ленина — один до НЭПа, другой с введением его. Считать НЭП мировоззрением Ленина — значит его не знать и не понимать. Вы ссылаетесь на последние произведения Ленина, написанные в 1923 г., однако, не только на мой взгляд, но по мнению и многих других, в том числе и членов Политбюро, эти статьи были очень неудачными, были написаны под давлением угнетающей, обескураживающей Ленина болезни. Но почему сосредоточивать анимание на них, а не на замечательной, тогда же написанной статье «О нашей революции», бьющей Каутского и избитую болтовню людей Второго Интернационала о так называемых объективных предпосылках социалистической революции? Старая теория, что власть пролетариата приходит лишь после накопления материальных условий и предпосылок, заменена Лениным *новой теорией*. Пролетариат и его партия могут прийти к власти без наличности этих предпосылок и уже потом создавать необходимую базу для социализма. Старая теория создавала табу, сковывала, связывала революционную волю, а новая ей полностью открывает дорогу. Вот *в этом растаптывании так называемых «объективных предпосылок», в смелости не считаться с ними, в этом призыве к творящей воле, решающему и всеопределяющему фактору — весь Ленин. Никакого другого нет.* Не отрицаю, что из идей, образующих НЭП, плюс некоторые идеи из последних, неудачных, статей Ленина, можно, с грехом пополам, построить мировоззрение. Это будет уже не ленинское мировоззрение, пропитанное волею, а затхлое, реформистское. Иногда можно услышать наименование октябрьской революции *«чудом»*. Это верно, в ней много чуда, и *чудо сделано Лениным*, потому что он не пожелал считаться с так называемыми «объективными препятствиями» и отсутствием «объективных» предпосылок. *Чудо есть результат проявленной воли.* Чудо Ленина не могло бы превратиться в жизнь, было бы только кратковременной вспышкой, для истории мимолетным явлением, если бы Ленин не положил основания *другому чуду — такому фактору, как большевистская коммунистическая партия*, не имеющая никаких исторических прецедентов, ни на какую партию не похожая ни по своей организации, ни по своему духу, ни по силе своего действия. Если бы этой партии не было, Октябрьская революция была бы без последствий, ничем важным не окончилась бы. Если мы вышли победителями из страшного голода, полнейшего развала хозяйства, полосы интервенции, гражданской войны, когда бывали моменты, что нам наступает конец, — этому мы обязаны только партии. В ней не всегда и не все было благополучно, но она свои недостатки неизменно преодолевала. Если мы из года в год побеждали на всех хозяйственных фронтах, делались не с каждым годом, а с каждым полгодом, с каждой четвертью года, все сильнее и сильнее; если вот я сижу теперь торгпредом в Париже и десятки французиков бегают ко мне в чаянии, что я соблаговолю им дать какой-нибудь заказ — все это сделала партия. Только она. От нее все. *Не будь* скрепившей всю страну *нашей партии*, не будь ее управления, не вдохни она повсюду свойственный ей дух — *никакого СССР не было бы*. Что было бы? Черт знает что было бы. Когда отдаешь себе ясный отчет, что такое партия, что она сделала и делает, — просто чудовищным кажется ваш вопрос — почему вы так огорчены, что вас — Пятакова — исключили из партии. Почему вы так хотите возможно скорее в нее вернуться? Такой вопрос в ваших устах, большевика в прошлом, но ушедшего потом к меньшевикам, не случаен. Характерной чертой меньшевизма было органическое непонимание, что такое настоящая партия, чем она может быть и должна быть. Это обнаружилось еще двадцать пять лет тому назад на втором съезде только что складывавшейся партии, в связи с обсуждением первого параграфа устава партии, когда все еще было в тумане, недоговорено, и все же можно было догадаться, что люди, образующие партию, состоят из индивидов разной породы, разного теста, разной психической натуры. Большевикам был совершенно чужд панический страх меньшевиков пред партийной дисциплиной, а эта черта и сделала возможным образование могущественной большевистской коммунистической партии. Различие психической натуры большевиков и меньшевиков сказалось в их отношении к такому вопросу, как диктатура пролетариата, конечно, неразрывно связанная с идеей подчинения и дисциплины. Наша революция шла под флагом диктатуры пролетариата, и Ленин превосходно показал, что действительным носителем и выразителем этой диктатуры может быть только партия. Он прямо заявил, что после опыта двух первых годов советской власти только тупым людям неясно, что диктатура пролетариата иначе как через коммунистическую партию осуществляться никак не может. Ленин говорил: «диктату-

ра пролетариата есть власть, осуществляющаяся партией, *опирающейся на насилие и не связанной никакими законами»*. На чем в этой формуле нужно делать главное ударение — на *«насилии»* или на *«несвязанности никакими законами»*? Конечно, на последних словах. Термин «никакие законы» не относится к физическим или физиологическим законам, их выбросить и с ними не считаться нет возможности. Но все, что находится вне этих законов, все, на чем лежит печать человеческой воли, — не должно, не может считаться неприкосновенным, связанным какими-то непреодолимыми законами. Закон — есть ограничение, есть запрещение, установление одного явления допустимым, другого недопустимым, одного акта возможным, другого невозможным. *Когда мысль держится за насилие, принципиально и психологически свободное, не связанное никакими законами, ограничениями, препонами — тогда область возможного действия расширяется до гигантских размеров, и область невозможного сжимается до крайних пределов, падает до нуля. Беспредельным расширением возможного, превращением того, что считается невозможным, в возможное, этим и характеризуется большевистская коммунистическая партия. В этом и есть настоящий дух большевизма.* Это есть черта, глубочайше отличающая нашу партию от всех прочих, делающая ее партией «чудес». Большевизм есть партия, несущая идею претворения в жизнь того, что считается невозможным, неосуществимым и недопустимым. Ей доступно то, что всем другим натурам, небольшевистским, кажется невозможным. Вы с удивлением и с упреком говорите, что я, исключенный из партии, чтобы снова в ней находиться, иду на все, готов пожертвовать своею гордостью, самолюбием, своим достоинством. Это свидетельствует, что вам совершенно чуждо понимание величия этой партии. Ради чести и счастья быть в ее рядах мы должны действительно пожертвовать и гордостью, и самолюбием, и всем прочим. Возвращаясь в партию, мы выбрасываем из головы все ею осужденные убеждения, хоть бы мы их защищали, когда находились в оппозиции. Но так как, по вашим словам, изменить убеждения в кратчайший срок будто бы нельзя, вы заключаете, что наши заявления, в том числе мое, неискренни, лживы. Видимо, лишь из некоторой деликатности вы не сказали, но может быть думаете, что желание возможно скорее быть возвращенным в партию инспирируется у меня и других низменным желанием возвратить себе какие-то потерянные при исключении из партии материальные блага, удобства, привилегии и прочее. Я согласен, что небольшевики и вообще категория обыкновенных людей не могут сделать мгновенного изменения, переворота, ампутации своих убеждений. Но настоящие большевики-коммунисты — люди особого закала, особой породы, не имеющей себе исторических подобий. *Мы ни на кого не похожи.* Мы партия, состоящая из людей, делающих невозможное возможным; проникаясь мыслью о насилии, мы направляем *его на самих себя*, и, если партия того требует, если для нее это нужно или важно, актом воли сумеем в 24 часа выкинуть из мозга идеи, с которыми носились годами. Вам это абсолютно непонятно, вы не в состоянии выйти из вашего узенького «я» и подчиниться суровой дисциплине коллектива. А вот настоящий большевик это может сделать. Личность его не замкнута пределами «я», а расплывается в коллективе, именуемом партией. Когда, прося о восстановлении меня в правах члена партии, выбрасывая свои прежние взгляды, сопротивление, идущее от гордости и самолюбия, я заявляю, что подчиняюсь партии — я не лгу, а говорю правду. Согласие с партией не должно выражаться только во внешнем проявлении. Это и есть двурушничество. Подавляя свои убеждения, выбрасывая их, — нужно в кратчайший срок перестроиться так, чтобы внутренно, всем мозгом, всем существом, быть согласным с тем или иным решением, постановлением партии. Легко ли насильственное выкидывание из головы того, что вчера еще считал правым, а сегодня, чтобы быть в полном согласии с партией, считаю ложным? Разумеется, нет. Тем не менее, *насилием над самим собою* нужный результат достигается. Часто говорят, лучше отказаться от жизни, чем от той или другой усвоенной человеком дорогой идеи. Отказ от жизни, выстрел в лоб из револьвера — сущие пустяки пред другим проявлением воли, именно тем, о котором я говорю. Такое насилие над самим собою ощущается остро, болезненно, но в прибегании к этому насилию с целью сломать себя и быть в полном согласии с партией и сказывается *суть настоящего идейного большевика-коммуниста*, до конца связанного с партией. Совсем недавно от одного большого пошляка я слышал следующего рода рассуждение: коммунистическая партия, несмотря на все ее самомнение, не есть непогрешимая, неошибающаяся организация. Она может жестоко ошибаться, например, считать черным то, что в действительности явно и бесспорно бело. Неужели и в этом случае — с усмешечкой спрашивает он меня — вы тоже, чтобы быть в согласии с партией, с ее высшими органами, будете считать белое черным? Пошляк хотел уловить меня в противоречии, это попытка негодная. Ему и всем, кто подсовывает мне этот пример, я скажу: *да, я буду считать черным то, что считал и что могло мне казаться белым, так как для меня нет жизни вне партии, вне согласия с нею.* Вы говорите, что, по дошедшим до вас слухам, часть Политбюро, часть высшего руководства партией, «заразилась» идеями оппозиции. Углубляться в этот вопрос, обсуждать его с вами в мои намерения не входит, мимоходом замечу, что, если, допустим, ваш слух верен, тогда в этом случае мне пришлось бы менее болезненно ампутировать свойственные мне до сих пор идеи и с большей легкостью следовать за решениями партии.

Остается последний вопрос: к чему ведет то, что я назвал превращением невозможного в возможное? Выехав из Москвы и добравшись до Парижа, вы проехали три страны — Польшу, Германию, Францию. В сравнении с нашей еще убогой, еще ободранной советской страной, они могут казаться полными жизни, крепко стоящими на ногах. Капитализм, утверждают некоторые умники, стабилизировался, во всем мире исчезла революционная ситуация. Это ложь, иллюзия, чистейший капиталистический мираж. Польша Пилсудского — искусственный, мыльный пузырь, только толкнуть ее, и она вся развалится. Германия до основы, до самого пупа, подсечена коммунизмом. В ней все признаки огромного приближающегося кризиса, от которого никакими социал-демократическими заплатами спастись нельзя. Франция внешне цветет, но ведь о ней серьезно говорить нельзя — это только проститутка с намазанными щеками. За океаном, в Соединенных Штатах, подкрадывается кризис такой силы, которого американский капитализм не вынесет, треснет и начнет разлагаться. На все, что делается в капиталистическом мире, нужно смотреть не слепыми глазами и не вылавливать цифры, якобы свидетельствующие о стабилизации капитализма. Этим не спасется трухлявый капиталистический мир. Он развалится гораздо скорее, чем о том предполагают, и в его развале сыграет огромную роль национально-освободительное движение народов Востока и вообще стран, находящихся ныне под пятой европейского империализма. Прогноз Ленина в этой области безукоризненно правилен. А что будет за это время с нами? *Наша партия — партия чудес — нашла чудесное средство заставить советскую страну шагать вперед недоступными для других стран семимильными шагами. Это средство называется пятилетними планами.* Пока над их разработкой сидели беспартийные экономисты, техники, статистики — на планах лежала печать трусости, сомнений, отсутствия размаха, связанность всякими опасениями и всякими «законами». Но партия берет теперь это дело в свои руки. Оно уже явно улучшается и изменяется. С помощью этих планов мы сделаем невозможное возможным и в кратчайшее время станем сильнейшей индустриализированной страною в мире. Для меня это неоспоримая истина. А каждый год нашего существования, нашего укрепления и мощи, нашего влияния на м.р — сокращает на 5—10 лет самое существование капитализма. Мы идем вверх, капитализм вниз. Я убежден, что через 15—20 лет капиталистический мир будет представлять собой развалины, охватываться революциями».

Пятаков в это время стоял у окна, повернувшись ко мне спиною. Но слова его я прекрасно слышал, все фразы его были отшлифованы, словно он читал что-то написанное, притом с явным фанатизмом. Потом круто повернувшись, подошел ко мне и почти со злобою продолжал свою речь:

«В революции, подбирающейся к миру, неужели вы думаете, что я — Пятаков — не буду участвовать? Где же тогда я буду? А за каким чертом я тогда жил? Неужели вы думаете, что в великом мировом перевороте, в котором решающим фактором будет наша партия, я буду вне ее? А вне — значит быть нулем. Чтобы быть в партии, участвовать в ее рядах в грядущих мировых событиях — я должен отдать ей без остатка

самого себя, слиться с нею, чтобы во мне не было ни одной частицы, не принадлежащей партии, с нею не согласованной. И еще раз скажу, *если партия для ее побед, для осуществления ее целей — потребует белое считать черным — я это приму и сделаю это моим убеждением»*.

Окончив свою речь, Пятаков с еще сильнее покрасневшими щеками снова сел за стол и взял папироску. Руки его слегка дрожали. он не сразу мог закурить папиросу и нервным движением переломал несколько спичек.

За истекшие десятилетия мир узнал столько чудовищного, кошмарного, могущего казаться просто невероятным, созданием необузданной, сумасшедшей фантазии, что я могу легко допустить, что пресыщенные этим знанием, те, кто теперь прочитают мою запись, не получат от речи Пятакова потрясения, мною испытанного. Людей сейчас ничем удивить нельзя. Но речь Пятакова я слышал в марте 1928 г. и был ею ошеломлен. Тогда еще не было известно, что коммунистическая партия действительно не связана «никакими законами» и способна «все невозможное сделать возможным». В марте 1928 г. у меня, находившегося в Париже, не было еще ощущения, что приближается чудовищное царство Сталина. Это я начал смутно чувствовать, лишь возвратясь из-за границы в Москву. Речь Пятакова слушал с ужасом. Неужели, думал я, таковы на самом деле его убеждения? Не лжет ли он? Не хочет ли для чего-то меня просто эпатировать? И неужели его политическую «философию» можно вывести *прямо от Ленина?* Ведь ход мысли Пятакова неумолимо приводил к выводу, что, раз все возможно, тогда и *«все позволено»*. Можно и должно, если этого требует партия, в 24 часа перевернуть наизнанку свои убеждения. Должно, если это нужно партии, белое считать черным. Можно и должно так себя настроить, дрессировать, чтобы при всяких движениях и поворотах партии быть всегда с нею внутренно согласным. Возражать Пятакову мне и в голову не приходило. Я лишь пробормотал, что благодарю за данные мне объяснения и не смею больше думать, что в его заявлении о возвращении в партию есть какая-то неискренность. У меня было одно только желание — скорее уйти из кабинета Пятакова, а чтобы сделать более приличным мой поспешный уход, я сказал, что сегодня же вечером уезжаю из Парижа и мне нужно немедленно ехать в Asniéres, где живет моя сестра, и с нею проститься. На самом же деле — я уехал из Парижа три дня спустя.

Осенью того же 1928 г. Пятакову удалось добиться своего перевода из Парижа в Москву, с назначением председателем Государственного банка. На место его в Париже был назначен Туманов — симпатичный, культурный и мягкий коммунист. Позднее он был председателем Промышленного банка и был расстрелян Сталиным в 1937 или 1938 г. Однажды Туманов, по каким-то причинам не спешивший выезжать из Москвы в Париж, встретившись со мною, сказал, что подтверждает сделанное мне Пятаковым предложение служить в парижском торгпредстве и я, не задерживаясь в Москве, должен ехать туда, как только получу от французов визу. Но с выдачей этой визы французское консульство медлило, и для меня создалось неприятное, неопределенное положение: в Париж неизвестно попаду ли, а из «Торгово-промышленной газеты» ушел.

Поздней осенью, может быть, в начале декабря меня известили по телефону, что Пятаков просит к нему зайти. Он жил в Гнездниковском переулке в одиннадцатиэтажном доме, принадлежавшем прежде Нирензее. Дом был заселен только коммунистами. Пятакова я нашел в жалкой узенькой комнате, в которой помещалась кровать, тумбочка, стул и больше ничего. Почему он избрал или попал в такое помещение — не знаю. Он был болен, лежал в кровати, покрытый изношенным, скверным одеялом, вроде тех, что бывают в тюремных камерах или казармах. Пятаков принял меня очень приветливо, пояснил, что вызвал меня, чтобы сказать — если французы мне не дадут визы и я не смогу попасть в парижское торгпредство, он охотно возьмет меня на службу в Государственный банк. За такой знак внимания я самым сердечным образом его поблагодарил. Мой визит к нему продолжался всего несколько минут, так как очень скоро, почти вслед за мною, в комнату вошел А. Н. Розенгольц. Не помню, какой пост он тогда занимал, знаю, позднее был народным комиссаром внешней торговли. По тому, как Пятаков с ним переглянулся — я понял, что их нужно оставить наедине, и немедленно ушел. Десять лет спустя (в 1938 г.), читая отчеты о суде над Рыковым, Бухариным, Крестинским, Ягодой и другими, в том числе и Розенгольцем, я с мучительной настойчивостью вспоминал приход Розенгольца к Пятакову. Вышинский на суде допытывался, как «реагировал» Розенгольц на арест, потом на расстрел Пятакова. И Розенгольц, обреченный, как все другие обвиняемые, повторять небылицы (например, заявлять, что был агентом немецкого и английского шпионажа), поведал Вышинскому, что после расстрела Пятакова, якобы, пришло письмо от Троцкого, требующего, чтобы маршал Тухачевский возможно скорее произвел военный переворот. Я знал, что Розенгольц находился в оппозиции, был троцкистом, единомышленником Пятакова и вместе с ним в 1923 г. подписывал «декларацию 46». Неужели, думал я, выходя от Пятакова, он и Розенгольц — «конспирируют», по-прежнему находятся в оппозиции и ведут подпольную борьбу против Цека и Политбюро? А потрясшая меня речь Пятакова, которую я слышал девять месяцев пред этим, — притворство, ложь, выдумка? Скоро после этого, уже будучи на службе в торгпредстве в Париже, — мне пришлось узнать, что такого вывода нельзя делать. О том, что происходило в Москве, мы в Париже знали из разных источников. Знали, что в Политбюро идет ожесточенная борьба Рыкова, Бухарина, Томского с группой, возглавленной Сталиным. Знали, что Сталин уничтожил оппозицию, однако крал все ее идеи и, восприняв в самой варварской форме теорию о «социалистическом» накоплении Преображенского, считал, что ускоренную индустриализацию страны можно построить на «дани» крестьянства, уничтожении кулаков и всех остатков буржуазии. Именно этого всегда и хотел Пятаков. Таким образом, прежние его разногласия со Сталиным, когда тот шел на поводу у Рыкова и Бухарина, — полностью исчезли. Для него Сталин становился той фигурой в Политбюро, которую следует поддерживать и за нею идти. Во французском троцкистском журнале «Contre courant» (появившемся в мае 1929 г., № 29—30) была почти немедленно указана эта ориентация Пятакова на Сталина. В беседе с Каменевым, о которой передает этот журнал, Пятаков прямо заявил, что «против Сталина безнадежно выступать. *Это (в Политбюро) единственный человек, которому еще можно повиноваться»*. Все, что потом доходило до меня из Москвы, подтверждало, что в глазах Пятакова Сталин, возглавляя руководство партии, проявляет дорогие для Пятакова стремления вести коммунистическую партию по пути превращения «невозможного в возможное».

Двадцать первого декабря 1929 г., как известно, произошло чествование пятидесятилетия Сталина. Орджоникидзе, Каганович, Куйбышев, Ворошилов, Калинин, Микоян, Енукидзе, Бубнов, Крумин, Савельев, — усадили его на трон. Он был, как Ленин, объявлен «вождем» партии, перед ним склонились ЦК, ЦКК, иностранные коммунистические партии, Профинтерн. Как многие другие, Пятаков мог избежать выражения Сталину своих верноподданнических чувств. Чествовать Сталина его никто не приглашал. Тем не менее, через два дня после коронации Сталина, т. е. 23 декабря, в «Правде» появляется статья Пятакова «За руководство», являющаяся замечательным добавлением и иллюстрацией к речи, которую я слышал от него в Париже. Это еще раз покаяние и, вместе с тем, торжественная клятва быть всем существом и во всем внутренно согласным с руководством партией, отныне ведомой Сталиным. Статья Пятакова слишком велика, чтобы ее здесь полностью передавать. Возьму лишь некоторые места.

«Демонстрация ко дню 50-летия тов. Сталина имеет глубочайший политический смысл. Партия проверила за эти годы не только свою линию, но и своих вождей. Вопрос о руководстве разрешен — таков главный, основной решающий итог. Теперь ясно, что нельзя быть за партию и против данного Центрального Комитета, нельзя быть за Центральный Комитет и быть против Сталина. Я был против руководства и против т. Сталина. Это тягчайшая в моей жизни политическая ошибка. Нет коммунистической партии без твердого руководства, как нет и не может быть диктатуры пролетариата без коммунистической партии. Линия партии и ее ЦК показала свою правильность. Индустриализация, коллективизация сельского хозяйства, борьба против классовых врагов — все это до того очевидно, что нет нужды доказывать».

Пятаков пишет, что «только безнадежные пошляки и ослепленные ненавистью к партии могут толковать так, что

речь идет о том, кого слушаться». Это пыль в глаза и ненужная болтовня. Речь и тогда, а позднее еще более явно, шла именно о том, *кого нужно слушаться*, и так как своею статьей Пятаков выразил полную готовность «слушаться» Сталина — его политическое положение изменилось. Пятакова возвратили в партию, возвратили в реорганизованный ВСНХ, где он стал заместителем народного комиссара тяжелой промышленности (Орджоникидзе), а это как раз область, в которой он больше всего хотел работать. Пятаков стал принимать участие в редакции «Большой Советской Энциклопедии», вместе с Максимом Горьким редактировать журнал «Наши достижения». Под его редакторством на русском, французском, немецком, английском языках стали выходить альбомы «СССР на стройке». При небольшом тексте в них печаталась масса фотографий, импозантно показывающих тем, кто в это не хотел верить, грандиозность «стройки» в СССР новых заводов, электростанций, шахт. Человека, более подходящего для редактирования такого издания, не могло быть, как не было и другого, более чем Пятаков, влюбленного в «процесс индустриализации». Он издавна был певцом индустриализации, отдавался ей до потери сил, до полного истощения, желая «невозможное сделать возможным». В 1934 г. Пятаков возвращен на верх партии. На съезде его избирают, правильнее сказать, Сталин его назначает членом Центрального Комитета, так же как он назначает Межлаука, братьев Косиор, Ягоду, Рудзутака и прочих, потом уничтоженных. В то же время Бухарин, Томский, Рыков Сталиным снижаются в чине, делаются лишь кандидатами в члены ЦК, т. е. равными какому-нибудь Булганину.

Что же случилось потом? Что в 1936 г. привело к аресту Пятакова, а в январе 1937 г. к суду над ним и расстрелу, так же как Муралова, Дробниса, Богуславского и других? Самый простой ответ был таков: с 1936 г. наступила неумолимая эпоха показательных московских процессов и казней. Пятаков до 1928 г., бывший «против Сталина» как «руководителя», и в 1929 г. в вышецитированной статье об этом открыто заявивший, неизбежно был предназначен к уничтожению. Сталин уничтожал всех, кто *когда-либо* был против него. Что же касается вопроса, чем вызывались эти знаменитые, кошмарные, загадочные инсценировки суда, то их, как и все, что тогда происходило в Кремле, нельзя *до конца* понять, если не знать, что Сталин в 1934 г. был психически болен, охвачен паранойей со всеми ей присущими, и в нем с максимальной степенью выраженными, признаками: жуткой, злобной, слепой манией преследования и беспредельной манией величия. На это обстоятельство я указал еще в 1953 г. в статьях во французской печати и «Новом Русском Слове», опираясь на сведения, полученные из самого достоверного, из Москвы идущего, источника. Все, что я сообщил тогда, в 1956 г. полностью подтверждено секретным докладом Хрущева, но в 1953—54 гг. это вызвало со стороны некоторых, завороженных «величием» Сталина, поток возражений, которые, после доклада Хрущева, иначе как никчемными назвать не могу.

На судебных процессах, ведомых Вышинским, все обвиняемые, в том числе и представители «ленинской старой гвардии», покорно признавались в покушениях на жизнь Сталина и в прочих не сделанных ими преступлениях. Эти признания вырывались различного характера физическими и моральными пытками, но после того, что я слышал в Париже от Пятакова, я готов допустить, что его поведение на суде может быть объяснено не только пытками. Пятаков мог верить, считать или заставить себя считать, что требуемые от него показания и признания нужны партии, ее руководству, необходимы для упрочения и успехов строительства коммунизма, превращения невозможного в возможное. Ведь это его слова, что — если партия того потребует, он, Пятаков, белое будет считать черным и для этого сделает особого рода «насилие» над самим собою, позволяющее ему в 24 часа, согласно требованию партии, изменить свои взгляды на вещи. Если Пятаков действительно был проникнут такого рода духом, тогда нет ничего удивительного, что на суде он «добровольно и сознательно» признавался решительно во всем, что требовал от него Вышинский, в свою очередь выполнявший требования «руководства» партии в лице «великого вождя — Сталина». Если для него партия в это время отождествлялась с ее руководством, т. е. со Сталиным, тогда становится понятной омерзительная, гнуснейшая статья Пятакова, помещенная 21 августа 1936 г., накануне его ареста. Приветствуя расстрел Каменева и Зиновьева, Пятаков писал (приведу лишь несколько выдержек):

«Трудящиеся всего мира знают и любят своего Сталина и гордятся им. Под блестящим руководством тов. Сталина страна наша на всех парах пошла на невиданный подъем. Взгляды Троцкого, Каменева, Зиновьева не имели ничего общего с линией Ленина, продолжателем и творцом которой в новых условиях был и отстается тов. Сталин. Победила единственно правильная, единственно победоносная линия партии — линия нашего великого Сталина. У бандитов, вдохновляемых Троцким из-за границы, нет никаких идей, одно голое честолюбие и звериная ненависть к победоносной партии Ленина и Сталина. Мне нестерпимо стыдно, что и я в 1925—27 гг. шел вместе с этими бандитами. Вину свою за тогдашние тягчайшие политические ошибки до сих пор остро сознаю. Я был виноват, что не понял партийное руководство, не понял правильный путь развития социализма. Когда понял — пошел по новому, правильному пути, по пути Сталина, по которому с тех пор твердо и радостно иду вместе со всей партией. Беспредельное тщеславие и самовлюбленность Троцкого, Каменева и Зиновьева привели их на гнусный путь двурушничества, лжи, неслыханного обмана партии. Их надо уничтожить как падаль, заражающую чистый, бодрый воздух советской страны, падаль опасную, могущую причинить смерть нашим вождям. Тов. Сталин, как всегда прозорливый, учил нас не терять революционной бдительности, не забывать, что классовый враг продолжает всякими доступными ему средствами пытаться нанести вред диктатуре пролетариата. Враг наш увертлив. Он притворяется. Лжет. Заметает свои следы. Втирается в доверие. Хорошо, что органы НКВД разоблачили эту банду. Честь и слава работникам НКВД. Каждый из нас должен еще более повысить свою бдительность, помочь партии, помочь НКВД, этому разящему мечу в руках диктатуры пролетариата, разоблачить агентуру классового врага и вовремя уничтожить ее».

Это клише всех обвиняемых на московских процессах, делавших попытку как-нибудь умолить кровавого Сталина. Но, повторяю, я допускаю и даже склоняюсь к тому, что Пятаков писал свои глупости, делал свои признания, шел к смерти с убеждением, что все это нужно для победы коммунизма. Это делает историю Пятакова до кошмара страшной, тем более, если знать, что «великий вождь», которому он, почти на коленях, присягал, сознательно превращая себя в «органный штифтик», находился в это время в самом разгаре сумасшествия, утихшего лишь в 1939 г., возвратившегося после 1946 г. и вспыхнувшего с такою силою, что Сталин, как поведал Хрущев, стал считать Ворошилова агентом английской разведки и собирался уничтожить всех членов Политбюро. Таких фанатиков, как Пятаков, ныне в коммунистической партии СССР, думаю, больше уже нет.

Н. ВАЛЕНТИНОВ — псевдоним Николая Владиславовича Вольского (1879—1964), русского философа, публициста. После II съезда РСДРП Н. Валентинов примыкал к большевикам, в 1904 г. перешел на меньшевистские позиции. В. И. Ленин причислял его к «видным меньшевикам». Редактировал легальную меньшевистскую «Московскую газету». По аграрному вопросу защищал муниципализацию земли. Выступал с критикой декадентских течений в литературе. Философские концепции Н. Валентинова, изложенные в книгах «Философские построения марксизма», «Мах и махизм», подвергнуты критике в работе В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».
В 1917 г. выходит из меньшевистской организации. После Октябрьской революции Н. Валентинов работал заместителем редактора «Торгово-промышленной газеты» ВСНХ, в торговом представительстве СССР в Париже. С 1930 г. в эмиграции, активный сотрудник «Нового журнала», других эмигрантских изданий.

ИЗ АРХИВА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВ

СТРОИТЕЛИ ЗЕМНОГО РАЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

В «Архиве русской революции» (т. 20) воспоминания эти были напечатаны еще в двадцатых годах. С такими впечатлениями от первых послеоктябрьских месяцев и лет уходили люди в эмиграцию. Нам нет нужды ставить под сомнение рассказ Евгеньева, поскольку подобных свидетельств появляется и в нашей печати в последние годы немало. Национальное достояние, ставшее после Октября народным, возбудило у части новой администрации сильные аппетиты... Урон, который нанесли они в расхищении драгоценностей и уничтожении памятников культуры, истории, в самоличном присвоении произведений искусства, сегодня просто трудно оценить. Но знать это полезно-необходимо всем... Ведь и сегодня всякого рода присвоения, изымания из государственных фондов не являются исключением.

ОТ РЕДАКЦИИ

...Я прошел в кабинет одного из директоров Государственного банка. Возле письменного стола толпилось несколько человек просителей, и каждый из них, перебивая других, старался в чем-то убедить директора, тыча ему в лицо какие-то бумаги. Охрипшим от напряжения голосом директор пытылся разъяснить орущим людям, что он ровно ничего не может сделать для них, но люди не слушали и продолжали кричать и волноваться. Вошедший в это время курьер сообщил, что директора требует товарищ Попов.

— Идемте вместе, я вас представлю. Это наш новый комиссар, — предложил мне директор. Но не успели мы дойти до кабинета управляющего, как двери распахнулись и из них, в сопровождении секретаря банка и какого-то человека в кожаной куртке с наганом на боку, вылетел довольно комичного вида человечек. Он был невысокого роста, с длинной черной бородой и такой же сбитой шевелюрой, в черном сюртуке, с коротенькими ручками и ножками, но с изумительно храбрым и даже боевым видом. Его появление вызвало целую бурю. Напиравшая на двери толпа сразу пришла в необычайное волнение, зашумела, закричала и придвинулась совсем вплотную к вошедшему человеку. И тогда произошло нечто в высшей степени комичное: человечек взмахнул руками и закричал таким резким, пронзительным голосом, что толпа невольно шарахнулась назад и как-то сразу стихла.

— Молчать!.. Стрелять прикажу!.. Всех вон выгоню!.. — вопил человечек, размахивая руками. Толпа было опять зашумела, но тут на сцену выступила кожаная куртка с наганом в руке, и вид у нее был такой решительный, что люди, как дикое стадо баранов, давя и толкая друг друга, стали испуганно пятиться назад к широкой лестнице. Человек в черном сюртуке еще что-то крикнул и снова скрылся в кабинет, куда вскоре ушла и кожаная куртка, пригрозив предварительно наганом.

— Это и есть сам Попов, — шепнул мне директор. — Мы пройдем с вами через зал заседаний, чтобы не вызывать лишнего волнения в публике.

Когда мы вошли в кабинет, Попов, нервно теребя свою длинную черную бороду, быстро ходил из угла в угол. В кабинете, кроме него, находились секретарь, молчаливо сидевший за длинным, покрытым зеленым сукном, столом, на котором виднелись громадные кипы каких-то бумаг, директор фондового отдела, главный бухгалтер и еще какой-то неизвестный мне чиновник. Человек в кожаной куртке лежал в стороне на диване и со скучающим видом глядел на потолок. На нас Попов не обратил никакого внимания и продолжал бегать по кабинету, куря одну папироску за другой. И вдруг он весело и громко расхохотался.

— А ведь из меня хороший полководец мог бы выйти, — сказал он, быстро переводя глаза с одного на другого. — Видали, какого страху нагнал? — И он опять засмеялся, и все лицо его разом преобразилось: из колючего стало удивительно добрым и наивным. Мой провожатый воспользовался благоприятной минутой и поторопился представить меня. Попов нахмурился.

— Саботируете? — насмешливо спросил он. — Воображаете, что мы к вам на поклон придем? Расстреливать мы вас будем, а не кланяться, — визгливо крикнул он, подходя к столу, и, словно желая предупредить всякие возражения с моей стороны, заговорил с секретарем.

— Передайте гражданину Евгеньеву все правительственные распоряжения по комиссариату финансов. Я уверен, что гражданин Евгеньев не нашел нужным познакомиться с нашими декретами. Это его частное дело, но, покуда он состоит на службе, он обязан исполнять свои обязанности. Саботажа я не потерплю.

Опять передо мной была комичная петушиная фигура человека, безнадежно пытавшегося стать грозным и страшным. Но поведение Попова меня все же взорвало.

— Вы очень ошибаетесь, гражданин Попов, — заявил я. — Если бы я считал саботаж достаточно сильным средством для борьбы, то вы не увидели бы меня здесь ни сегодня, ни завтра. И декреты мне тоже довольно хорошо известны, так как они представляют интересный исторический материал.

— Исторический материал, — закипел Попов. — А для нас они — основа всей будущей жизни. Впрочем, мы еще потолкуем на эту тему, а теперь прошу садиться.

Он указал мне место рядом с собой, и началась лихорадочная сумасшедшая работа, которая на долгое время совершенно поработ

гиза меня. Первоначально она сводилась к даче заключений по ходатайству различных предприятий и лиц о выдаче денежных сумм с текущих счетов для расчета с рабочими и служащими и других надобностей предприятия. Все текущие счета были сосредоточены в конторе Государственного банка, переименованного в Народный банк РСФСР. При выдаче денег приходилось, главным образом, следить за тем, чтобы при ходатайствах были приложены удостоверенные фаб- и завкомами свидетельства о числе рабочих, ведомости на выдачу жалованья, счета и пр. Большинство фабкомов явно лгало в исчислении требуемых сумм, значительно преувеличивая свои потребности, что объяснялось желанием иметь в кассе некоторый излишек ввиду тех громадных трудностей, с которыми было связано получение денег из банка. Люди проводили в банке целые дни, становясь в очереди еще с вечера, и, тем не менее, не все успевали получить деньги. Нередко были случаи, когда на эту процедуру уходило 3–5 дней, и люди, в конце концов, превращались в озлобленных зверей, совершенно терявших рассудок и готовых разгромить весь банк. Не раз наша работа прерывалась трескотней ружейной пальбы и дикими криками исступленной толпы. То стреляла вызванная охрана банка, стреляла в воздух в целях наведения страха, но всегда могло случиться и так, что озверевшая в свою очередь охрана не остановилась бы перед расстрелом живых людей.

Бывали дни, когда положение обострялось еще более вследствие отсутствия денежных знаков в кассе банка. Работавшая беспрерывно и днем и ночью экспедиция не успевала изготовлять бумажки в достаточном количестве. К этому присоединялось еще то, что сами государственные учреждения нередко устраивали форменные налеты на банк, забирая всю кассовую наличность и совершенно не считаясь с какими-либо доводами. Особую энергию проявил в этом отношении московский совдеп, обычно отправлявший вооруженный отряд за деньгами глубокой ночью. Подымался на ноги старший директор, доставлялся главный кассир и весь необходимый при вскрытии кассы персонал, и вооруженные матросы, угрожая немедленным расстрелом, забирали мешки с деньгами и, оставив расписку на клочке бумаги, скрывались до следующего налета.

В такие дни чугунные ворота держались на запоре, и публика оставалась на улице, вытягиваясь бесконечным хвостом вдоль всего Неглинного проезда. В связи с неимоверными трудностями получения денег не замедлила образоваться целая компания особых специалистов по получению денег вне очереди. Они добывали какими-то неведомыми путями мандаты различных советских учреждений, предоставлявшие им право свободного входа в банк. С этими мандатами они проникали к директорам и к самому Попову, держали себя при этом крайне вызывающе и наводили тем самым панику на служебный персонал. Благодаря этому им, действительно, удавалось ускорить получение денег, и вскоре у каждого из них образовалась весьма солидная практика, дававшая им колоссальные доходы. А вместе с тем по Москве поползли слухи, что в Государственном банке за взятку директору или самому Попову можно все сделать. В довершение всего разыгрался крупный скандал с так называемыми облигациями государственного казначейства. Эти последние не являлись деньгами в полном смысле слова и по разъяснению юрисконсультской части не подлежали установленным ограничениям в отношении выдачи денежных знаков. Поэтому касса банка беспрепятственно выдавала и разменивала означенные обязательства с разрешения директора фондового отдела. Но вскоре был издан декрет, причисливший казначейские обязательства к денежным знакам, еще до опубликования его в «Известиях» он был прислан Попову для немедленного исполнения и спокойно остался лежать среди неразобранных еще бумаг. Между тем, над банком собиралась гроза. Под влиянием распространившихся слухов о злоупотреблениях в банке, Чека решила произвести негласное расследование, для чего командировала в банк одну из своих сотрудниц, снабдив ее значительным количеством обязательств и подложным мандатом какого-то предприятия. Особа оказалась ловкой и сообразительной. Повертевшись некоторое время в банке, она познакомилась с одним из орудовавших там посредников и предложила ему помочь ей в размене обязательств. Посредник заломил чудовищное вознаграждение, ссылаясь на то, что ему придется поделиться с директором и Поповым. Чекистка согласилась, но когда размен состоялся и деньги вручались по принадлежности, посредник был арестован, и Чека торжествовала победу. Возникло громкое дело по обвинению Попова, директора фондового отделения и целого ряда мелких служащих во взяточничестве и намеренном игнорировании законов советского правительства. Мы долго искали злополучный декрет и, наконец, нашли среди бумаг в запечатанном конверте Совнаркома. По моему совету, конверт был вскрыт в присутствии свидетелей, и в нем действительно был обнаружен декрет о казначейских обязательствах. Попов был глубоко возмущен предъявленным ему обвинением. Я к этому времени уже достаточно знал этого оригинала, чтобы ни одной минуты не сомневаться в его полной непричастности к каким-либо денежным махинациям. Это был действительно оригинал, каких мне редко доводилось встречать в жизни.

Я никогда не видел такого полного, совершенно буддийского безразличия к своей особе. Один и тот же до крайности поношенный сюртук, обтрепанные брюки, неописуемая по своему безобразию шляпа и старое демисезонное пальто для всех времен года. В таком виде этот комик появился однажды верхом на низкорослой плюгавенькой лошаденке на Красной площади в день празднования первой годовщины Октября и вызвал гомерический хохот всех присутствующих на торжестве. Уже гораздо позже мне удалось уговорить его подписать необходимую бумажку на получение для него пары ботинок и френча. Ботинки он, действительно, стал носить, а френч подарил курьеру, сказав, что он «не идет» ему.

Скандал с обязательствами сильно поразил его. Несколько дней он был угрюм и придирчив, без устали расхаживая по банку и наблюдая за работой. Но вскоре ему это занятие надоело, и он постепенно пришел в себя.

— Скажите мне по совести, совершенно искренне, — обратился он однажды ко мне, — допускаете ли вы возможность взяточничества со стороны директора X?

Этого директора я знал много лет и решительно отверг подобного рода предположение. Попов, видимо, был доволен моим ответом. Дело в том, что у него была непоколебимая вера в свою исключительную способность «видеть человека насквозь», и директор, о котором шла речь и который в это время сидел в тюрьме, принадлежал, по мнению Попова, к определенно честным людям. Оба они были впоследствии оправданы революционным трибуналом, так как никаких доказательств виновности их Чека собрать не могла.

* * *

Вскоре после разыгравшегося скандала был установлен новый порядок выдачи денег, не требовавший личного присутствия комиссара в банке, и Попов предложил мне занять место его секретаря, на что я очень неохотно согласился, побуждаемый к этому, главным образом, уговорами старшего директора, уверившего меня, что при моем посредничестве ему будет легче вести дела банка и защищать интересы служащих.

Попов жил на Никитском бульваре в квартире бывшего управляющего банка, занимая для себя две небольшие комнаты, а парадные залы предоставив в распоряжение секретариата. Попов был никуда не годным организатором, и потому секретариат представлял из себя нечто в высшей степени сумбурное, где никто из многочисленных служащих не знал, что ему надо делать и в чем заключались его обязанности. Объяснялось это тем, что и сам Попов имел довольно смутное представление о финансовой программе нового правительства и действовал наугад. «Потом разберемся», — обычно говорил он, предоставив мне полную свободу действий. Благодаря этой неясности и боязни попасть впросак, служащие банка обращались к Попову за разрешением всех, даже пустяковых, вопросов, и потому в секретариате с утра до вечера происходила невообразимая суматоха. Я садился в кабинете Попова, и начинался утомительный прием, затягивавшийся до поздней ночи. Все ответы давались обязательно в письменной форме, и машинистки без устали писали выходящие из кабинета циркуляры. Циркуляров этих ежедневно выпускалось бесчисленное множество, и я с ужасом видел, что секретариат скоро буквально потонет в этом бумажном море. Каждый день приходилось увеличивать штаты служащих, чтобы справиться с непосильной работой.

Иногда Попову надоедало это утомительное верчение, и он скрывался у себя в комнате, увлекая и меня за собой. Начиналось бесконечное чаепитие с разговорами на отвлеченные темы. Центральной темой этих разговоров, в которых я не принимал почти никакого участия, была мировая революция, которая ожидалась со дня на день.

— Ну, а если она не произойдет? — спрашивал я.

Попов усмехался и начинал доказывать мне на основании самых неопровержимых данных неизбежность такой революции и не когда-нибудь, а, самое позднее, в 1919 году. А в приемной в это самое время изнывали просители, ругая, на чем свет стоит, безалаберного комиссара. Порой я заводил разговор о финансовой программе Советского правительства, указывая на быстрое обесценение денег и на неизбежный крах всей денежной системы. Попов смеялся над моими опасениями, заявляя, что социалистическому государству деньги не нужны, и что я мыслю с точки зрения буржуазной финансовой науки. Но в чем заключалась новая безденежная система, Попов сказать не мог, находясь и сам в полном неведении на этот счет, и прекращал разговор ссылкой на наличность других, более важных вопросов, как, например, национализация банков, аннулирование процентных бумаг и внешних займов, что в то время считалось изумительно смелым решением Советского правительства.

Однажды Попов сообщил мне о приезде из Петрограда Крестинского, назначенного, по какому-то сплошному недоразумению, комиссаром финансов.

— Он вам на все вопросы ответит, — добавил Попов с иронической усмешкой.

Вскоре нас, действительно, посетил Крестинский, этот единственный виновник еще невиданного в истории финансов развала, которому страна обязана многими последующими бедствиями. Я воспользовался приездом важного бюрократа и завел разговор на интересовавшую меня тему. Быстро шагая по комнате и размахивая руками, этот новоявленный финансист начал развивать передо мной теорию социалистического производства и распределения с полным уничтожением всякого рода денежных знаков, как несовместимых с новым социалистическим строем, вследствие присущего им классового характера. Ввиду этого деньги в их современном виде должны быть уничтожены и заменены новым измерителем ценности земных благ. Таким измерителем является труд, слагающийся из определенного количества трудо-часов и создающий в конечном результате ту или иную ценность. Этими трудо-часами и должен производиться расчет с государством за полученные от него блага. Поэтому нет никаких оснований тревожиться по поводу быстрого обесценения денег, так как к тому времени, как деньги совершенно перестанут приниматься населением в обмен на реальные блага, Советское правительство сумеет окончательно организовать производство и распределение. Чтобы облегчить себе эту задачу, правительство, по предложению его, Крестинского, намерено в ближайшем будущем объявить беспощадную войну частной торговле и целиком принять на себя заботу о полном содержании трудящихся.

Я внимательно слушал бегающего из угла в угол человека, с увлечением больного маньяка излагавшего мне свою дикую теорию, применение которой в жизни стоило стольких человеческих жертв, крови и страданий и в конце концов привело к тому, что верный паладин ее вынужден был позорно бежать с поля битвы, предоставляя расхлебывать заваренную им кашу другим.

Беседа с Крестинским произвела на меня удручающее впечатление. Я понял, что нахожусь среди явно ненормальных людей, и решил оставить свое секретарство, как слишком утомительное и совершенно бесполезное занятие. Ни одной минуты я не сомневался в том, что этой разношерстной кучке людей, обманом захвативших власть, не удастся осуществить задуманную ее вождем и пророком грандиозную авантюру по превращению темной и разоренной страны в земной рай. Но в это время произошло событие, которое помешало мне исполнить мое намерение.

Вся Москва со дня на день ждала прихода немцев. Ходили упорные слухи о захвате ими ст. Бологое и быстром движении на Москву. Правительство волновалось и приказало отправить золотой запас в Казань, находя, что там он будет более обеспечен от всяких случайностей. Немцы, однако, на Москву не пошли, и тревога рассеялась, но золотой запас продолжал оставаться в Казани. Но вот с востока грянула новая беда — восстание адмирала Колчака и успешное продвижение вперед чехословацких войск. Было решено вернуть золото обратно, но, странное дело, с возвратом почему-то не торопились. Мне до сего времени остается непонятным, что заставило Попова медлить с выполнением возложенного на него поручения. То он искал подходящих складов, и не мог найти, хотя свободных помещений было более чем достаточно. То он решал ехать лично за золотом и никак не мог выбраться, а в это время чехословаки были уже в Казани. Я как сейчас помню это тревожное время. Попов изменился до неузнаваемости. Он нервничал, кричал на служащих, ежеминутно грозил расстрелом, отправляя в Казань одну депешу за другой, и в один прекрасный день лично отправился туда. Ни Казани, ни золота ему видеть не пришлось. И то и другое досталось чехословакам. Боязнь ли возможной ответственности за промедление, или какие другие соображения были тому причиной, но Попова я уже больше не видал. Он остался на фронте сражаться с Колчаком, обнаружив, как мне передавали очевидцы, исключительную храбрость и даже некоторые таланты заправского полководца. Уже зимой пришло известие, что Попов был захвачен белыми во время производства какой-то разведки, и, не желая сдаваться живым, пустил себе пулю в лоб.

Некоторое время комиссариат оставался без руководителя, хотя никакого ущерба от этого советским финансам не произошло. Лишь осенью состоялось назначение на пост комиссара Нарбанка небезызвестного Пятакова. Это был на редкость решительный человек, начавший с того, что перевел секретариат на Ильинку, в Рыбный пер. и принялся круто менять установленные Поповым порядки. В самое короткое время этот совершенно бестолковый самодур нагнал такого страху на всех служащих, внес такую путаницу своими распоряжениями, что люди окончательно одурели. Он был невероятно груб и вульгарен, совершенно не стесняясь в выражениях, и производил впечатление довольно ограниченного и сумбурного человека. Пятаков, видимо, не разделял уверенности Крестинского в совпадении времени полного краха денежного обращения со временем окончательного социалистического благополучия. В заботах о поддержании ценности денег этот гениальный финансист придумал выпустить в народное обращение металлические деньги из железа. Материала для этого было достаточно, в виде вывесок на магазинах, и вот по всей Москве началось лихорадочное срывание последних и отправка их в заранее указанные места. План этот, однако, остался неосуществленным, так как кто-то, очевидно, разъяснил решительному комиссару, что производство железных монет обойдется дороже самих денег.

Хозяйничанье Пятакова в качестве комиссара Нарбанка продолжалось около 2 месяцев, и за это короткое время он ухитрился внести такой хаос, что в конце концов и сам перестал понимать что-либо. К счастью, он получил назначение на юг для наведения там коммунистических порядков и передал бразды правления знаменитому Фюрстенберг-Ганецкому. Со вступлением на пост комиссара этого последнего характер работы резко изменился, и секретариат превратился в какое-то темное, подозрительное учреждение. Деятельность Ганецкого заслуживает особого внимания, и потому мы изложим ее более подробно.

* * *

Ганецкий явился с определенным заданием — достать для нужд Советского правительства необходимые денежные средства, но не в форме никому не нужных дензнаков, а в форме реальной валюты, приемлемой заграницей и необходимой для разжигания мировой революции, в скором пришествии которой никто в то время не сомневался. Для подобного рода заданий Ганецкий считался незаменимым человеком и, надо отдать ему справедливость, прекрасно справился с возложенной на него задачей. Убедившись, что бесконечные приемы заведующих, являющихся за получением инструкций, только мешают ему, отнимая слишком много времени, Ганецкий решил сократить таковые, для чего предоставил заведующим самим вести порученные им дела и запретил беспокоить его. Его внимание было целиком поглощено теми ценностями, какие находились в банковских сейфах и считались теперь собственностью рабочих и крестьян. Здесь, в содержимом этих сейфов, предполагал он найти разрешение порученной ему задачи и, со свойственной ему энергией, принялся за их опустошение. Финансовое положение страны его нисколько не интересовало, и все его заботы в этом отношении сводились к регулярному снабжению всех мест Советской республики денежными знаками, каковая обязанность была возложена на отдел кредитных билетов или «кребиль». Здесь происходила лихорадочная работа. Ежедневно подавались к подъезду грузовые автомобили, ежедневно грузились мешки с деньгами и в сопровождении специальной охраны отправлялись на тот или другой вокзал. Отправляемым мешкам велся особый счет, и выдача их производилась в присутствии целого штата служащих, и тем не менее бывали случаи, когда на месте получения денег при приемке их неожиданно обнаруживался лишний мешок, в то время как недостача его в самом «кребиле» могла остаться совершенно незамеченной. Но если лишний мешок обнаруживался в пути, то он исчезал бесследно, хотя бы «кребиль» и сам заметил свою ошибку. Установить, какой именно партии был передан лишний мешок, не представлялось возможным.

Интересную картину представляли кладовые этого учреждения. С вечера они начинали заполняться денежными знаками, доставляемыми с фабрики Гознака. Особая артель рабочих перетаскивала мешки с подвод в кладовые, которые заполнялись до самого потолка, с низкими коридорами между штабелями, а на другой день от всего запаса почти ничего не оставалось. Бывали даже дни, когда этого колоссального груза не хватало для удовлетворения всех заявленных требований, и тогда Ганецкий бросал свои сейфы, и начиналась невероятная кутерьма. Но такие неприятности происходили сравнительно редко, и Ганецкий мог спокойно заниматься своим главным делом. Его работа по опустошению сейфов осложнялась до некоторой степени тем обстоятельством, что, на основании декрета Советского правительства, некоторые собственники сейфов имели право на получение своих ценностей, если только стоимость их не превышала установленной декретом суммы. Эта правительственная милость внесла большое оживление в наш секретариат. Со всех сторон посыпались прошения на имя Ганецкого, так как судьба вещей зависела всецело от него. Прошения шли через меня, так как на моей обязанности лежал доклад их Ганецкому, и я с большим интересом прочитывал их. Это был один сплошной вопль ограбленных людей, от которого порой сжималось сердце. Униженно, восхваляя доброту Советского правительства, взывая к мягкосердечию тов. Ганецкого, несчастные люди молили о выдаче им хотя незначительной части отобранных у них вещей, хоть одного колечка, которое дорого им как память. Другие ставили вопрос на чисто деловую почву, прекрасно понимая, что мольбами и нытьем разбойников не тронешь. Они просто и откровенно предлагали оставить им половину или даже треть содержимого их сейфа, а остальное благородно и великодушно жертвовали на нужды рабочего класса. Но Ганецкий был неуязвим и внимательно осматривал каждый ящик сейфа, прежде чем подписать разрешение на выдачу.

Самый разбор сейфовых ящиков поручен был особой комиссии, работавшей в том же здании, где находился и секретариат. Сюда по требованию комиссии доставлялись все сейфы в запечатанном виде, здесь вскрывались, сверялись с описью, и затем производилась оценка особыми экспертами, во главе которых находились некие Пажамчи и Фейгельсон, впоследствии уличенные в краже бриллиантов и расстрелянные по приговору Чека. Эти эксперты помещались рядом с кабинетом Ганецкого в небольшой светлой зале. Пол был застлан красным сукном, чтобы случайно оброненный камень мог быть легко найден. Посредине комнаты, ближе к окну, находился громадный стол, за которым и происходила самая работа, то есть выковыривание камней, сортировка их и оценка. При работе присутствовала особая контролерша, расстрелянная вместе с оценщиками. Кража бриллиантов, как я узнал потом, производилась весьма просто. Выковыривая какой-либо камень, оценщик ронял его на пол и во время поисков ловко подменял его другим, значительно меньшим по весу, заранее приготовленным в жилетном кармане. Кража была обнаружена случайно, хотя слухи о том, что в оценочной комнате происходит что-то неладное, давно ходили среди служащих секретариата. Знал об этом и Ганецкий, и даже предложил мне однажды принять на себя контроль за работой, но я категорически отказался. Вероятно, слухи эти дошли и до Чека. В один прекрасный день на квартире оценщиков, в то время, как они находились на службе, был произведен внезапный обыск, обнаруживший громадное количество похищенных бриллиантов. Началась суровая расправа со всеми причастными к оценочному делу лицами. Это открытие причинило немало неприятностей и самому Ганецкому, которого упорно подозревали в соучастии в похищении бриллиантов. Но как бы преступен и низок ни был этот человек во всех других отношениях, справедливость требует сказать, что сам Ганецкий в этом деле не участвовал. Находясь в постоянном служебном общении с ним, я ни разу не заметил, чтобы Ганецкий проявил какой-либо интерес к проходящим через его руки ценностям. И, во всяком случае, это был слишком умный, осторожный и подозрительный человек, чтобы найти для себя иной путь обогащения, тем более, что таких путей, как мы увидим ниже, было достаточно в его распоряжении. Только один случай смутил меня. Однажды старший оценщик Пажамчи принес в кабинет Ганецкого розовый бриллиант довольно крупных размеров. Ганецкий пришел в восторг и долго любовался прекрасным камнем, потом он расспросил подробно о весе, о стоимости камня и вернул его обратно, а спустя несколько дней оценщик сообщил мне, что взамен розового камня Ганецкий принес другой, того же веса, но уже далеко не той стоимости.

Разборкой сейфов занимались в то время Познер и Гоц. Познер, старый банковский служащий, не скрывал своего отрицательного отношения к большевистскому перевороту и пользовался в секретариате вполне заслуженной репутацией честного и доброго человека, всегда готового стать на защиту преследуемых. Ближайшим его помощником являлся Гоц, имя которого одно время было весьма популярно в Москве. Это был ловкий, беспринципный и очень добродушный молодой человек. Арестованный по обвинению в краже ценностей и приговоренный к расстрелу, он, благодаря решительному заступничеству Ганецкого, сумел вырваться из цепких лап Чека. Никаких, в сущности, данных к обвинению Гоца в краже обнаружить не удалось. Едва ли он и занимался этим, довольствуясь теми знаками благодарности, какие оказывали ему лица, получившие свои ценности благодаря его настойчивости и смелости. Сколько раз Гоц ухитрялся получить у Ганецкого разрешение на выдачу таких вещей, стоимость которых значительно превышала установленную законом норму, и в этом случае благодарные просители считали своим долгом поделиться с Гоцем.

Тяжелые, мучительные сцены разыгрывались порой в секретариате. Разоренные, запуганные люди с раннего утра наполняли громадную приемную, справляясь о судьбе поданных ими прошений. Но прошений было слишком много, а рассмотрение их происходило слишком медленно, и несчастные люди унижались, плакали, совали служащим взятки, что вызывало постоянные недоразумения, и молча уходили, чтобы снова явиться на другой день. А те, которые получали отказ, начинали умолять сначала Гоца, потом меня допустить их к комиссару. Но Ганецкий никого не принимал. Он как будто боялся этих человеческих слез и жалоб и сердился, когда я докладывал ему о каком-нибудь просителе.

Зато отношение к просьбам больших людей было совершенно иное. Если проситель представлял письмо Калинина, Каменева, Троцкого, Луначарского и им подобных величин, то стоимость вещей не играла никакой роли и вещи выдавались беспрепятственно. Наибольшее количество таких спасительных писем исходило от Луначарского. Этот сообразительный и толковый комиссар, вечно нуждавшийся в деньгах, широко использовал свое комиссарское звание для извлечения буржуазных ценностей. Он действовал, конечно, не сам, а через своего брата, московского присяжного поверенного, личность довольно темную и бездарную. Этот милый братец являлся своего рода посредником между буржуем и своим сановным братцем. Желающие получить свои вещи и знающие, что нормальным путем получить их не удастся, отправлялись к посреднику и поручали ему ведение их дела. Посредник отбирал у них прошение и определенный аванс и шел затем к брату, который охотно ставил на прошении одну и ту же пометку: «Дорогой тов. Ганецкий, усиленно поддерживаю настоящее ходатайство. Луначарский». Как делилась богатая добыча — мне неизвестно, но не подлежит сомнению, что добыча была богатая, ибо ограбленный человек готов был отдать половину своих драгоценностей, чтобы только не потерять всего. Магическая сила записок и пометок Луначарского действовала, однако, недолго. Ганецкому было предложено не считаться с ними, так как количество их приняло скандальные размеры. А брату было просто запрещено являться в секретариат с прошениями.

Такое же усердие проявила и известная московская артистка М. Ф. Андреева, как-то быстро и очень ловко переменившая фронт и превратившаяся в горячую поклонницу большевиков. Ее письма к Ганецкому производили на меня самое отвратительное впечатление своей грубой лестью, своими уверениями в преданности Советской власти, словами «милый», «дорогой» и т. п., щедро рассыпанными в ее посланиях. Сначала я не хотел верить, что М. Ф. имеет доход от своих ходатайств. Я встречался с ней у одних общих знакомых (впоследствии отказавшихся принимать ее), и она не производила на меня впечатления хищницы. Но позже мне пришлось убедиться, что эта благородная женщина ничуть не уступала другим. Просьбы Андреевой выполнялись

беспрекословно, так как эта ловкая женщина сумела завоевать расположение даже самого Дзержинского.

Но больше всех меня поразил М. Горький. Я, конечно, не допускаю и мысли, чтобы за его письмами к Ганецкому скрывалась та же уродливая гримаса жизни, тем более, что Горький хлопотал за людей науки и искусства. Но содержание его, правда, немногочисленных писем носило те же следы рабской угодливости и искательства, какие наблюдались и в письмах Андреевой. Для меня являлось совершенно непонятным, чтобы Горький мог писать такого рода письма Ганецкому, о темных и подозрительных деяниях которого он не мог не знать. Если Андреевой было позволительно для достижения своих целей льстить и унижаться перед всяким авантюристом, то положение и имя Горького избавляли его от этой тяжелой необходимости. Ганецкий очень гордился этими письмами и всегда забирал их с собой, как некую драгоценность. Уже тогда между этими, казалось бы, столь не похожими друг на друга людьми установилось нечто вроде дружбы. Очевидно, здесь было какое-то трудно объяснимое сродство душ.

Иногда секретариат посещали довольно видные персоны. Однажды к Ганецкому явилась жена придворного поэта, Демьяна Бедного, г-жа Придворова. Невысокого роста, с некрасивым и довольно неприятным лицом, резким голосом и такими же движениями. Одета она была шикарно, с большими страусовыми перьями на шляпе. Явилась она за получением «своих безделушек», как она выражалась, хотя безделушки эти состояли из довольно крупных ценностей и намного превышали установленную норму. Ганецкий распорядился принести в кабинет металлический ящик Придворова, а тем временем знатная посетительница распелась на тему о своей бедности, о благородстве своего мужа, который, как истинный коммунист, отказывается от гонорара за свои произведения. Принесли ящик. Ганецкий лично сорвал печать и предложил Придворовой взять ее вещи. Но тут-то и произошел конфуз. Волнуясь и торопясь, Придворова начала открывать объемистую и довольно полную сумку, как вдруг сумка вырвалась у нее из рук и упала на пол. К нашему изумлению, оттуда выпала объемистая пачка так называемых «думских» и около двадцати золотых монет, покатившихся по полу. Придворова быстро подняла сумку и захлопнула ее, и мы втроем принялись собирать золотые монеты. Когда посетительница в большом смущении ушла из кабинета, Ганецкий весело расхохотался.

— Недаром Владимир Ильич сказал: «Демьян Бедный — мужчина вредный». Надо будет рассказать ему об этом случае.

Невыданные просителям ценности поступали в собственность Советского правительства, и если среди них были бриллианты, то они передавались в оценочную комнату для производства оценки и описи. Когда оценщики наковыривали достаточное количество камней, наступал второй, самый важный момент — превращение их в иностранную валюту. На сцену появлялись какие-то никому не ведомые молодые люди подозрительного вида, с которыми Ганецкий вел продолжительные беседы наедине. Не имея ни малейшего представления о содержании этих таинственных разговоров, я, тем не менее, прекрасно знал, чем они кончатся. Приглашался оценщик с бриллиантами, которые в его присутствии зашивались в небольшой замшевый мешочек и вручались под особую расписку таинственному посетителю. За ним являлся другой, третий и т. д., пока не исчерпывался весь запас бриллиантов. Проходили недели, и те же самые лица появлялись снова, но на этот раз с пачками долларов, фунтов, швейцарских франков и другой ценной валюты, которые Ганецкий, после тщательной проверки, забирал с собой. Эти агенты проникали за границу нелегальным путем при содействии пограничных жителей и контрабандистов и так же возвращались обратно. Некоторые из них пользовались исключительным доверием Ганецкого и позже заняли видные места в советских учреждениях. Но были и такие, которые исчезали с порученными им бриллиантами, или возвращались с пустыми руками, ссылаясь на ограбление. Особенно сильное впечатление произвело на Ганецкого исчезновение некоего К. Это был изумительно проворный и смелый еврей, который в самое короткое время завоевал полное доверие Ганецкого. Он ухитрялся продавать порученные ему бриллианты самым выгодным образом, привозя с собой крупные суммы иностранной валюты, что и послужило поводом к передаче ему довольно значительной партии драгоценных камней для реализации. После этого К. уже не появлялся более в кабинете Ганецкого, и лишь много времени спустя пришло известие, что К. находится в Германии.

Это совершенно бесконтрольное расхищение драгоценностей продолжалось около года, и только один Ганецкий да расстрелянные оценщики знают, какое колоссальное богатство прошло через его руки и уплыло частью за границу, частью в карманы ловких авантюристов. Это было поистине блаженное время, когда лозунг «грабь награбленное» находил свое полное осуществление. Достаточно было заглянуть в помещение оценщиков, чтобы иметь представление о громадных размерах добычи, доставшейся новой власти. На полу, на подоконниках, на этажерках — всюду валялись исковерканные золотые и платиновые оправы, роскошные диадемы с пустыми гнездами от камней, а на длинном, обтянутом зеленым сукном столе были разложены драгоценные камни — бриллианты, голубые, необычайных размеров, сапфиры, кровавые рубины, зеленые изумруды, топазы, жемчуг, бирюза. Но больше всего было бриллиантов различного веса и воды. Это был любимый камень русских богатых людей, бессознательно для себя содействовавших укреплению разорившей их власти.

У оценщиков было своеобразное расписание дней недели. Был день графов Шереметевых, день Сумароковых, день Морозовых, Елисеевых, кн. Мещерских и т. д., когда происходила разборка вещей исключительно названных лиц. Наибольший доход достался от ограбления гр. Шереметевых, так как ни у кого не было найдено такого количества драгоценностей, как у них. Скандал с оценщиками положил конец этому благополучию. Разборка ценностей была изъята из ведения Ганецкого и перенесена в ссудную кассу, где не замедлили обнаружиться такие же хищения с неизбежным расстрелом виновных. Секретариат сразу опустел, но Ганецкий, видимо, уже тяготился своим комиссарским званием и, выждав некоторое время, покинул свой пост, передав бразды правления Чуцкаеву, которому и пришлось расплачиваться за грехи своих предшественников.

ГАНЕЦКИЙ Якуб — псевдоним Фюрстенберга Якова Станиславовича (1879—1937).
Родился в Варшаве, в состоятельной буржуазной семье. Учился в Берлинском, Гейдельбергском, Цюрихском университетах. Член социал-демократической партии с 1896 г. В 1902 г. выслан из Пруссии за переправленный из Парижа в Польшу транспорт с запрещенной литературой. Как пишет Я. Ганецкий в своей автобиографии, в 1902 г. он, вместе с Ф. Дзержинским, организует партийную конференцию, «положившую окончательные твердые основы для нашей партии» (Социал-демократия Королевства Польского и Литвы). В 1903—1909 гг. член Главного правления СДКПиЛ. Участник II, IV, V съездов РСДРП. На V съезде (1907) избран в члены ЦК. Арестовывался, высылался в Вятскую, затем Оренбургскую губернии, откуда бежал. До октября 1917 г. в эмиграции. После Февральской революции в Стокгольме вместе с В. Воровским и К. Радеком входит в Заграничное бюро ЦК РСДРП(б), принимает деятельное участие в возвращении В. И. Ленина из эмиграции. После Октябрьской революции — член коллегии Наркомфина, комиссар и управляющий Народным банком. С 1920 г. член коллегии НКИД, полпред и торгпред РСФСР в Латвии. В 1923—1929 гг. член коллегии Наркомвнешторга. В 1930—1932 гг — член Президиума ВСНХ РСФСР. В 1932—1935 гг. руководил Государственным объединением музыки, эстрады и цирка. С 1935 г. — директор Музея Революции СССР. Автор воспоминаний о В. И. Ленине.

ПОПОВ Тихон Иванович (1872—1919)
Из семьи священнослужителя. В революционном движении с 1893 г. В 1896 г. закончил историко-филологический факультет Харьковского университета. Работал статистиком. Активный участник Октябрьской революции. В ноябре 1917 г. назначен комиссаром-управляющим Московской конторой Госбанка. Член финансово-контрольной комиссии Моссовета. Осуществлял национализацию частных банков. С апреля 1918 г. уполномоченный СНК РСФСР по сохранению ценностей Республики, в июле — ноябре Главный комиссар Народного банка РСФСР. В 1919 г. на советской и партийной работе в Астрахани, направлен на подпольную работу в Баку, погиб на фронте.

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ ЭРМИТАЖА

У его подножия за могучей гранитной стеной вечно течет Нева. Изменчивая от ветра и солнца, и неба, и настроения людского. То спокойная, солнечная и голубая, то подернутая серебряной легкой дымкой, то холодная, мрачная, кажется, на пределе сил катящая свой горький водяной вал... Но над столь непостоянным непокоем стоит всегда светел, неколебим и прекрасен — Эрмитаж.

Для человека Земли, любого, поездка в Ленинград, нечаянная или долгожданная — всегда великолепный праздник духа. Ну что, в самом деле, в этом мире может поспорить с неповторимой Северной Пальмирой? И только близкая в достижении мечта ставит рядом с именем города еще одно имя: созданного заботой, любовью, болью и подвигом этого города великого музея — Эрмитаж. Я увижу Ленинград. Это прежде всего означает — я увижу Эрмитаж. Предо мной пройдет вся история человеческой культуры с древнейших времен и до новейших, мир дальний и ближний, столь невероятно разный, но одинаково притягательный, ибо искусство всех времен и народов представлено здесь своими лучшими образцами. Таким сложился этот музей за два с лишним века и ныне отмечает свое 225-летие. И хотя разными были эти годы, и хотя не раз ветер времени осенял музей над Невой своим то мрачным, то трагичным крылом, Эрмитаж шел сквозь века спокойной поступью хранителя и собирателя.

Подумать только, появлением своим на нашей земле Эрмитаж обязан причине, в сущности легкомысленной — моде. Век восемнадцатый к середине своей завел моду на просвещенных монархов. Венценосцы — личности в Европе наперечет — музицировали и занимались сочинительством, водили дружбу с умами яркими, непременно вольными, собирали произведения великих живописцев и делали заказы великим зодчим в расчете не на бытовой комфорт, а на возможность любования и размышления. Все ли из них умели рядом с высоким образцом воспарить духом, про то теперь уверенно не скажешь ни да, ни нет. Но мода была именно на высокий монарший настрой. В Пруссии и Саксонии, в Австрии и Англии уверенно набирал силу авторитет просвещенного абсолютизма. Могла ли остаться равнодушной к этой заманчивой моде самолюбивая и умная российская императрица? Екатерина не просто переписывалась с Вольтером и Дидро, но и приобрела для России их библиотеки. Она не просто сочиняла комедии, но и выносила их на сцену, уверенная, что сочиняет если и не лучше, то и не хуже современных драматургов. При ней столица российская обретала вид законченный, парадный, поистине державный. Не хватало пустяка — своей картинной галереи, каковыми славились в Европе не только дворцы монархов, но и родовые замки знатнейших вельмож.

А тут и случай подвернулся. Берлинский негоциант Гоцковский, желая погасить свою задолженность русской казне, предложил вместо денег богатейшее собрание западноевропейской живописи, включающее 225 картин. Гоцковский собирал их одну к одной годами по просьбе прусского короля Фридриха Второго. Но финансы Пруссии были расстроены неудачами Семилетней войны, а Россия всегда могла оплатить императорскую прихоть.

Собрание Гоцковского было так великолепно, так раззадорило императрицу, что специальные агенты и дипломатический корпус державы получают указание со всем усердием следить за аукционами, узнавать, уговаривать, перекупать. Шли в ход подкуп, шпионаж и элементарная контрабанда, головокружительные скачки по дорогам Европы и умопомрачительные кораблекрушения. И росло эрмитажное собрание: из Дрездена поступает коллекция графа Брюля, из Парижа — знаменитое собрание Кроза, из Лондона — лорда Уолполя, из Брюсселя — рисунки и картины, купленные у Кобенцля... К ним добавляются серебро и бронза, часы и зеркала, оружие, светильники, древние монеты и геммы...

В 1774 году на французском языке издается первый каталог Эрмитажа. В нем значатся 2080 картин. Некоторые западноевропейские школы представлены с неслыханной полнотой. А прошло лишь десять лет со дня основания Эрмитажа.

Сегодня кажется, что Эрмитаж и Зимний дворец всегда составляли единый музейный комплекс. Величественный вид дворца так соответствует масштабу и значимости музея, что сама логика отдавала его под музей. Но логика восторжествовала лишь после Октябрьской революции. С начала эрмитажной истории все его здания — Малый, Старый и Новый Эрмитаж — вырастали рядом с дворцом. И задача каждого зодчего сводилась к одному: как можно удачнее соотнести их фасады с фасадом дворца. Высота крыш, расположение окон, выступающие над бельэтажем карнизы создавали единые линии, соединяли разные здания в единый ансамбль.

Так просто сегодня выстроить по годам здания, приобретения, научные концепции размещения огромной коллекции и сказать: это и есть история Эрмитажа. Но такие культурные центры не живут обособленной жизнью, напротив, активно участвуют в жизни реальной, общественной, народной, а подчас и провоцируют своим существованием события реальной жизни.

Русское самосознание в первой четверти девятнадцатого века обретало стройные черты национальной гордости. Наличие Эрмитажа, музея европейской культуры, становится едва ли не оскорбительно, ибо музея русского искусства, достигшего к тому времени подлинных высот, Россия не имела. Именно Эрмитаж в своих стенах формирует первое русское собрание живописи и скульптуры, настолько полное и огромное, что в конце девятнадцатого века оно выделяется в самостоятельный, развивающийся и поныне Русский музей.

Именно Эрмитаж, о богатствах которого Екатерина Вторая писала: «Всем этим любуются только мыши и я...», становится первым общедоступным музеем России, в канун первой мировой войны посещаемость его достигла невероятной цифры — 180 тысяч человек в год.

И тот же 1914-й стал для Эрмитажа началом первой его трагедии. Притулившаяся на обочине огромной империи столица в такой войне не могла быть надежным пристанищем для коллекции мирового значения. Надежно упакованные, шедевры Эрмитажа отправились в Москву. Возвращались уже в советское



Академик Б. Б. Пиотровский, директор Эрмитажа.

время и далеко не в полном объеме. Кое-что осталось в Москве, пополнив картинами старых мастеров коллекции Музея изобразительных искусств имени Пушкина. В годы тридцатые и сороковые по той же причине переезжали произведения из Эрмитажа в Москву, правда, в обмен на произведения из бывшего музея нового западного искусства. Была устойчива и нерушима легенда о бездонности эрмитажных фондов. Она начисто перечеркивала правду о том, что коллекция, создаваемая планомерно, не терпит произвольного вмешательства. Эрмитажное собрание создавалось именно планомерно. Далеко не все вещи, закупаемые за рубежом, удостаивались чести остаться в Эрмитаже, только первоклассные в каждой из школ находили прибежище в этом музее. Остальные становились украшением царских и великокняжеских дворцов, а порой и продавались внутри России.

Даже в первые годы после революции, когда государственная комиссия во главе с Александром Николаевичем Бенуа получила в свое распоряжение дворцы Царского Села, Павловска, Гатчины, Петергофа, частные коллекции таких просвещенных собирателей, как Юсуповы, Строгановы, Шуваловы, Шереметевы, в Эрмитаж отбирались только шедевры, только то, что дополняло и развивало его коллекции по вполне сложившимся направлениям и отделам.

Нет, не были бездонными, безбрежными эрмитажные фонды. Не было в них лишних шедевров, каждый был уникален и незаменим. Об изъятиях, о продажах в двадцатые — тридцатые годы вещей из коллекции Эрмитажа на зарубежных аукционах, о «тихих» продажах в частные руки в последнее время напи-



сано много и в полемическом задоре не всегда точно. Но одно неоспоримо: без бомб и снарядов, одним волеизъявлением вождей Эрмитажу нанесен огромный урон, невосполнимый. Ничто в сегодняшнем мире не заменит ни Рафаэля, ни Рубенса. А обратного пути для них, проданных, преданных, увы, нет.

А впереди уже становилась все очевидней огромная жестокая война. На случай ее все музеи Ленинграда должны были иметь планы эвакуации. Когда она началась, немедленно отправиться на восток готов был только Эрмитаж. В считанные дни было упаковано и отправлено на Урал миллион сто восемнадцать тысяч экспонатов. Под плач сотрудни-



ков, под немой стон родных стен покидали Эрмитаж великий Леонардо и великий Тициан, и великий Рембрандт... Оставались на стенах пустые рамы. Переезжали в подвалы мебель, фарфор, люстры... Оставался под смертоносным небом ансамбль из пяти эрмитажных зданий, который может составить славу любой из столиц. Прямым попаданием снарядов были повреждены знаменитые атланты Нового Эрмитажа, Расстреллиевская галерея, Гербовый и Малый тронный залы, Иорданская лестница... Но оставшиеся в Ленинграде сотрудники продолжали работу, а весть о научной конференции, посвященной юбилею Низами, разнеслась по всему миру. «В великолепном Эрмитаже недавно справляли юбилей великого азербайджанского писателя — человеколюбца Низами,— писал осенью 1941 года Николай Тихонов. — В солнечном Баку откликнулось это торжество, и по всему Советскому Союзу узнали, что в Ленинграде жив могучий дух торжествующего творчества».

В апреле 1942-го под водой в подвалах оказалась коллекция ценнейшей эрмитажной мебели. Обессиленные голодом работники Эрмитажа не могли поднять ее из подвалов. Им на помощь прислали курсантов, только что приехавших на Ленинградский фронт из Сибири, еще сильных и никогда не видевших Эрмитажа. Так хотелось их поблагодарить, так было очевидно, что для многих из них второго визита в Эрмитаж не будет, и П. Ф. Губчевский, один из старейших научных сотрудников музея, повел их на экскурсию по... пустым рамам. Это была самая удивительная экскурсия в его жизни. Впрочем, за всю историю человечества такой экскурсии, наверное, не удостоился больше ни один музей мира.

Сегодня Эрмитаж — музей, вровень с которым стоят лишь Лувр и Британский музей в Лондоне. Сегодня старое французское слово «Эрмитаж» («уголок отшельника») утратило свой исконный смысл и стало только именем собственным. Его коллекции хорошо известны в мире — в большинстве стран всех континентов побывали выставки из Эрмитажа. Соответственно и на Дворцовой набережной в Ленинграде побывали с выставками все художественные музеи мира. Более 250 таких выставок прошло за последние годы на берегах Невы. Не только шедевры живописи увидели мы в его стенах, но вся история мировой культуры прошла перед нами, включая и самобытную культуру таких еще неведомых нам стран, как Мексика, Ирак, Нигерия...

К юбилею Эрмитаж открыл выставку «Шедевры мировой живописи». Из тринадцати музеев привезли сюда полотна, которыми гордятся Вашингтон и Вена, Флоренция и Чикаго, Лондон, Будапешт, Прага, Дрезден...

Выставка из тысячи предметов познакомит нас в дни юбилея с дарами Эрмитажу за последние десять лет и современных художников, и коллекционеров мира. Эти выставки без громких слов утверждают простую истину: Эрмитаж принадлежит человечеству, он его, человечества, гордость и достояние. Когда-нибудь не будет, наверное, на земле войн, не будет произвола монархов и вождей, не будет хулиганов с банками серной кислоты. И будет вечной жизнь Эрмитажа. Чтобы человечество бережно хранило в душе своей черты ушедших гениев, как Эрмитаж хранит их великие творения.

Эльвира ГОРЧАКОВА

Фото
Николая КУЛЕБЯКИНА

На стр. 34—35

С портрета работы Франса Хальса начинался Эрмитаж.
В реставрационных мастерских музея.
Рембрандт Ван Рейн. Святое семейство.
Портрет старика.



Альгирдас Степонавичюс

фото Бориса Савельева

ВИДЕТЬ МИР ПО-СВОЕМУ

Iliustravo Algirdas Steponavičius

Авторский знак: иллюстрировал Альгирдас Степонавичюс.

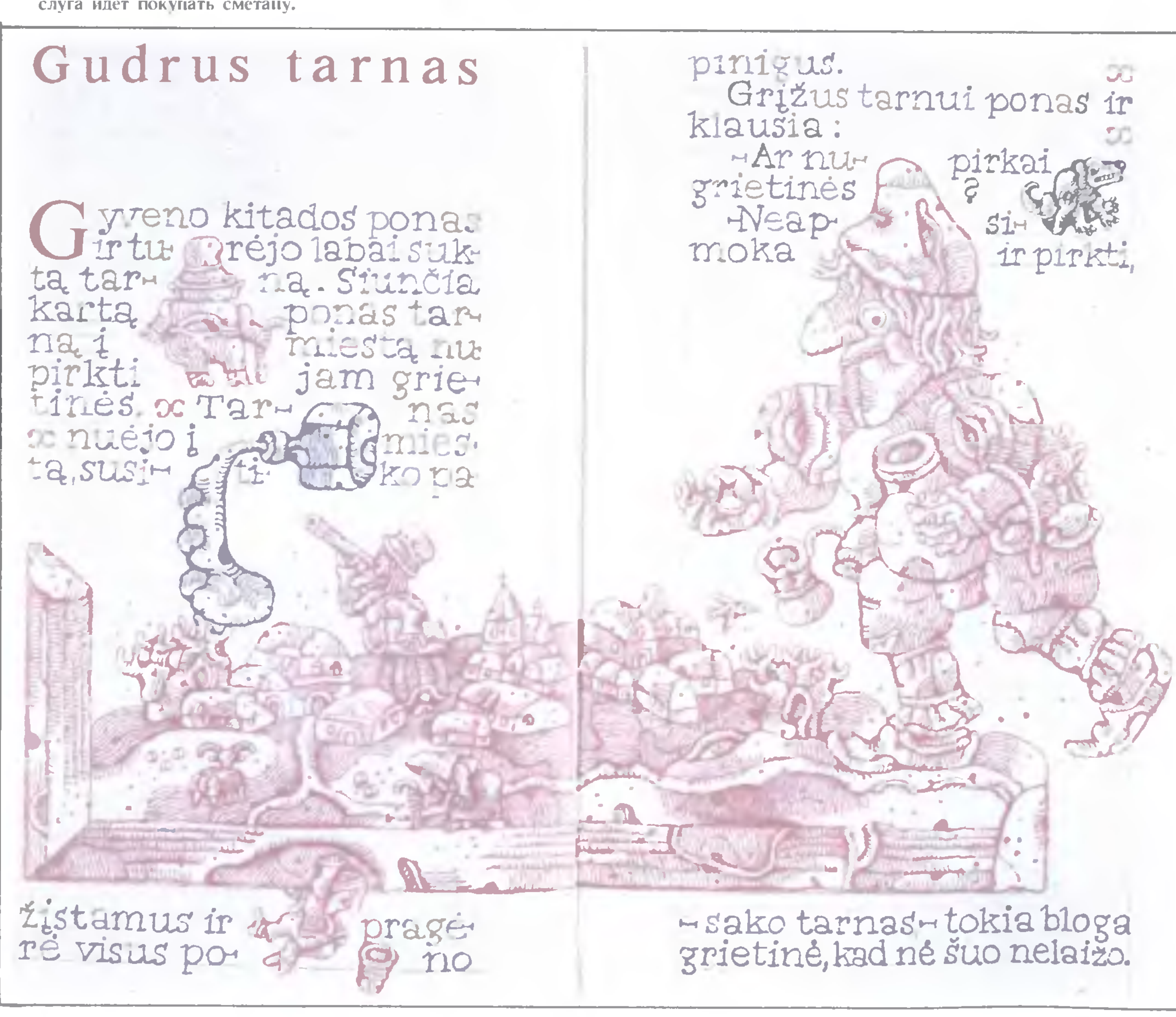
Высшей награды для советских художников книги — диплома имени Ивана Федорова удостоен в этом году за оформление «Сказок Неманского края» Пятраса Цвирки (издательство «Витурис») заслуженный деятель искусств Литовской ССР Альгирдас Степонавичюс. Это известное имя в мире современного книжного искусства. Свою первую книгу А. Степонавичюс оформил еще в 1958 году («Загадки», издательство «Вага»). В 1965 году его рисунки для сказки Костаса Кубилинскаса «Лягушка-королева» были отмечены золотой медалью на международной книжной ярмарке в Лейпциге, а спустя два года — «Золотым яблоком» на международном конкурсе искусства книги в Братиславе. Художник широкого диапазона, А. Степонавичюс работает не только в области иллюстрации, но и нередко обращается к эстампу, монументальной живописи. Он участник ряда отечественных и зарубежных выставок.

Предлагаем вниманию читателей беседу нашего корреспондента с одним из самых оригинальных советских иллюстраторов книги и несколько его графических работ из «Сказок Неманского края».

ЛУЧШАЯ КНИГА ГОДА



Илл. к сказке «Хитрый слуга». Сюжет: слуга идет покупать сметану.



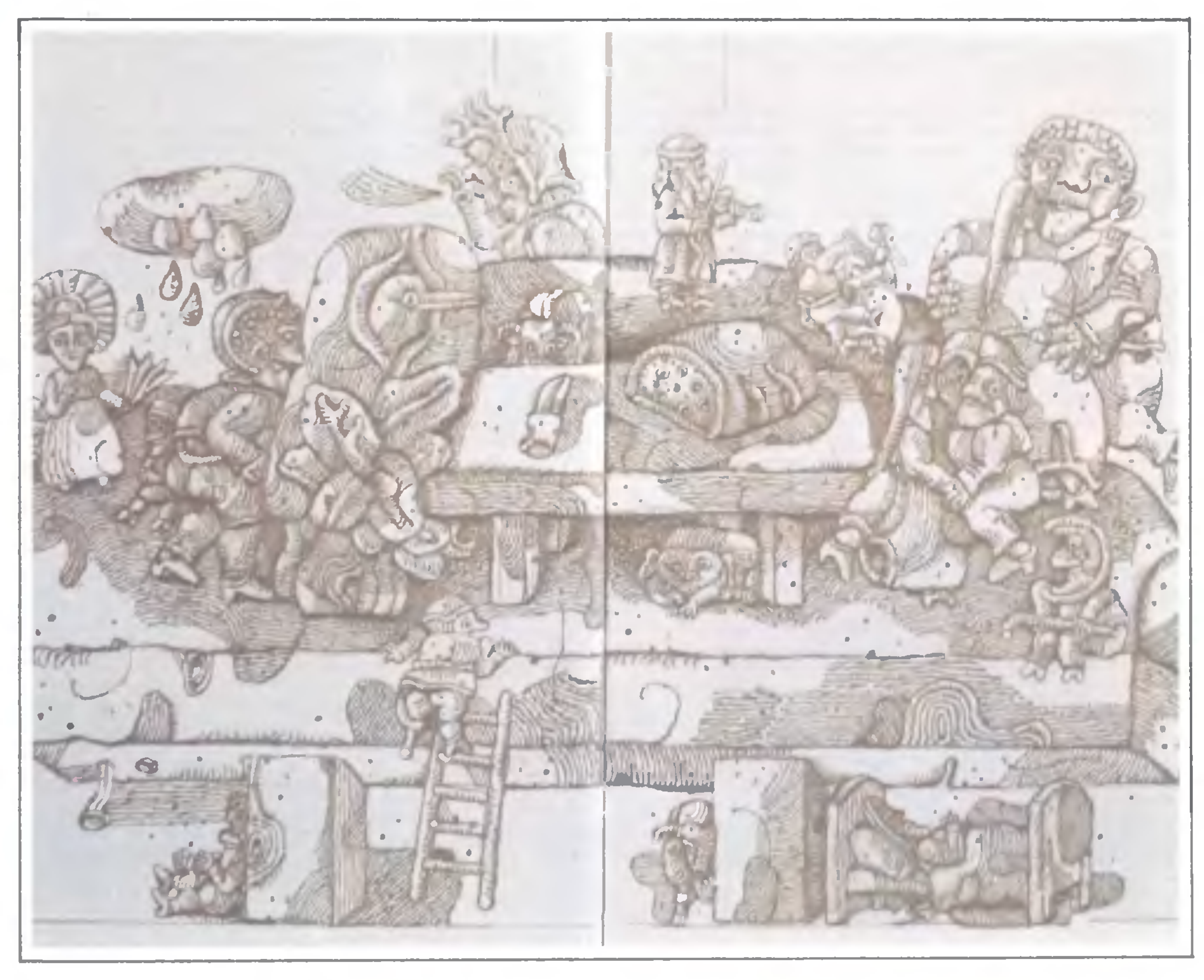
Gudrus tarnas

Gyveno kitados ponas ir turėjo labai suktą tarną. Siunčia kartą ponas tarną į miestą nupirkti jam grietinės. Tarnas nuėjo į miestą, susitiko pažistamus ir pragėrė visus pono pinigus.

Grįžus tarnui ponas ir klausia:

– Ar nupirkai grietinės?

– Neapsimoka ir pirkti, – sako tarnas, – tokia bloga grietinė, kad nė šuo nelaižo.



Илл. к сказке «Солнце, месяц и земля». Сюжет: земля.



Илл. к сказке «Медвежий окорок». Сюжет: лес.

ВИДЕТЬ МИР ПО-СВОЕМУ

— Альгирдас! Судьба каждого человека во многом предопределяется полученным им в наследство генетическим кодом, который счастливо или несчастливо, но обязательно себя проявляет. Ощущаете ли вы свои корни, свои истоки в выборе профессии?

— Родился я в прежней столице Литвы — Каунасе, а художественный институт закончил в Вильнюсе. Почему именно художественный? Сказался пример отца, разносторонне одаренного человека. В ту пору он был знаменит на литовской земле как создатель нескольких типографий, некоторыми заведовал. Писал стихи, неплохо рисовал, мечтал стать скульптором. А его отец, мой дед, хоть и жил в деревне, увлекался переплетным делом, мастерил вывески да еще клал печи. Не все теперь это помнят, а кто помнит, не всегда говорит, что до революции существовал запрет на литовскую письменность. Поэтому приходилось печатать даже молитвенники на литовском языке в Пруссии, тайно переправлять их через гра-

ницу. Деду доводилось прятать эти книги, он их и распространял. Жандармы приходили к нему с обыском, но обошлось. У меня сохранилась записная книжка, куда дед аккуратно записывал, кто и для каких книг заказывал переплеты, сколько платил за работу. Там встречаются названия сочинений не только на литовском и русском, но и на польском, немецком, латышском языках. Дед как о счастливом случае писал о каждой своей встрече со «светлыми умами», благодаря именно тому, что переплетал написанное ими. Моя мать была историком, училась в Каунасском университете, читала египетские папирусы, значит разбиралась в иероглифах. Что еще добавить? Отец издал в Литве несколько номеров журнала, которого, как ни странно, до сих пор у нас нет, — «Искусство печати». Сам был и его редактором. Так что действительно можно думать, что моя склонность к искусству, творчеству предопределена генами.

— И все же почти у каждого самобытного мастера искусства было нелегкое начало, каждому пришлось долго искать свое место в жизни...

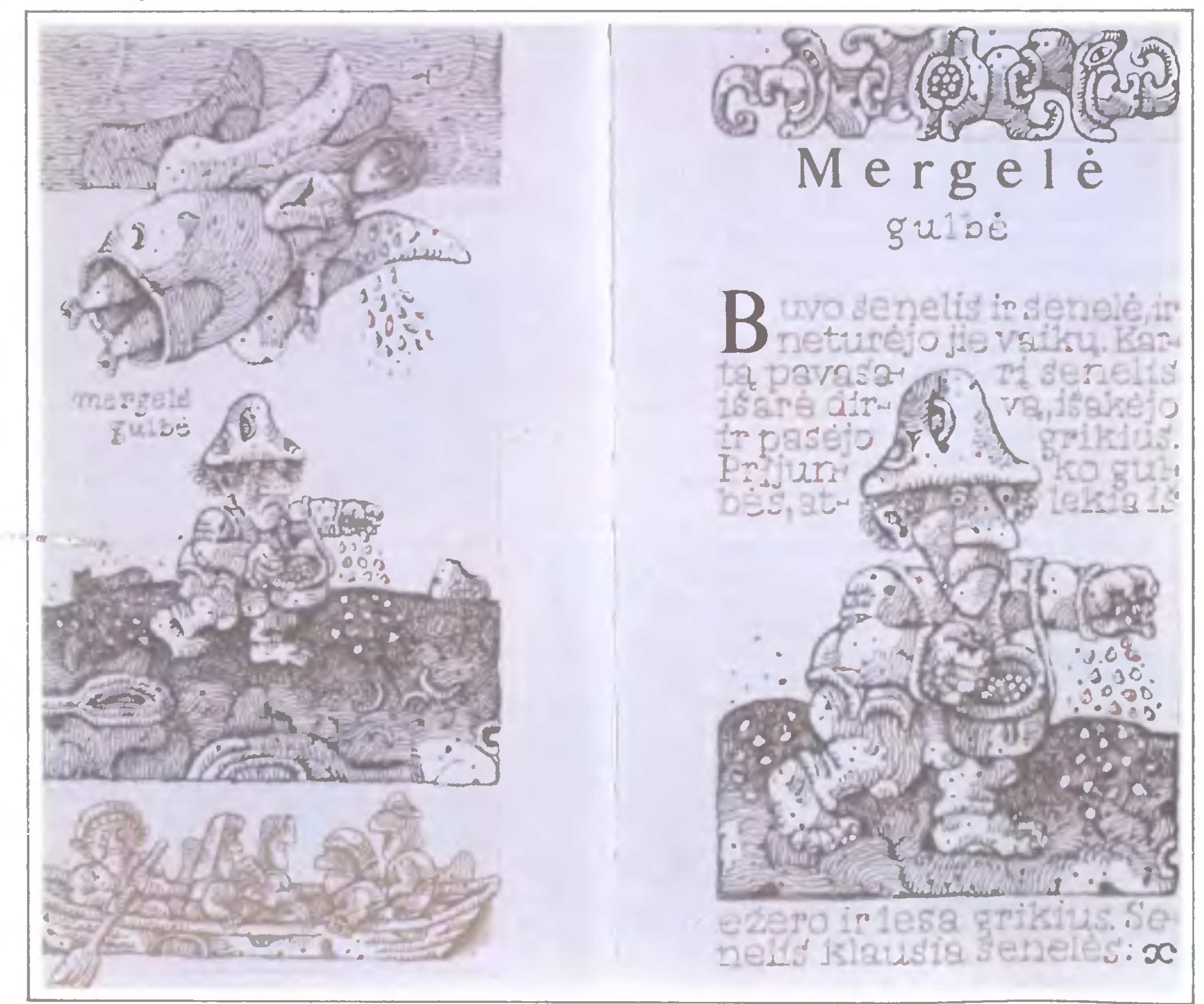
— Да, это так. Когда мы с моей женой Бируте кончали Художественный институт, шел 1950 год. Известно, какие тогда были трудные времена. Запрещались любые нетрадиционные работы, с ними нельзя было участвовать в художественных выставках. А ведь надо как-то жить, прокормиться. И, выбрав сказку как объект иллюстрирования, мы сами создали себе условия для желанной свободы художественного выражения. Потому что сказка позволяет видеть и окрашивать мир по-своему, рисовать любые, даже сказочные условия жизни и саму жизнь. Поистине прекрасная возможность выявить свое мироощущение непринужденно, не кривя душой!

Когда я взялся за иллюстрации для сказки «Лягушка-королева», к ним поначалу отнеслись настороженно — слишком яркие, слишком необычные. Но в вильнюсском издательстве «Вага» работали прогрессивные, смелые люди, они меня поддержали. Не пришлось приспосабливаться к чужим вкусам, переделывать сделанное.

— Сегодня вы уже сложившийся, признанный мастер. Тем не менее кого вы до сих пор называете своими учителями? И второй вопрос — каково ваше творческое кредо?

— Наибольшее влияние на меня оказали отнюдь не мастера давно прошедшего и недавнего времени, а народное искусство. С детства я восхищался деревянными изваяниями, фигурами святых, которые там и сям стояли окрест по литовским дорогам и деревням. Мне нравятся яркость, лукавость лубка и тонкие, изящные гравюры прошлого. Своей нарочитой деформацией в рисунке народные мастера достигают удивительно гармоничного сочетания правды с вымыслом. Эта манера и стала во многом моим творческим кредо в создании облика и характеров моих персонажей, всего, что их окружает.

Илл. к сказке «Девушка-лебедь». Сюжет: девушка, лебедь и земля.



Илл. к сказке «Девушка-лебедь». Сюжет: дедушка сеет гречиху.

Я решительный противник линейного иллюстрирования текста, то есть буквальной передачи того, о чем рассказывается в книге. Мои рисунки универсальны и могут демонстрироваться вне книги как самостоятельные работы со своим собственным смыслом. Они многозначны и живут сами по себе.

Теперь начну развивать свою мысль более предметно. В рисунках к «Сказкам Неманского края» Пятраса Цвирки я создавал свой образ Литвы, яркий, искренний, характерные типажи людей, происшествия, которые могут случаться с людьми и между людьми. Ведь сказка — зеркало окружающего мира, каким его видит простой народ. Пятрас Цвирка позволил мне поговорить о родной земле, ее море и реках, ее лесах, о звездах и луне, даже о ее святых, добрых и злых силах. Я даже вышел за пределы Литвы и пошел гулять воображением по всей Вселенной, опять-таки такой, какой вижу ее только я.

— И куда же привело вас воображение? Вы иллюстрировали сказку и, казалось бы, на ваших рисунках должно быть все понятно. Оказывается, нет, не все. Помогите разобраться...

— Я старался создать картины естественной, простой человеческой жизни. К сожалению, она почти всегда замкнута в определенном пространстве дома, улицы, деревни, города. Поэтому я и придумал ввести в иллюстрации горизонтальные деревянные конструкции вроде опорных балок, на которых и строю свои рисунки. Подразумевается как бы деревенский дом, на котором по существу, как на слонах или китах, держится Земля. Этим я хотел подчеркнуть значение основы, опоры, которые дают нам заветы предков, народные традиции.

Мои герои возникают в одной сказке, потом вдруг появляются в другой, третьей, хотя им там вроде бы и делать нечего. Но как и в жизни, в сказке все перемешивается — люди, другие живые существа, вещи, небо и деревья, все, среди чего мы обитаем. Это наши соседи, наши друзья, мы постоянно общаемся с ними в этой жизни и, быть может, встретимся в другой...

Герой одной из сказок Пятраса Цвирки продает шапки и палки. За ней в книге следует иная сказка, но герой предыдущей фигурирует и здесь — он присутствует на иллюстрации, потому что как продавец шапок и палок он может существовать и в другой жизненной ситуации.

Иногда в сказке что-то только упомянуто одним словом, одним предложением. Скажем: однажды встретились родня и ее знакомые. Мне этот писательский «посыл» позволяет изобразить веселую пирушку... Или другая сказка о ведьме. На ведьме просторная одежда с прорезями, через которые растет трава, то есть, как я задумал, пробивается сила земли, вылезают добрые и злые существа, всякая чертовщина.

На другом рисунке плетутся люди — один слепой, другой глухой, третий немой и еще один — безрукий, за ним бессердечный отец (злые силы вынули у него сердце). Они идут в мир, как нищие. И вот уже переходят в другую сказку, потому что повсюду существуют сирые и обездоленные. И, быть может, читатель вспомнит, что он уже видел эти персонажи в книге, и начнет листать страницы назад, снова рассматривать, снова читать. Мир видится ему тогда единым, все продолжающимся, где происходят самые разные, даже необыкновенные дела.

— Можно сказать, что у вас выстраивается своя, если можно так выразиться, философия иллюстрирования...

— Действительно, в рисунках я стараюсь и, как мне кажется, сумел передать свое мировоззрение. Такой способ оформления — повторения сюжетов, проходящих через всю книгу, причудливая графика позволяют создавать оригинальную структуру, определенный ритм книги, которые возникают из моей внутренней необходимости, как бы складываются в своеобразное дерево, корни которого уходят в прошлое литовского народа, в его традиции. Неповторима гармония каждого отдельного дерева, любой хорошо сработанной вещи. Вот и я старался сделать свои иллюстрации гармоничными, взаимосвязанными, создать в них структуру порядка. Ведь искусство вообще является прежде всего отражением бытия через индивидуальность художника. Ты создаешь новую вещь, и она повторяет твою суть. На живописном полотне, в графическом рисунке воплощаются воедино соединенные созидательные силы художника, которые главенствуют во Вселенной и в человеке-творце как части ее. Как бы преломляя через себя силы Вселенной, запечатляя их в созданной вещи, ты оставляешь после себя в жизни свое зашифрованное духовное начало. И эта вещь, эта картина через посредство твоего духовного начала уже сама ищет общения с читателем.

В «Сказках Неманского края» (как и в других оформленных мною книгах) можно разглядеть структуру обозреваемого мною бытия, увидеть, на чем, как я себе это представляю, держится жизненный порядок. У меня обычно скупой второй план — это не барокко с его вычурностью и изобилием. В моих работах нет всего богатства движений. Меня интересует другое — столкновение бытия и небытия, другими словами, одна из загадок жизни: как в пустоте вдруг образуется движение.

Именно в сказках Пятраса Цвирки мне как будто удалось показать строго заведенный порядок, присущий Вселенной. Сделать это было трудно. Во-первых, каждая сказка в книге начинается несколькими строками рисованного шрифта, потом текст кончается и на странице образуется пустота. Приходилось много раз компоновать макет, чтобы сохранить нужный ритм книги. Ведь просто вставить в текст рисунок это одно, а соблюсти задуманную тобой гармонию — совсем другое. И в «Сказках Неманского края» у меня ритм, как в песне, повторяется.

Другое, что я задумал, — определенные рисунки должны были находиться на одном уровне, иначе получился бы хаос. А вот в изображении движений персонажей я избрал такой принцип: если кто-нибудь из них нарисован с поднятой ногой, то и на последующих рисунках изображаю его в этой позе. Этим я его характеризую как существо, двигающееся именно таким образом и никак иначе. Ведь если жук падает на спину, он всегда встает одним и тем же способом. Так и человек. Поэтому-то у меня и повторяются характерные движения.

А вот в сказке «О солнце, луне и ветре» у меня рисунок обобщающий. Солнце стоит, а луна сидит, ждет своей очереди, чтобы выйти на небосклон. Но не они герои в моем рисунке — стоит стол, на нем лежит хлеб, кто-то танцует, играет деревенский музыкант, какой-то человек спит, еще один персонаж, без ноги, кстати он встречается и в других рисунках книги.

Вообще, надо сказать, каждая книга — это живой организм: она живет, дышит, отражает мир через графический пейзаж, даже мыслит, ведь в ней содержится смысловая суть. Графическая структура книги, ее шрифт, рисунки — ее тело. И она должна жить, как живой организм — во взаимодействии с миром. В этом организме еще много загадочного, даже знаки шрифта заключают в себе какие-то таинственные качества и понятия. Лично мне как художнику нравятся тексты с философской глубиной.

— Какая же книга ближе всего вам по духу?

— Библия. Потому что в ней наиболее полно раскрывается жизнь человеческая и на вертикальном и на горизонтальном уровнях, где наша душа ищет смысла жизни и себя в ней. На этих обоих уровнях определяются богатство или бедность существования материи и духа, все разнообразие бытия и вместе с тем божественная, идеальная сущность, к которому тяготеет душа человеческая...

— В последнее время много говорят о взаимоотношениях художника и издательства. Иные читатели обвиняют обе стороны в упадке художественного оформления книги. А что думаете вы по этому поводу?

— Лично я тяготею к независимому творчеству, поэтому делаю лишь то, что хочу. Даже все время мечтаю создать иллюстрации к несуществующей пока книге. Возможно, к собственным запискам и размышлениям о жизни, и таким образом попытаюсь передать с помощью графики свое видение мира, свои мысли. Я бы хотел создать такую изобразительную форму, которая позволила

бы мне раскрыть собственное мироощущение с текстом или же без текста. Сейчас я могу себе такое позволить. К сожалению, если ты еще молодой художник, издательство предлагает тебе текст, и далеко не всегда делаешь, к чему тянется душа. Из-за этого увяло немало талантов.

Сейчас многое в экономике меняется и, к сожалению, не только в лучшую сторону. В книгоиздании нарушаются привычные связи, отношения издательств с типографиями усложнились. Полиграфистам выгоднее печатать бланки, блокноты, короче говоря, то, что не требует особых усилий. А вот от сложной продукции — многоцветных иллюстрированных книг, да еще малотиражных, стараются отказаться. Да и возможности наших типографий ограничены — то они имеют в наличии только определенное число красок, то их состав другой: советские, венгерские... То они плохо ложатся на бумагу. Приходится мириться. А что в результате? Упадок качества.

Существующий хозяйственный механизм не будет стимулировать производство красивой книги, пока работа типографий не станет оцениваться не по валу продукции, а по конкретным экземплярам книг. В Литве работают очень хорошие графики, но полиграфия часто делает их работы неузнаваемыми. Издательства здесь ни при чем, они у нас не давят на художника, никто не говорит: так иллюстрировать нельзя. Потому что в Литве есть хорошая традиция в искусстве — стремление к разнообразию стилей. Никто не требует, чтобы все равнялись на сугубо реалистическую манеру, как на учебное пособие. Засилье одного стиля пагубно для искусства.

Вдохновляет та духовная обстановка, которая складывается в стране. Это не может не радовать меня как и главу художественной семьи (художница и наша дочь Дайна). Ведь в ином деле мы себя не мыслим, тем более, что ничего не делаем для заработка. Живем скромно. В нашем доме почти нет купленных вещей. Например, книжные полки смастерила жена. Такая жизнь имеет свою прелесть — позволяет ценить маленькие радости. В своем небольшом доме живем рядом с лесом, солнцем, травами.

— И, наконец, вопрос для ответа, быть может, о сокровенной тайне. Как приходит к вам вдохновение?

— Творчество это внутренняя, однако, к великому сожалению, большинством людей неосознанная необходимость. А коль ты им занимаешься, что-то или кто-то эту необходимость в некий момент особенно обостряет. Есть нечто общее в словах совесть и весть. Пришла весть, и ты уже знаешь, в какую сторону идти, что делать. И хотя у каждого художника существует постоянная тоска по идеалу, надо все время работать и не ждать, пока придет вдохновение. Если взглянуть шире, то, собственно, творчеством является все наше бытие. Человек творит, живя. Сама Вселенная творит через тебя на этой земле. И все же, что такое вдохновение в моем представлении, а вернее сказать, ощущении? Думаю, это сосредоточенная энергия, которая вдруг в тебе проявляется и так же внезапно исчезает. Мой любимый цвет красный. Потому что в нем заключена горячая энергия. Противоположность ему — синий цвет, идеальный, благородный, как говорят некоторые. Ко всему возвышенному приходится идти через страдания, которые неминуемы для бытия. Они, как лава, как магма, которые причудливо сливаются и растекаются так, что невозможно предугадать, что из всего этого получится. Пурпурные, розовые, глубоко коричневые и, наконец, красные тона — для меня магма бытия. Я позволю себе утверждать, что не существует какого-то отдельно взятого идеала. Все возвышенное, божественное обильно разлито по бытию...

И еще люблю зеленый цвет. Это цвет Литвы — вся она в зелени. Мне даже иногда кажется, что я и весь пророс травами и деревьями родной земли.

Беседу вел
Юрий ЧЕРНЕЛЕВСКИЙ.

В МИРЕ КНИГ

РАЗРУШЕНИЕ ХРАМА

Лондонское издательство Overseas Publications Interchange Ltd. выпустило небольшую книгу-альбом «Разрушение храма Христа Спасителя». Эта книга — типографское воспроизведение фотоальбома, подготовленного 18-м трестом «Дворецспецстрой», которому в 1931 году была поручена постройка «Дворца Советов» — грандиозного сооружения высотой 415 метров (вместе со стометровой статуей Ленина), которое должно было стать символом сталинской эпохи.

В альбом вошло около двухсот фотографий с пояснительными надписями, которые подробнейшим образом фиксируют все этапы уничтожения храма, несколько иллюстраций, связанных с началом и ходом его строительства, а также снимки проектов «Дворца Советов», поступивших на конкурс.

В краткой вступительной статье И. Иловайской-Альберти, предпосланной книге, рассказывается об истории создания храма и его разрушения. В книге воспроизведены также листы альбома с рукописными пояснительными текстами, открывающие каждый его раздел. Вот некоторые из них.

«Виды на площадку, намеченную под постройку дворца советов, занятую храмом Христа и др. постройками»; «Сохранившиеся фотографии закладки храма при Николае I, исполнившем волю своего старшего брата царя Александра I»; «Заготовка пеcомaтериалов. Перед началом работ надо было обнести участок забором, постройка которого была закончена в одну ночь»; «Снятие живописи со стен храма. Живопись была написана на штукатурке и ее приходилось спиливать и снимать специальными приспособлениями»; «Купола с 4-х башень храма весом по 16 000 кгр. были сброшены сразу. Центральн. купол весом 192 000 кгр. был разобран после сброса верхней части. Фермы крыши были также разобраны и спущены вниз» и т. д.

Примечательно, что в ноябре 1917 года Всероссийский Поместный Церковный Собор, состоявшийся в Храме Христа Спасителя, принял Соборное послание, в котором говорилось: «Священный Собор ныне призывает всю Российскую Церковь принести молитвенное покаяние за великий грех тех своих сынов, которые, поддавшись прельщению по неведению, впали в братоубийственное и кощунственное разрушение святынь народных. Примем содеянное ими как всенародный грех и будем просить Господа о прощении. Сам Господь да пробудит в сердцах их спасительное покаяние и сознание всей вины их перед Богом и русским народом... Покайтесь же и сотворите плоды покаяния. Оставьте безумную и нечистивую мечту лжеучителей, призывающих осуществить всемирное братство путем всемирного междоусобия. Вернитесь на путь Христов».

Но слова эти не были услышаны.

Ю. Ч.

КНИГОЧЕЮ НА ЗАМЕТКУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ БССР: Собрание живописи XV—XX веков. Альбом / Авт.-сост. И. Н. Паньшина и др. — М.: Сов. художник, 1989. — 123 с., ил. — 5 р. 40 000 экз.

Ильин М., Сегал Е. АЛЕКСАНДР ПОРФИРЬЕВИЧ БОРОДИН. 1833—1887; Письма / Сост. Л. Ю. Шкляревская. — М.: Правда, 1989. — 478 с. — 2 р. 20 к. 200 000 экз.

Полякова Л. ЗОДЧИЕ БРАТЬЯ ВЕСНИНЫ. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, Ивановское отд-ние, 1989. — 240 с. — 55 к. 5000 экз.

ТУЛЬСКИЙ САМОВАР. Альбом / Сост. А. С. Тихонова и др.; Фото Е. К. Дмитриева и др. — Тула: Приок. кн. изд-во, 1989. — 175 с., ил. — 9 р. 25 000 экз. — На рус., англ. яз.

ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ПЕРОВ. Альбом / Авт.-сост. В. А. Леняшин. — Л.: Художник РСФСР, 1989. — 28 с., ил. — (Мастера рус. живописи). — 1 р. 30 к. 50 000 экз.

Сарабьянов Д. В. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. — М.: Изд-во МГУ, 1989. — 383 с. — 1 р. 20 000 экз.

Шаляпин Ф. И. МАСКА И ДУША: Мои сорок лет на театрах / Сост., предисл. М. Б. Иванова. — М.: Моск. рабочий, 1989. — 384 с., ил. — 4 р. 100 000 экз.

ИСТОРИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ. ОЧЕРКИ. ПИСЬМА.

ЛЕВ ТРОЦКИЙ






ЛЕНИН



СТАЛИН






ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Л. Д. Троцкий (Бронштейн) (1879—1940), член РСДРП с 1897 г. С сентября 1918 г. Председатель РВС Республики. Был членом Политбюро ЦК РКП(б) и членом Исполкома Коминтерна.

Н. И. Бухарин (1888—1938), член партии с 1906 г. В 1919—1924 гг. кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б). Редактор газеты «Правда».

Г. Е. Зиновьев (Радомысльский) (1883—1936), член партии с 1901 г. В 1919—1921 гг. кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б), председатель Исполкома Коминтерна.

Л. Б. Каменев (Розенфельд) (1883—1936), член партии с 1901 г. С сентября 1918 г. председатель Моссовета, с конца 1918 г. одновременно чрезвычайный уполномоченный Совета Обороны на Южном фронте. В 1919—1926 гг. член Политбюро ЦК партии.

И. В. Сталин (Джугашвили) (1879—1953), член партии с 1898 г. С 1919 г. член Политбюро ЦК партии. В 1917—1922 гг. нарком по делам национальностей и одновременно в 1919—1920 гг. нарком государственного контроля. В годы гражданской войны член РВС Республики, РВС ряда фронтов, представитель ВЦИК в Совете рабочей и крестьянской обороны.

Последняя борьба и разрыв

Богатая по количеству (умолчим о качестве) иконография, созданная за самые последние годы, изображает Ленина неизменно в обществе Сталина. Они сидят рядом, совещаются, дружественно смотрят друг на друга. Назойливость этого мотива, повторяющегося в красках, в камне, в фильме, продиктована желанием заставить забыть тот факт, что последний период жизни Ленина был заполнен острой борьбой между ним и Сталиным, закончившейся полным разрывом. В борьбе Ленина, как всегда, не было ничего личного. Он, несомненно, высоко ценил известные черты Сталина: твердость характера, упорство, даже беспощадность и хитрость, — качества, необходимые в борьбе, а, следовательно, и в штабе партии. Но Сталин чем дальше, тем больше пользовался теми возможностями, которые открывал ему его пост, для вербовки лично ему преданных людей и для мести противникам.

Став в 1919 году во главе народного комиссариата инспекции, Сталин постепенно превратил и его в орудие фаворитизма и интриг. Из генерального секретариата партии он сделал неисчерпаемый источник милостей и благ. Во всяком его действии можно было открыть личный мотив. Ленин пришел постепенно к выводу, что известные черты сталинского характера, помноженные на аппарат, превратились в прямую угрозу для партии. Отсюда выросло у него решение оторвать Сталина от аппарата и превратить его тем самым в рядового члена ЦК. Письма Ленина того времени составляют ныне в СССР самую запретную из всех литератур. Но ряд их имеется в моем архиве, и некоторые из них я уже опубликовал.

Здоровье Ленина резко надломилось в конце 1921 года. В мае следующего года его поразил первый удар. В течение двух месяцев он был не способен ни двигаться, ни говорить, ни писать. С июля он медленно поправляется, в октябре возвращается из деревни в Кремль и возобновляет работу. Он был в буквальном смысле потрясен ростом бюрократизма, произвола и интриг в аппарате партии и государства. В течение декабря он открывает огонь против притеснений Сталина в области национальной политики, особенно в Грузии, где не хотят признать авторитета генерального секретаря; выступает против Сталина по вопросу о монополии внешней торговли и подготавливает обращение к предстоящему съезду партии, которое секретари Ленина, с его собственных слов, называют «бомбой против Сталина». 23 января он выдвигает, к величайшему испугу генерального секретаря, проект создания контрольной комиссии из рабочих для ограничения власти бюрократии.

«Будем говорить прямо, — пишет Ленин 2-го марта, — наркомат инспекции не пользуется сейчас ни тенью авторитета... Хуже поставленных учреждений, чем учреждения нашего наркомата инспекции, нет..» и т. д.

Во главе инспекции стоял Сталин, и он хорошо понимал, что означает этот язык.

В середине декабря (1922 г.) здоровье Ленина снова ухудшилось. Он вынужден был отказаться от участия в заседаниях и сносился с ЦК путем записок и телефонограмм. Сталин сразу попытался использовать это положение, скрывая от Ленина информацию, которая сосредотачивалась в секретариате партии. Меры блокады направлялись против лиц, наиболее близких Ленину. Крупская делала что могла, чтобы оградить больного от враждебных толчков со стороны секретариата. Но Ленин умел по отдельным, едва уловимым симптомам восстанавливать картину в целом.

— Оберегайте его от волнений! — говорили врачи.

Легче сказать, чем сделать. Прикованный к постели, изолированный от внешнего мира, Ленин сгорал от тревог и возмущения. Главным источником волнений был Сталин. Поведение генерального секретаря становилось тем смелее, чем менее благоприятны были отзывы врачей о здоровье Ленина. Сталин ходил в те дни мрачный, с плотно зажатой в зубах трубкой, со зловещей желтизной глаз; он не отвечал на вопросы, а огрызался. Дело шло о его судьбе. Он решил не останавливаться ни перед какими препятствиями. Так надвинулся окончательный разрыв между ним и Лениным.

Бывший советский дипломат Димитриевский, весьма расположенный к Сталину, рассказывает об этом драматическом эпизоде так, как его изображали в окружении генерального секретаря.

«Бесконечно надоевшую ему своими приставаниями Крупскую, когда та вновь позвонила ему за какими-то справками в деревню, Сталин... самыми последними словами изругал. Крупская немедленно, вся в слезах, побежала жаловаться Ленину. Нервы Ленина, и без того накаленные интригой, не выдержали. Крупская поспешила отправить ленинское письмо Сталину... — Вы знаете ведь Владимира Ильича, — с торжеством говорила Крупская Каменеву, — он бы никогда не пошел на разрыв личных отношений, если бы не считал необходимым разгромить Сталина политически».

Крупская действительно говорила это, но без всякого «торжества»; наоборот, эта глубоко искренняя и деликатная женщина была чрезвычайно испугана и расстроена тем, что произошло. Неверно, будто она «жаловалась» на Сталина; наоборот, она, по мере сил, играла роль амортизатора. Но в ответ на настойчивые запросы Ленина она не могла сообщать ему больше того, что ей сообщали из секретариата, а Сталин утаивал самое главное.

Письмо о разрыве, вернее, записка в несколько строк, продиктованная 5-го марта доверенной стенографистке, сухо заявляло о разрыве со Сталиным «всех личных и товарищеских отношений». Эта записка представляет последний оставшийся после Ленина документ и вместе с тем окончательный итог его отношений со Сталиным. В ближайшую ночь он снова лишился употребления речи.

Через год, когда Ленина уже успели прикрыть мавзолеем, ответственность за разрыв, как достаточно ясно выступает из рассказа Димитриевского, была открыто возложена на Крупскую. Сталин обвинял ее в «интригах» против него. Небезызвестный Ярославский, выполняющий обычно двусмысленные поручения Сталина, говорил в июле 1928 года на заседании ЦК:

«Они дошли до того, чтобы позволить себе к больному Ленину придти со своими жалобами на то, что их Сталин обидел. Позор! Личные отношения примещивать к политике по таким большим вопросам...»

«Они» — это Крупская. Ей свирепо мстили за обиды, которые нанес Сталину Ленин. Со своей стороны, Крупская рассказывала мне о том глубоком недоверии, с каким Ленин относился к Сталину в последний период своей жизни.

«Володя говорил: У него (Крупская не назвала имени, а кивнула головой в сторону квартиры Сталина) нет элементарной честности, самой простой человеческой честности...».

Так называемое «завещание» Ленина, т. е. его последние советы об организации руководства партии, написано во время его второго заболевания в два приема: 25 декабря 1922 года и 4 января 1923 года.

«Сталин, сделавшийся генеральным секретарем, — гласит Завещание, — сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он достаточно осторожно пользоваться этой властью».

Через десять дней эта сдержанная формула кажется Ленину недостаточной, и он делает приписку:

«Я предлагаю товарищам обдумать вопрос о смещении Сталина с этого места и назначении на это место другого человека»,

который был бы

«...более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д.».

Ленин стремился придать своей оценке Сталина как можно менее обидное выражение. Но речь шла тем не менее о смещении Сталина с того единственного поста, который могла дать ему власть.

После всего того, что произошло в предшествовавшие месяцы, Завещание не могло явиться для Сталина неожиданностью. Тем не менее он воспринял его как жестокий удар. Когда он ознакомился впервые с текстом, который передала ему Крупская для будущего съезда партии, он в присутствии своего секретаря Мехлиса, ныне политического шефа Красной армии, и видного советского деятеля Сырцова, ныне исчезнувшего со сцены, разразился по адресу Ленина площадной бранью, которая выражала тогдашние его подлинные чувства по отношению к «учителю». Бажанов, другой бывший секретарь Сталина, описывает заседание ЦК, где Каменев впервые оглашал завещание.

«Тяжкое смущение парализовало всех присутствующих. Сталин, сидя на ступеньках трибуны президиума, чувствовал себя маленьким и жалким. Я глядел на него внимательно; несмотря на его самообладание и мнимое спокойствие, ясно можно было различить, что дело идет о его судьбе...»

Радек, сидевший на этом памятном заседании возле меня, нагнулся ко мне со словами:

— Теперь они не посмеют идти против вас.

Он имел в виду два места письма: одно, которое характеризовало Троцкого как «самого способного человека в настоящем ЦК», и другое, которое требовало смещения Сталина, ввиду его грубости, недостатка лояльности и склонности злоупотреблять властью. Я ответил Радеку:

— Наоборот, теперь им придется идти до конца, и притом как можно скорее.

Действительно, Завещание не только не приостановило внутренней борьбы, чего хотел Ленин, но, наоборот, придало ей лихорадочные темпы. Сталин не мог более сомневаться, что возвращение Ленина к работе означало бы для «генерального секретаря» политическую смерть. И наоборот, только смерть Ленина могла расчистить перед Сталиным дорогу.

«Мучается старик»

Во время второго заболевания Ленина, видимо, в феврале 1923 года, Сталин на собрании членов Политбюро (Зиновьева, Каменева и автора этих строк) после удаления секретаря сообщил, что Ильич вызвал его неожиданно к себе и потребовал доставить ему яду. Он снова терял способность речи, считал свое положение безнадежным, предвидел близость нового удара, не верил врачам, которых без труда уловил на противоречиях, сохранял полную ясность мысли и невыносимо мучился. Я имел возможность изо дня в день следить за ходом болезни Ленина через нашего общего врача Гетье, который был вместе с тем нашим другом дома.

— Неужели же, Федор Александрович, это конец? — спрашивали мы с женой его не раз.

— Никак нельзя этого сказать: Владимир Ильич может снова подняться, — организм мощный.

— А умственные способности?

— В основном останутся не затронуты. Не всякая нота будет, может быть, иметь прежнюю чистоту, но виртуоз останется виртуозом.

Мы продолжали надеяться. И вот неожиданно обнаружилось, что Ленин, который казался воплощением инстинкта жизни, ищет для себя яду. Каково должно было быть его внутреннее состояние!

Помню, насколько необычным, загадочным, не отвечающим обстоятельствам показалось мне лицо Сталина. Просьба, которую он передавал, имела трагический характер; на лице его застыла полуулыбка, точно на маске. Несоответствие между выражением лица и речью приходилось наблюдать у него и прежде. На этот раз оно имело совершенно невыносимый характер. Жуть усиливалась еще тем, что Сталин не высказал по поводу просьбы Ленина никакого мнения, как бы выжидая, что скажут другие: хотел ли он уловить оттенки чужих откликов, не связывая себя? Или же у него была своя затаенная мысль?.. Вижу перед собой молчаливого и бледного Каменева, который искренне любил Ленина, и растерянного, как во все острые моменты, Зиновьева. Знали ли они о просьбе Ленина еще до заседания? Или же Сталин подготовил неожиданность и для своих союзников по триумвирату?

— Не может быть, разумеется, и речи о выполнении этой просьбы! — воскликнул я. — Гетье не теряет надежды. Ленин может поправиться.

— Я говорил ему все это, — не без досады возразил Сталин, — но он только отмахивается. Мучается старик. Хочет, говорит, иметь яд при себе... прибегнет к нему, если убедится в безнадежности своего положения.

— Все равно невозможно, — настаивал я, на этот раз, кажется, при поддержке Зиновьева. — Он может поддаться временному впечатлению и сделать безвозвратный шаг.

— Мучается старик, — повторял Сталин, глядя неопределенно мимо нас и не высказываясь по-прежнему ни в ту, ни в другую сторону. У него в мозгу протекал, видимо, свой ряд мыслей, параллельный разговору, но совсем не совпадавший с ним. Последующие события могли, конечно, в деталях оказать влияние на работу моей памяти, которой я в общем привык доверять. Но сам по себе эпизод принадлежит к числу тех, которые навсегда врезываются в сознание. К тому же по приходе домой я его подробно передал жене. И каждый раз, когда я мысленно сосредотачиваюсь на этой сцене, я не могу не повторить себе: поведение Сталина, весь его образ имели загадочный и жуткий характер. Чего он хочет, этот человек? И почему он не сгонит со своей маски эту вероломную улыбку?.. Голосования не было. Совещание не носило формального характера, но мы разошлись с само собой разумеющимся заключением, что о передаче яду не может быть и речи.

Здесь естественно возникает вопрос: как и почему Ленин, который относился в этот период к Сталину с чрезвычайной подозрительностью, обратился к нему с такой просьбой, которая, на первый взгляд, предполагала высшее личное доверие? За несколько дней до обращения к Сталину Ленин сделал свою безжалостную приписку к Завещанию. Через несколько дней после обращения он порвал с ним все отношения. Сталин сам не мог не поставить себе вопрос: почему Ленин обратился именно к нему? Разгадка проста: Ленин видел в Сталине единственного человека, способного выполнить трагическую просьбу, непосредственно заинтересованного в ее исполнении. Своим безошибочным чутьем больной угадывал, что творится в Кремле и за его стенами, и каковы действительные чувства к нему Сталина. Ленину не нужно было даже перебирать в уме ближайших товарищей, чтобы

ПРИМЕЧАНИЕ

Книга Л. Троцкого «Портреты революционеров» достаточно известна в мире, но у нас она не издавалась и доступна узкому кругу специалистов по троцкизму. Между тем в ней весьма много интересного и для нынешнего массового читателя. При всем своем ярко выраженном субъективизме и эгоцентризме в оценке своих товарищей, равно стоящих с ним в партийном руководстве, он старался быть дружески объективным. Хотя, когда речь идет о Сталине, если даже судить по этому сборнику, он не мог сдержать себя...

Фрагменты, которые мы предлагаем читателям, привлекли нас не случайно. Что касается Сталина, то точка зрения Троцкого, хотя и ядовито-враждебная, чего не скрывал и сам автор, не однажды указывая, что он со Сталиным — враг непримиримый, — представляет для нас во времена плюрализма большой интерес.

А лично-секретные письма Бухарину по сути дела являются спором о партии в самый трудный период ее после смерти Ленина, когда ленинградская парторганизация, возглавляемая Зиновьевым, и московская, возглавляемая Каменевым, оказались в кризисном состоянии. Троцкий анализирует причины кризиса, весьма схожие с теми трудностями, что испытывает партия сегодня... Он утверждает, что вожди не умели правильно оценивать интересы низов, заботясь только о себе... К их числу принадлежал и сам Троцкий.

С этой точки зрения и любопытна его полемика (секретно-личная) с Бухариным. Они не хотели делать достоянием партии свои теоретические споры, не выносили на страницы печати... А речь шла о самом насущном, как мы можем оценить сегодня. О двух правдах — правда для себя, для верхушки, и правда для всех остальных партийцев. Эта двойственность была в самой личности Троцкого. О чем надо помнить всегда. Он любил поучать, зная, что у него это получается эффектно. Но за внешним эффектом, как показало время, всегда скрывалась ставшая уже тогда нормой двойная мораль, столь губительно отразившаяся на партаппарате, что привела в наши дни к конфликтным ситуациям не только внутри партии... А главное, подорвала нравственный авторитет партии...

ОТ РЕДАКЦИИ

сказать себе: никто, кроме Сталина, не окажет ему этой «услуги». Попутно он хотел, может быть, проверить Сталина: как именно мастер острых блюд поспешит воспользоваться открывающейся возможностью? Ленин думал в те дни не только о смерти, но и о судьбе партии. Революционный нерв Ленина был, несомненно, последним из нервов, который сдался смерти. Но я задаю себе ныне другой, более далеко идущий вопрос: действительно ли Ленин обращался к Сталину за ядом? Не выдумал ли Сталин целиком эту версию, чтобы подготовить свое алиби? Опасаться проверки с нашей стороны у него не могло быть ни малейших оснований: никто из нас троих не мог расспрашивать больного Ленина, действительно ли он требовал у Сталина яду.

Смерть и похороны Ленина

В судебном процессе 1938 года Сталин выдвинул против Бухарина как бы мимоходом обвинение в подготовке покушения на Ленина в 1918 году. Наивный и увлекающийся Бухарин благоговел перед Лениным, любил его любовью ребенка к матери и, если дерзил ему в полемике, то не иначе, как на коленях. У Бухарина, мягкого, как воск, по выражению Ленина, не было и не могло быть самостоятельных честолюбивых замыслов. Если бы кто-нибудь предсказал нам в старые годы, что Бухарин будет когда-нибудь обвинен в подготовке покушения на Ленина, каждый из нас (и первый — Ленин) посоветовал бы посадить предсказателя в сумасшедший дом. Зачем же понадобилось Сталину насквозь абсурдное обвинение? Зная Сталина, можно сказать с уверенностью: это — ответ на подозрения, которые Бухарин неосторожно высказывал относительно самого Сталина. Все вообще обвинения московских процессов построены по этому типу. Основные элементы сталинских подлогов не извлечены из чистой фантазии, а взяты из действительности, большей частью из дел или замыслов самого мастера острых блюд. Тот же оборонительно-наступательный «рефлекс Сталина», который так ярко обнаружился на примере со смертью Горького, дал знать всю свою силу и в деле со смертью Ленина. В первом случае поплатился жизнью Ягода, во втором — Бухарин.

Я представляю себе ход дела так. Ленин потребовал яду — если он вообще требовал его — в конце февраля 1923 года. В начале марта он оказался уже снова парализован. Медицинский прогноз был в этот период осторожно-неблагоприятный. Почувствовав прилив уверенности, Сталин действовал так, как если б Ленин был уже мертв. Но больной обманул его ожидания. Могучий организм, поддерживаемый непреклонной волей, взял свое. К зиме Ленин начал медленно поправляться, свободнее двигаться, слушал чтение и сам читал; начала восстанавливаться речь. Врачи давали все более обнадеживающие заключения. Выздоровление Ленина не могло бы, конечно, воспрепятствовать смене революции бюрократической реакцией. Недаром Крупская говорила в 1926 году:

«Если б Володя был жив, он сидел бы сейчас в тюрьме».

Но для Сталина вопрос шел не об общем ходе развития, а об его собственной судьбе: либо ему теперь же, сегодня удастся стать хозяином аппарата, а следовательно — партии и страны, либо он будет на всю жизнь отброшен на третьи роли. Сталин хотел власти, всей власти во что бы то ни стало. Он уже крепко ухватился за нее рукою. Цель была близка, но опасность со стороны Ленина — еще ближе. Именно в этот момент Сталин должен был решить для себя, что надо действовать безотлагательно. У него везде были сообщники, судьба которых была полностью связана с его судьбой. Под рукой был фармацевт Ягода. Передал ли Сталин Ленину яд, намекнув, что врачи не оставляют надежды на выздоровление, или же прибегнул к более прямым мерам, этого я не знаю. Но я твердо знаю, что Сталин не мог пассивно выжидать, когда судьба его висела на волоске, а решение зависело от маленького, совсем маленького движения его руки.

Во второй половине января 1924 года я выехал на Кавказ в Сухум, чтобы попытаться избавиться от преследовавшей меня таинственной инфекции, характер которой врачи не разгадали до сих пор. Весть о смерти Ленина застигла меня в пути. Согласно широко распространенной версии, я потерял власть по той причине, что не присутствовал на похоронах Ленина. Вряд ли можно принимать это объяснение всерьез. Но самый факт моего отсутствия на траурном чествовании произвел на многих друзей тяжелое впечатление. В письме старшего сына, которому в то время шел 18-й год, звучала нота юношеского отчаяния: надо было во что бы то ни стало приехать! Таковы были и мои собственные намерения, несмотря на тяжелое болезненное состояние. Шифрованная телеграмма о смерти Ленина застала нас с женой на вокзале в Тифлисе. Я сейчас же послал в Кремль по прямому проводу шифрованную записку:

«Считаю нужным вернуться в Москву. Когда похороны?»

Ответ прибыл из Москвы примерно через час:

«Похороны состоятся в субботу, не успеете прибыть вовремя. Политбюро считает, что Вам, по состоянию здоровья, необходимо ехать в Сухум.

Сталин».

Требовать отложения похорон ради меня одного я считал невозможным. Только в Сухуме, лежа под одеялами на веранде санатория, я узнал, что похороны были перенесены на воскресенье. Обстоятельства, связанные с первоначальным назначением и позднейшим изменением дня похорон, так запутаны, что нет возможности осветить их в немногих строках. Сталин маневрировал, обманывая не только меня, но, видимо, и своих участников по триумвирату. В отличие от Зиновьева, который подходил ко всем вопросам с точки зрения агитационного эффекта, Сталин руководствовался в своих рискованных маневрах более осязательными соображениями. Он мог бояться, что я свяжу смерть Ленина с прошлогодней беседой о яде, поставлю перед врачами вопрос, не было ли отравления; потребую специального анализа. Во всех отношениях было поэтому безопаснее удержать меня подалее до того дня, когда оболочка тела будет бальзамирована, внутренности сожжены, и никакая экспертиза не будет более возможна.

Когда я спрашивал врачей в Москве о непосредственных причинах смерти, которой они не ждали, они неопределенно разводили руками. Вскрытие тела, разумеется, было произведено с соблюдением всех необходимых обрядностей: об этом Сталин в качестве генерального секретаря позаботился прежде всего! Но яду врачи не искали, даже если более проницательные допускали возможность самоубийства. Чего-либо другого они, наверное, не подозревали. Во всяком случае, у них не могло быть побуждений слишком уточнять вопрос. Они понимали, что политика стоит над медициной. Крупская написала мне в Сухум очень горячее письмо: я не беспокоил расспросами на эту тему. С Зиновьевым и Каменевым я возобновил личные отношения только через два года, когда они порвали со Сталиным. Они явно избегали разговоров об обстоятельствах смерти Ленина, отвечали односложно, отводя глаза в сторону. Знали ли они что-нибудь или только подозревали? Во всяком случае, они были слишком тесно связаны со Сталиным в предшествующие три года и не могли не опасаться, что тень подозрения ляжет и на них. Точно свинцовая туча окутывала историю смерти Ленина. Все избегали разговоров об ней, как если б боялись прислушаться к собственной тревоге. Только экспансивный и разговорчивый Бухарин делал иногда с глазу на глаз неожиданные и странные намеки.

— О, вы не знаете Кобы, — говорил он со своей испуганной улыбкой. — Коба на все способен.

Над гробом Ленина Сталин прочитал по бумажке клятву заветам учителя в стиле той гомилетики, которую он изучал в тифлисской духовной семинарии. В ту пору клятва осталась мало замеченной. Сейчас она вошла во все хрестоматии и занимает место синайских заповедей.

13 октября 1939 года
Койоакан

ТРИ ПИСЬМА ТРОЦКОГО БУХАРИНУ

I

К вопросу о «самокритике»

Совершенно лично

Николай Иванович!

Я Вам благодарен за записку, так как она дает возможность — после большого перерыва — обменяться мнениями по самым острым вопросам партийной жизни. А так как волей судеб и партсъезда мы работаем с Вами в одном и том же Политбюро, то добросовестная попытка такого товарищеского объяснения во всяком случае не может принести вреда.

Каменев попрекнул Вас на заседании тем, что раньше Вы были против мер чрезвычайного аппаратного нажима в отношении «оппозиции» (очевидно, он намекал на 23—24 годы), а теперь поддерживаете самые крутые меры в отношении Ленинграда. Я сказал, в сущности, про себя: «вошел во вкус». Придравшись к этому замечанию, Вы пишете: «Вы думаете, что я «вошел во вкус», а меня от этого «вкуса» трясет с ног до головы». Я вовсе не хотел сказать своим случайно вырвавшимся замечанием, что Вы находите удовольствие в крайних мерах аппаратной репрессии. Мысль моя была скорее та, что Вы сжились с этими мерами, привыкли к ним и не склонны замечать, какое впечатление и влияние они производят за пределами руководящих элементов аппарата.

Вы обвиняете меня в Вашей записочке в том, что «из-за формальных соображений демократии» не хочу видеть действительного положения вещей. В чем же Вы сами видите действительное положение вещей? Вы пишете: «1) ленинградский «аппарат» насандален до мозга костей; верхушка спаяна всем, вплоть до быта, сидит 8 лет бессменно; 2) унтер-офицерский состав подобран великолепно; разубедить всех их (верхушку) нельзя — это утопия; 3) спекуляция, главная, идет на то, что отнимут экономические привилегии рабочих (кредиты, фабрики и заводы и так далее), «бессовестная демагогия». Отсюда Вы делаете тот вывод, что «нужно разубеждать снизу, уничтожая сопротивление сверху».

Совсем не для того, чтобы с Вами полемизировать или припоминать прошлое, — ни к чему, — а для того, чтобы подойти к существу вопроса, я должен все же сказать, что Вы даете наиболее резкую, яркую и острую формулировку противопоставления партаппарата партийной массе. Ваше построение таково: плотно спаянная или крепко «насандаленная», как Вы выражаетесь, верхушка; великолепно подобранный сверху унтер-офицерский состав и — обманываемая и развращаемая демагогией этого аппарата партийная, а за ней и беспартийная рабочая масса. Разумеется, в частной записочке можно выразиться крепче, чем в статье. Но даже и с этой поправкой получается картина прямо-таки убийственная. Всякий вдумчивый партиец должен спросить себя: а если бы не вышло конфликта между Зиновьевым и большинством ЦК, — тогда ленинградская руководящая верхушка продолжала бы и девятый и десятый год поддерживать тот режим, который она создавала в течение восьми лет? «Действительное положение вещей» совсем не в том, в чем Вы его видите, а в том, что недопустимость ленинградского режима вскрылась только потому, что возник конфликт в московских верхах, а вовсе не потому, что ленинградские низы заявили протест, выразили недовольство и прочее. Неужели же Вам это не бросается в глаза? Если Ленинградом, то есть наиболее культурным пролетарским центром, правит «насандаленная» верхушка, «спаянная бытом» и подбирающая унтер-офицерский состав, то как же так партийная организация этого не замечает? Неужели же не находится в ленинградской организации живых, добросовестных, энергичных партийцев,

Лагерная поэзия

Андрей Анатольевич ЗАГРЯЖСКИЙ (1896—1970). Офицер, участник Первой мировой войны, арестован в начале 1930-х годов. Его жена (урожденная Давыдова, родственница декабристки), чтобы быть ближе к мужу, поступила на службу в Канапстрой, в 1937 году была арестована, приговор: «десять лет без права переписки», что означало — расстрел. Ей и ее памяти посвящены многие стихи А. А. Загряжского.

ТЮРЕМНОЕ СВИДАНИЕ

Твой профиль, нежный, гордый, четкий,
Царить рожденный и блистать,
В тюрьме за сдвоенной решеткой
Передо мной возник опять.

В Твоей улыбке боли тени,
Как тени туч в пучах зари.
Усильем воли дрожь коленей
Почти бессилен я смирить.

Так близко быть, — какая мука! —
И не коснуться, не прильнуть,
И не обнять в тоске друг друга,
В угрюмый отрываясь путь!

Так близко быть, — о самом важном
Сказать успев едва-едва,
За пивнем слов чужим и дружным
Едва угадывать слова!

Так близко быть, — вот-вот оставить
В былом лучистый пламень глаз
И жгучей болью не расплавить
Решетки, делящие нас!

Ты так горда! — ни слез, ни пеней,
Ты вся любовь, любовь и свет,
И только тайной боли тени
Кладут у глаз прощальный след!

Ты так светла! — Двором тюремным
Несу с собой Твои черты,
Как будто пьян огнем напевным:
Ты — это я! Я — это Ты!

Ты так близка! Ни даль, ни время,
Ни смерти синие края
Нас не расторгнут, не изменят,
Я — это Ты! Ты — это я!

Мария Кузьминична ТЕРЕНТЬЕВА (род. 1906). Поэтесса. Была арестована в 1937 году как ЧСИР — член семьи изменника родины — жена арестованного писателя Ивана Катаева. При ней в московских Бутырках и лагерях находился до полутора лет сын, родившийся в 1937 году.

ТЮРЕМНАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Утром рано, на рассвете
Корпусной придет,
На поверку встанут дети,
Солнышко блеснет.

Проберется лучик тонкий
За высокий щит,
К заключенному ребенку
Лучик добежит.

Но светлее все ж не станет
Мрачное жилье...
Кто вернет тебе румянец,
Солнышко мое!!

За решеткой, за замками
Дни, словно года.
Плачут дети. Даже мамы
Плачут иногда,

Но выхаживают смену,
Закалив сердца.
Мальчик мой, не верь в измену
Своего отца.

Как он вынес суд неправый,
Клевету, разбой!
В море горя и отравы
Встретится ль с тобой!

Тише, тише... Дремлют дети.
Солнца луч угас.
День весенний, свежий ветер
Прошумят без нас.

1938
Часовая башня Бутырской тюрьмы

Семен Самуилович ВИЛЕНСКИЙ (род. 1928). Литератор. Арестован в 1948 году. В заключении — в 1948—1955 годах, отбывал срок в Особлаге на Колыме.

* * *

Пусть зло во все века сильней,
Но доброта неистребима,
Идет безвестным пилигримом
Она дорогою своей.
Давно уж слуха нет о ней...
И вдруг такой же, как с икон Рублева,
Она глядит — самв основа
И оправданье жизни всей.

1950-е годы

чтобы поднять голос протеста и завоевать на свою сторону большинство организации, — даже если бы протест их не нашел отклика в ЦК? Ведь дело идет не о Чите и не о Херсоне (хотя и там, конечно, можно бы было и должно ждать, что большевистская партийная организация не потерпит в течение годов безобразий в своей верхушке). Дело идет о Ленинграде, где сосредоточен несомненно наиболее пролетарски квалифицированный авангард нашей партии. Неужели же Вы не видите, что именно в этом, а ни в чем другом, состоит «действительное положение вещей»? И вот, когда вдумаешься, как следует быть, в это положение вещей, то говоришь себе: Ленинград вовсе не какой-либо особый мир: в Ленинграде только более ярко и уродливо нашли себе выражение те отрицательные черты, какие свойственны партии в целом. Неужели это не ясно?

Вам кажется, будто я «из-за формальных соображений демократии» не вижу ленинградской реальности. Ошибаетесь. Я никогда не объявлял демократию «священной», — как один из моих прежних друзей..

Может быть, Вы припомните, что года два тому назад я на частном совещании Политбюро у меня на квартире сказал, что ленинградская партийная масса замордована больше, чем где бы то ни было. Выражение это (признаюсь, очень крепкое) я употребил в тесном кругу, как Вы употребляете в Вашей личной записочке слова: «бессовестная демагогия». Это, правда, не помешало тому, что слова насчет замордованной ленинградским партаппаратом партийной массы гуляли по собраниям и печати. Но это уж статья особая и — надеюсь — не прецедент... Значит, я видел действительное положение вещей? Но, в отличие от некоторых товарищей, видел его и полтора, и два, и три года тому назад. Я тогда же, на этом же заседании, сказал, что в Ленинграде все обстоит великолепно (на 100%) — за пять минут до того, как становится очень плохо. Это возможно только при архиаппаратном режиме. Как же Вы говорите, что я не видел истинного положения вещей? Правда, я не считал, что Ленинград отделен от всей остальной страны какой-то непроницаемой переборкой. Теория о «больном Ленинграде» и «здоровой стране», бывшая в большом почете при Керенском, не моя теория. Я говорил и сейчас говорю, что в ленинградском партийном режиме черты аппаратного бюрократизма, свойственные всей партии, доведены до наиболее крайнего выражения. Должен, однако, прибавить, что за эти два с половиной года (с осени 1923 года) аппаратно-бюрократические тенденции чрезвычайно усилились не только в Ленинграде, но и во всей партии в целом.

Подумайте на минуту над таким фактом: Москва и Ленинград, два главных пролетарских центра, выносят единовременно и притом единогласно (подумайте: единогласно!) на своих губпартконференциях две резолюции, направленные друг против друга. И подумайте еще над тем, что наша официальная партийная мысль, представленная печатью, совершенно не останавливается на этом поистине потрясающем факте. Как это могло произойти? Какие под этим скрываются социальные тенденции? Мыслимое ли дело, чтобы в партии Ленина, при таком исключительно крупном столкновении тенденций, не сделана была попытка определить их социальную, то есть классовую природу? Я говорю не о «настроениях» Сокольникова, или Каменева, или Зиновьева, а о том факте, что два основных пролетарских центра, без которых нет Советского Союза, оказались «единогласно» противопоставлены друг другу. Как? Почему? Каким образом? Каковы те особые (?) социальные (?) условия Ленинграда и Москвы, которые позволили такое радикальное и «единогласное» противопоставление? Никто их не ищет, никто себя об этом не спрашивает. Чем же это объясняется? Да просто тем, что все молчаливо говорят себе: стопроцентное противопоставление Ленинграда и Москвы есть дело аппарата. — Вот в этом-то, Николай Иванович, и состоит «истинное положение вещей». И я его считаю в высшей степени тревожным. Поймите, поймите это!!

Вы намекаете на связь ленинградской верхушки «через быт» и думаете, что я, в своем «формализме», этого не вижу. А между тем, всего несколько дней тому назад один товарищ случайно напомнил мне разговор, который у нас был с ним более двух лет тому назад. Я развивал тогда, примерно, такой ход мыслей: при чрезвычайно аппаратном характере ленинградского режима, при аппаратном высокомерии правящей верхушки неизбежно развитие особой системы «круговой поруки» на верхах организации, что должно, в свою очередь, столь же неизбежно вести к весьма отрицательным последствиям в отношении малоустойчивых элементов партаппарата и госаппарата. Так, например, я считал крайне опасной особого рода «страховку» военных, хозяйственных и иных работников через партаппарат. Своей «верностью» секретарю губкома они приобретали право нарушать общегосударственные распоряжения или декреты в области своей работы. В области «быта» они жили уверенностью, что никакие их «недочеты» по этой части не будут поставлены им в счет, — если они пребудут верны секретарю губкома. Более того, они не сомневались, что всякий, кто попытается выдвинуть против них какие-либо возражения морального или делового характера, окажется зачисленным в оппозицию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Таким образом, Вы круто ошибаетесь, когда думаете, что я «из-за формальных соображений демократии» не замечаю реальности и, в частности, реальности «бытовой». Только я не дожидался конфликта Зиновьева с большинством ЦК, чтобы увидеть эту непривлекательную реальность и опасные тенденции ее дальнейшего развития.

Но и по линии «бытовой» Ленинград не стоит особняком. В истекшем году мы имели, с одной стороны, читинскую историю, с другой, — херсонскую. Разумеется, мы с Вами прекрасно понимаем, что читинские и херсонские мерзости именно крайностями своими представляют исключения. Но это исключения симптоматические. Могло ли бы твориться в Чите то, что там творилось, если бы там не было у верхушки особой замкнутой взаимной страховки на основе независимости от низов? Читали ли Вы расследование комиссии Шлихтера в Херсонщине? Документ в высшей степени поучительный — не только для характеристики ряда работников Херсонщины, но и для характеристики известных сторон партийного режима в целом. На вопрос о том, каким образом все местные коммунисты, знавшие о преступлениях ответственных работников, молчали в течение, кажется, двух-трех лет, Шлихтер получил в ответ: «А попробуй сказать, — лишишься места, вылетишь в деревню и прочее и прочее». Я цитирую, разумеется, по памяти, но смысл именно такой. И Шлихтер по этому поводу восклицает: «Как! До сих пор только оппозиционеры говорили нам, что их за те или другие мнения будто бы (?!) снимают с мест, выбрасывают в деревню и прочее и прочее. А теперь мы слышим от членов партии, что они не протестуют против преступных действий руководящих товарищей из страха быть смещенными, выброшенными в деревню, исключенными из партии и прочее». Цитирую опять-таки по памяти. Должен по совести сказать, что патетическое восклицание Шлихтера (не на митинге, а в докладе Центральному Комитету!) поразило меня не меньше, чем те факты, которые он обследовал в Херсонщине. Само собою разумеется, что система аппаратного террора не может остановиться только на так называемых идейных уклонах, реальных или вымышленных, а неизбежно должна распространиться на всю вообще жизнь и деятельность организации. Если рядовые коммунисты боятся высказать то или другое мнение, расходящееся или грозящее разойтись с мнением секретаря бюро, губкома, райкома, укома и прочее, то эти же рядовые коммунисты будут еще более бояться поднимать свой голос против недопустимых и даже преступных действий руководящих работников. Одно тесно вытекает из другого. Тем более, что подмоченный в моральном отношении работник, отстаивая свой пост, или свою власть, или свое влияние, неизбежно подводит всякое указание на свою «подмоченность» под тот или другой очередной уклон. В такого рода явлениях бюрократизм находит свое наиболее вопиющее выражение. Но когда Шлихтер — не на митинге, не в дискуссии, а в секретном докладе своему ЦК — возмущается тем, что, с одной стороны, оппозиционеры утверждают, будто бы (будто бы!) их снимают с постов и в виде наказания отправляют в деревню, а с другой стороны, рядовые коммунисты ссылаются на режим механической расправы в оправдание своего молчания перед лицом совершаемых преступлений; когда Шлихтер приводит эти ссылки и объяснения и высокоофициозно возмущается по поводу них, даже не пытаясь задуматься о причинах, то есть о «действительном положении вещей», то он, официальный расследователь, дает, пожалуй, наиболее вопиющее выражение бюрократической слепоты.

Вы осуждаете сегодня ленинградский режим, преувеличивая при этом его аппаратность, то есть изображая дело так, будто между верхушкой и массами нет ровно никакой идейной связи. Здесь Вы впадаете в ошибку, прямо противоположную той, в какую впадали, когда политически и организационно шли за Ленинградом, — а это было совсем недавно. Исходя из этой ошибки, Вы хотите вышибить клин клином, чтобы в борьбе против ленинградских «аппаратчиков» ...еще туже подвинтить все гайки аппарата. Ведь в резолюции 5 декабря 23 года мы вместе с Вами писали, что бюрократические тенденции в партийном аппарате неизбежно порождают, в качестве реакции, фракционные группировки. А с того времени мы имели достаточно случаев убедиться, что аппаратная борьба с фракционными группировками усугубляет бюрократические тенденции в аппарате. Чисто аппаратная, ни перед какими организационными и идейными средствами не останавливающаяся борьба против прежних «оппозиций» привела к тому, что все решения партийными организациями принимаются не иначе, как единогласно. Вы сами неоднократно в «Правде» прославляли это единогласие, выдавая его, вслед за Зиновьевым, за идейное единодушие. Но вот оказалось, что Ленинград «единогласно» противопоставил себя Москве, и Вы объявляете это результатом преступной демагогии насандаленного ленинградского аппарата. Нет, дело глубже. Вы имеете перед собою законченную диалектику аппаратного начала: единогласие вдруг превращается в свою противоположность. Теперь Вы открываете совершенно такую же, по старым типографским стереотипам, борьбу против новой оппозиции. Идейный круг руководящей партийной верхушки сжимается еще больше. Идейный авторитет неизбежно понижается. Отсюда вытекает потребность в усугублении аппаратного режима. Эта потребность втянула и Вас. Год или два тому назад Вы, по словам Каменева, «возражали». А сейчас Вы берете на себя инициативу, хотя Вас, по собственным Вашим словам, и трясет при этом с ног до головы. Позволяю себе сказать, что Вы лично являетесь в данном случае достаточно чутким и точным прибором для измерения степени бюрократизации партийного режима в течение последних двух-трех лет.

Я знаю, что некоторые товарищи, возможно, — и Вы в том числе, проводили до недавнего времени такого рода план: давать рабочим ячейкам возможность критиковать заводские, цеховые и районные дела, обрушиваясь в то же время со всей решительностью на всякую «оппозицию», идущую из верхних рядов партии. Таким путем предполагалось сохранить аппаратный режим в целом, найдя для него более широкую базу. Но этот опыт совершенно не удался. Методы и приемы аппаратного режима неизбежно идут сверху вниз. Если всякая критика ЦК и даже критика внутри ЦК приравнивается при всех условиях к фракционной борьбе за власть, со всеми вытекающими отсюда последствиями, то ЛК неизбежно будет проводить такую же политику по отношению к тем, кто критикует его в области его полномочий. Под ЛК имеются районы и уезды. Дальше пойдут кусты и коллективы. Объем организации не меняет основных тенденций. Критиковать красного директора, если он пользуется поддержкой секретаря ячейки, для членов заводского коллектива то же самое, что для члена ЦК, секретаря губкома или делегата на съезде критиковать ЦК. Каждая критика, если она касается жизненных вопросов, непременно кого-нибудь затрагивает, и критикующий непременно подводится под «уклон», под «склоку» или попросту под личное опорочивание. Вот почему во всех резолюциях о партийной и профсоюзной демократии приходится снова и снова начинать со слов: «Но несмотря на все резолюции, постановления и преподававшиеся указания, на местах и прочее и прочее». На самом же деле, на местах делается лишь то, что делается наверху. Аппаратным подавлением аппаратного ленинградского режима Вы придете лишь к созданию в Ленинграде режима еще худшего.

В этом нельзя сомневаться ни на одну минуту. Ведь не случайно в Ленинграде зажим был крепче, чем в других местах. В деревенских губерниях, с рассеянными и малокультурными ячейками, роль секретарского аппарата будет, уже в силу объективных условий, чрезвычайно велика. И с этим приходится считаться, как с неизбежным — и в нечрезмерных все же пределах — прогрессивным фактом. Иное дело в Ленинграде, с его высоким культурно-политическим уровнем рабочих. Здесь аппаратный режим может поддерживать

себя только путем усугубленного подвинчивания — с одной стороны, и демагогией — с другой. Громя аппаратом аппарат, прежде чем партийные массы Ленинграда, да и вся партия что бы то ни было поняли, Вы вынуждены эту работу дополнять контрдемагогией, которая чрезвычайно похожа на демагогию.

Я взял только тот вопрос, который Вы поставили в Вашей записке. Но сквозь вопрос о партийном режиме просвечивают большие социальные вопросы. Подробно останавливаться на них в этом и без того чересчур длинном письме я не могу, да и времени совсем нет. Но хочу надеяться, что Вы меня поймете с немногих слов.

Когда в 1923 году возникла оппозиция в Москве (без содействия местного аппарата, наоборот, — при его противодействии), то центральный и местный аппарат ударили Москву по черепу под лозунгом: «Нишкни! Ты не признаешь крестьянства». Сейчас вы таким же аппаратным путем бьете по черепу ленинградскую организацию и кричите: «Молчи! Ты не признаешь середняка». Таким образом Вы в двух основных центрах пролетарской диктатуры терроризируете сознание лучших пролетарских элементов, отучая их выражать вслух не только свои мысли, правильные или неправильные, но и свою тревогу по общим вопросам революции и социализма. А в деревне элементы демократии несомненно усиливаются и укрепляются. Разве Вы не видите всех вырастающих отсюда опасностей?

Еще раз: я затронул только одну сторону гигантского вопроса о дальнейших судьбах нашей партии и революции. Я лично благодарен Вам за то, что Ваша записочка дала мне повод высказать Вам эти мысли. Для чего? С какой целью? А я, видите ли, думаю, что возможен — и необходим и обязателен — переход от нынешнего партийного режима к более здоровому — без потрясений, без новых дискуссий, без борьбы за власть, без «троек», «четверок» и «девяток» — путем нормальной и полнокровной работы всех парторганизаций, начиная с самого верху, с Политбюро. Вот для чего, Николай Иванович, я написал это длинное письмо. Я вполне готов к продолжению нашего объяснения, которое — я хотел бы надеяться — не затруднит, а хоть отчасти облегчит путь к действительно коллективной работе в Политбюро и в ЦК, без чего не будет коллективной работы и во всех нижестоящих партийных организациях. Само собою разумеется, что это письмо ни в каком случае и ни в малейшей степени не есть официальный партийный документ, а частное, личное мое письмо к Вам в ответ на Вашу записку. Написано оно на машинке только потому, что продиктовано товарищу-стенографу, безусловная партийность и выдержка которого стоят вне всякого сомнения.

Привет!

Ваш

Л. Троцкий

9 января 1926 года

II

Лично

Николай Иванович,

Пишу это письмо от руки (хотя и отвык), так как совестно диктовать стенографистке то, о чем хочу написать*.

Вы, конечно, знаете, что по линии Угланова против меня ведется в Москве полузакулисная борьба со всяческими выходками и намеками, которые я не хочу тут должным образом характеризовать.

Путем всяких махинаций — сплошь да рядом недостойных, роняющих организацию — мне не дают выступать на рабочих собраниях. В то же время по рабочим ячейкам систематически пускается слух о том, что я читаю «для буржуазии», а перед рабочими выступать не хочу.

Теперь слушайте, что вырастает на этой почве — и опять-таки совсем не случайно. Дальше цитирую дословно письмо рабочего-партийца.

«У нас в ячейке ставится вопрос о том, почему Вы устраиваете платные доклады. Цены билетов на эти доклады очень высоки, рабочие не могут пойти на это. Следовательно, туда ходит только одна буржуазия. Секретарь нашей ячейки объясняет нам в беседах, что за эти доклады вы берете в свою пользу плату, проценты. Он нам говорит, что за каждую свою статью и подпись Вы также берете плату, что у Вас семья большая и, дескать, не хватает на жизнь. Неужели члену Политбюро нужно продавать свою подпись?» и прочее и прочее.

Вы спросите: не вздор ли? Нет, к горю нашему, не вздор. Я проверил. Сперва хотели написать такое письмо в ЦКК (или ЦК) несколько членов ячейки, но потом отказались со словами: «выгонят с завода, а мы семейные»... Таким образом у рабочего-партийца создался страх, что если он попытается проверить гнуснейшую клевету про члена Политбюро, то его, члена партии, за обращение в партийном порядке могут прогнать с завода. И знаете: если б он спросил меня, я не мог бы сказать по совести, что этого не будет.

Тот же секретарь той же ячейки говорил — и опять совсем не случайно, — «в Политбюро бузят жиды». И опять — никто не решился об этом никуда сказать — по той же самой, открыто формулируемой причине: выгонят с завода.

Еще штришок. Автор письма, которое я выше цитировал, рабочий-еврей. Он тоже не решился написать о «жидах, агитирующих против ленинизма». Мотив такой: «если другие, неевреи, молчат, то мне неловко...» И этот рабочий, написавший мне запрос, — правда ли, что я продаю буржуазии свои речи и свою подпись? — теперь тоже ждет с часу на час, что его выгонят с завода. Это факт. А другой факт — тот, что н я не уверен, что этого не случится. Не сейчас, так через месяц; предлогов хватит. И все в ячейке знают, что «так было, так будет» — и втягивают голову в плечи.

Другими словами: члены коммунистической партии боятся донести партийным органам о черносотенной агитации, считая, что их, а не черносотенца, выгонят.

Вы скажете: преувеличение! И я хотел бы думать, что так. Так вот я Вам предлагаю: давайте поедем вместе в ячейку и проверим. Думаю, что нас с Вами — двух членов Политбюро — связывает все же кое-что, вполне достаточное для того, чтобы попытаться спокойно и добросовестно проверить: верно ли, возможно ли, что в нашей партии, в Москве, в рабочей ячейке, безнаказанно ведется гнусная клеветническая, с одной стороны, антисемитская — с другой, пропаганда, а честные рабочие боятся справиться, или проверить, или попытаться опровергнуть глупости, — чтоб не выгнали с семьями на улицу.

Конечно, Вы можете отослать меня к «инстанциям». Но это значило бы только: замкнуть порочный круг.

Я хочу надеяться, что Вы этого не сделаете, и именно этой надеждой продиктовано настоящее мое письмо.

Ваш

Л. Троцкий

4 марта 1926 года

III

Николай Иванович, хотя из вчерашнего заседания Политбюро мне стало совершенно ясно, что в Политбюро окончательно определилась линия на дальнейший зажим, со всеми вытекающими отсюда последствиями для партии, но я не хочу отказаться еще от одной попытки объяснения, тем более, что Вы сами мне предложили переговорить о создавшемся положении. Сегодня я целый день — до 7 часов вечера — буду ждать Вашего звонка. После 7 часов у меня Главконцесском.

Л. Троцкий

19 марта 1926 года

---

* Текст письма представляет собой машинописную копию. Вероятно, Троцкий написал письмо от руки, а затем сделал с него машинописную копию. Может быть и наоборот — Троцкий сначала составил машинописный текст, а затем уже переписал письмо от руки и послал Бухарину.

ВОЗВРАЩЕННАЯ КНИГА



И. Р. Шафаревич

В жизни книгоиздателей бывают волнующие моменты, когда чувствуешь, что твой труд обретает особый смысл. Это происходит в тех редчайших случаях, когда культурный, духовный вес выпускаемой книги значительно превосходит неизбежный средний уровень книжной продукции. Таков готовящийся в издательстве «Советский писатель» сборник литературных трудов, принадлежащих перу выдающегося ученого, оригинального русского мыслителя и талантливого литератора Игоря Ростиславовича Шафаревича. Судьба дала мне, редактору этого издания, возможность представить нашим соотечественникам явление столь неожиданное и значительное, что его можно было бы сравнить, пожалуй, лишь с внезапным открытием доселе неизвестного представителя русской общественной мысли XIX века. А между тем, речь идет о нашем современнике.

Лауреат Ленинской премии, член-корреспондент АН СССР, действительный член многих иностранных академий и научных обществ, лауреат премии Хайнемана, всемирно известный математик и исследователь в области истории и социологии, видный общественный деятель И. Р. Шафаревич в нашей стране был до недавнего времени известен лишь узкому кругу специалистов и читателей «самиздата», хотя основные литературно-философские, исторические и публицистические работы его вот уже более пятнадцати лет переводятся и выходят во многих странах мира, кроме Советского Союза.

В чем же дело? Почему таким долгим и трудным оказался путь его произведений к советскому читателю? Ведь большинство литературных работ И. Р. Шафаре́вича до сих пор не опубликованы в нашей стране. И это несмотря на снятие жесткой идеологической цензуры, несмотря на то, что на нашего читателя буквально обрушился вал разносортной, ранее не публиковавшейся литературы. Почему же только теперь, на пятом году перестройки появилась возможность открыть читателю творчество Игоря Шафаревича?

Ответ на этот вопрос многосложен, как многосложна сама историческая ситуация, в которой мы все находимся. Сегодня, когда самой резкой критикой практического, «реального» социализма уже никого не удивишь, когда мы без обиняков признали, что чудовищных человеческих жертв, культурных, экономических и экологических потерь у нас могло бы и не быть, что все они так или иначе связаны с гигантским экспериментом по построению социализма «в отдельно взятой стране», под какими бы псевдонимами на разных этапах этот эксперимент ни выступал, критика теоретических основ социализма все еще для нас внове. Да, выхолащивание истории и догматизм в общественных науках многократно публично осуждены. Однако дальше дело не движется, ибо не свободно от инерции само наше мышление. Несвободны мы и от глубоко засевшего за годы репрессий, генетически унаследованного страха перед любым смелым высказыванием в той области, где еще недавно безраздельно царили бдительные церберы от идеологии.

Но как же развивать теорию без критики? Такая страшащаяся критики теория не имеет не только права на практическое применение в масштабах гигантской страны, но не имеет и права называться таковою в научном смысле у нас и в других странах.

Честная и глубокая критика Игоря Шафаревича не скрывает своих христианских позиций, своей опоры на общечеловеческую нравственность и, стало быть, на приоритет общечеловеческих ценностей. Она идет рука об руку с правдой, не отступает перед осмыслением любых исторических фактов, перед необходимостью и обязанностью вникнуть в корневые причины этих фактов, подвергнуть сомнению некоторые общепринятые постулаты.

В наиболее фундаментальной своей работе «Социализм как явление мировой истории» (опубликованной в Париже в 1977 г.), опираясь на многочисленные источники, автор разворачивает перед читателем неожиданную, своеобразно осмысленную картину истории человечества, формулирует целостную концепцию происхождения и развития тех общественных течений, которые привели к глобальным процессам и катастрофам XX века. Картина эта обладает убедительностью художественного произведения, в то же время она безупречно исторична, от нее веет правдой документа, в ней отражается неумолимая логика ответственного мыслителя и мировоззрения философа. Эту картину и концепцию можно принимать или не принимать, стремиться отыскивать в ней изъяны, можно и, наверное, нужно искать другие объяснения логики исторических событий, но обойти ее, сделать вид, что такого явления историко-философской мысли не существует, думается, было бы худшей из форм умственной слепоты... В нынешний стремительный и вместе с тем кризисный период нашего общественного развития догматизм, сознательное сужение горизонтов — наиболее верный путь в очередной тупик, из которого мы можем и не успеть выбраться. Наоборот, всякое освобождение от шор, обретение широты взгляда, открытие новых интересных воззрений — историческая необходимость, независимо от того, как примем мы столь неожиданную точку зрения: с уважением к ее автору, скептически или даже с раздражением и отрицанием. Важно лишь, чтобы знакомство с ней происходило в искреннем стремлении к истине. В ровном свете безупречной «математической» логики и христианской морали парадоксальные выводы, к которым приходит автор, кажутся неопровержимыми. Книга эта, посвященная глобальным тайнам бытия, сама в значительной степени оставляет впечатление духовной загадочности. Подобных книг, возбуждающих столь сильные мысли и чувства, на мой взгляд, в истории не так уж много — единицы.

Очень интересна и неожиданна по мысли новая работа Игоря Шафаревича «Две дороги к одному обрыву», посвященная беспощадному анализу современного западного общества, машинной цивилизации с ее потребительским технологическим идеалом, порабощающим духовный мир человека. Этой работе повезло в нашей стране больше, будучи написанной совсем недавно, она уже вышла в седьмой книжке «Нового мира» за этот год.

Третья крупная работа И. Шафаревича, написанная в конце 70-х годов и опубликованная у нас в 1989 году — «Русофобия» тоже известна нашему читателю. Она посвящена наиболее острым проблемам межнациональных отношений.

Отдельный раздел сборника объединяет публицистические статьи, выступления, эссе и интервью И. Р. Шафаревича, данные в разное время по разным поводам. Сюда же помещены несколько обращений к общественности в защиту наших национальных святынь и конкретных людей, несправедливо или незаконно преследовавшихся в годы застоя. Все это не только и не столько документы времени, но прежде всего незаурядные литературные произведения, в которых автор предстает то тонким ценителем и критиком явлений культуры (эссе о творчестве Д. Шостаковича и Д. Андреева), то мастером литературного портрета (очерк об академике Л. С. Понтрягине), то страстным и непримиримым к злу публицистом, борющимся за спасение духовных и нравственных ценностей, против произвола в психиатрии, защищающим от неправого преследования отдельных людей. Думается, что знакомство с этим разделом будет своеобразной школой гражданского мужества.

Нет сомнения, что этим сборником издательство откроет русскому и советскому читателю целостную систему взглядов национального духовного мыслителя, гражданина и писателя, озабоченного всеми современными болями своего Отечества, искренне и мощно ратующего за его возрождение.

Д. МЕРКУЛОВ

Журнал «Слово» публикует одну из глав книги «Социализм как явление мировой истории». В первом номере 1990 г. будет помещена беседа с И. Р. Шафаревичем о наиболее острых проблемах современности.

Воплощение социалистического идеала

Игорь ШАФАРЕВИЧ

Такое грандиозное движение, как социализм, *в принципе* не может быть построено на обмане. При всем изобилии находящихся на поверхности демагогических приемов, в глубине такие движения бывают честными, они прокламируют свои *основные* принципы явно — для всех, кроме тех, кто сознательно старается их не слышать. А те положения социалистической идеологии, которые мы формулировали в § 1, столь постоянно и стереотипно возникали на громадном отрезке истории, что явно относятся к числу основных. И кроме того, часто они высказывались в произведениях не вождей народных движений, но кабинетных мыслителей, как Платон или Кампанелла, которых очень трудно заподозрить в агитационно-демагогических тенденциях и которые, очевидно, воспроизводили весь комплекс основных социалистических представлений ввиду внутренней логики этого мировоззрения.

Дальше мы приведем ряд конкретных аргументов в пользу нашей точки зрения. При их обсуждении нельзя, однако, забывать, что значительные различия в духе социалистических учений и практике социалистических государств — неизбежны, речь может идти лишь о ПРИНЦИПИАЛЬНОМ совпадении провозглашаемых ими идеалов. Вождь народного социалистического движения и деятель социалистического государства сталкиваются с различными практическими задачами. Чем в более яркой и радикальной форме выразит свой идеал первый из них, тем его идеи будут доходчивее и заразительнее. Второй же вынужден бороться с рядом конкретных, жизненных трудностей, ограничивающих его возможность последовательного воплощения в жизнь своей идеологии, иногда грозящих самому существованию его государства. В качестве одного из таких ограничений, которые жизнь накладывает на осуществление социалистического идеала, мы укажем на необходимость контактов с другими, иначе организованными обществами. Изоляция как условие существования социалистического государства наличествует в большинстве социалистических утопий. Мор, Кампанелла, Веррас и многие другие авторы утопий помещали свои государства на отдаленных, труднодоступных островах. Веррас, например, специально оговаривает, что лишь самые проверенные из севарамбов отправляются в «командировки» во внешний мир с целью ознакомиться с новыми техническими достижениями, но и то лишь при условии, что дома в виде заложников остаются их семьи. Организаторы же «Заговора Равных» предлагали оградить Францию после победы «колючими изгородями препятствий». Прочность системы, сложившейся в государстве иезуитов, в значительной степени зависела от изолированности этой области, окруженной горами и порожистыми реками. Неожиданно высокое развитие ремесла в их государстве при очень примитивном уровне остальной жизни, по-видимому, имело основной целью сделать страну независимой от внешнего мира. С другой стороны, нарушение изоляции стало причиной гибели империи инков, павшей от горсточки испанских авантюристов. Не в предчувствии ли этих трудностей причина столь болезненного вопроса о «построении социализма в одной стране»? — вопроса, на который Энгельс некогда дал такой категорический ответ:

«19-й вопрос. Может ли эта революция произойти в одной какой-нибудь стране?

Ответ. Нет» (Здесь и далее: К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. М. — Л., 1929—1931), (т. V, с. 476).

Благодаря уже одной этой причине не обладающее достаточной изолированностью социалистическое государство вынуждено отказаться от проведения в жизнь наиболее радикальных частей социалистического идеала. Наоборот, в то время, когда социалистическое движение находится на подъеме, захватывает все большие области и манит надеждой разрушения старого строя во всем мире — тогда социалистические государства и в своей практической деятельности оказываются гораздо радикальнее. С этой точки зрения исключительно интересной для понимания особенностей социалистической идеологии представляется эпоха «военного коммунизма» — возникшие тогда под влиянием надежды на победу мировой (или хотя бы общеевропейской) революции импульсы продолжали действовать еще до середины 20-х годов. Здесь мы, по необходимости бегло, приведем несколько примеров того, как мыслилось в ту эпоху воплощение в жизнь социалистических принципов.

Сам термин «военный коммунизм» может ввести в заблуждение, создать впечатление, что речь идет о вынужденных мерах, продиктованных военным временем (такой взгляд высказывает, например, Сталин в «Вопросах ленинизма»). Однако когда эта политика реально проводилась (1918—1921 гг.), такой термин как раз и не употреблялся, он именно и появился вместе с представлением о ее временности и вынужденности. В ряде выступлений 1921—1922 гг. Ленин характеризует политику предшествующих трех лет как сознательно проводившуюся, но может быть слишком далеко зашедшую, сравнивает ее со штурмом крепости, который, если он не приносит победы, надо заменить планомерной осадой. Например:

«...наша предыдущая экономическая политика, если нельзя сказать рассчитывала (в той обстановке вообще рассчитывали мало), то до известной степени предполагала, — что произойдет непосредственный переход старой русской экономики к государственному производству и распределению на коммунистических началах»

Это был, по мнению Ленина, необходимый эксперимент, заставивший перейти к новой политике «государственного капитализма», что, правда, еще в виде смутной идеи, рассматривалось и в 1918 г. как возможная линия отступления. (См. «НЭП и задачи политпросветов», «Доклад о НЭП'е на VII Московской Губпартконференции», «Пять лет Российской революции и перспективы мировой революции»)

Подобные же высказывания многих руководителей государства, а также то, что наиболее радикальные меры той эпохи были приняты весной 1920 г. и зимой 1920-21 гг., когда военных действий как раз не было, приводят к выводу, что тогдашняя политика не вынуждалась условиями гражданской войны, но в течение трех лет проводилась из общетеоретических соображений.

Перейдем к более подробному обзору этой политики.

а) Экономика

Вся промышленность была национализирована, вплоть до мелкой. Она была «сверхцентрализована», объединена в Главки, в которых отдельные заводы были лишены всякой хозяйственной самостоятельности. В сельском хозяйстве целью была объявлена наиболее радикально осуществленная коллективизация. В постановлении ВЦИК от 1 марта 1919 г. «О социалистическом землеустройстве и мерах перехода к социалистическому земледелию» говорится: «на все виды единоличного землепользования следует смотреть как на преходящее и отмирающее». Наиболее покровительствуемой формой организации крестьянского труда была коммуна. Например, в том же постановлении, в разделе об очередности отвода земли, совхозы и коммуны стоят на первом месте. В резолюции «О коллективизации земледелия», принятой I Всероссийским съездом земотделов, комитетов бедноты и коммун, говорится: «Главнейшей задачей является проведение широкой организации земледельческих коммун, советских коммунистических хозяйств и общественной обработки земли, которые в своем развитии неизбежно приведут к единой коммунистической организации сельского хозяйства».

В коммуне обычно обобществлялись все средства производства: постройки, инвентарь, рабочий и продуктивный скот, землепользование и т. д., но также и потребление и бытовое обслуживание. О том, как мыслилась жизнь в коммунах, можно судить по рассказам об образцовых коммунах, печатавшихся уже при НЭП'е, в 1923 г., в «Известиях» в разделе «Конкурс на лучший колхоз». Там мы встречаем такие характеристики: «Денег собственных никто не имеет, все они хранятся в общей кассе» (номер от 11.IX). Участники живут в отдельных избах и столуются отдельно. Но с постройкой нового дома «все индивидуальное будет изжито. Внутренне оно уже почти изжито» (5. IX). В коммуне общий дом для жилья, столовая и кухня (8. IX). «О работе и еде извещают звонки». Едят в общественных столовых. Живут в общежитии, где каждая семья имеет свою комнату. «Пока что дети живут вместе с родителями, уходя только на день в детский сад. Только из-за отсутствия постельных принадлежностей не проведено в жизнь полное интернирование детей» (11. IX). «Дети дошкольного возраста живут отдельно и отдельно же питаются».

Сельскохозяйственные продукты поступали государству через продразверстку. Они оплачивались по государственным ценам, в несколько десятков раз более низким, чем цены черного рынка, то есть фактически изымались даром. Как говорится деликатно в статье Большой Советской Энциклопедии, «хозяйственные отношения города и деревни фактически носили односторонний характер». И в других областях реквизиции и конфискации были регламентированы. Декрет СНК от 16.IV. 1920 г. разрешает их производить Президиуму Высшего Совета Народного Хозяйства и Народного Комиссариата Продовольствия — как непосредственно, так и через их местные органы. В 1920 г. декретом СНК от 4.XII был санкционирован бесплатный отпуск населению продовольственных продуктов (точнее говоря, тем группам населения, которые продуктами снабжались). Часто полная отмена денег формулировалась как ближайшая цель экономической политики. Ю. Ларин, возглавлявший отдел финансовой политики ВСНХ, писал: «И вот — тысячелетние устои товарного строя рушатся как карточный домик после первых же лет организационных усилий победившего пролетариата... Наши дети, выросши, будут знакомы с деньгами уже только по воспоминаниям, а наши внуки узнают о них только по цветным картинкам в учебниках истории» («Правда» от 17.X.1920 г., статья «Преобразование быта»). В органе ВСНХ «Народное Хозяйство» в статье Л. Оболенского говорилось: «В настоящее время в Советской России система безденежных расчетов является первым шагом по пути отмены денежного обращения вообще» (№ 1-2 за 1920 г.). «Натурализация хозяйства» — стало употребительным термином. «Правда» писала: «Тенденция **к всеобщей натурализации нашего хозяйства** должна сознательно проводиться нами со всей энергией» (14.11.1920 г.).

б) Организация труда

Напомним, что еще Маркс и Энгельс рекомендовали в числе основных мер, которые необходимо осуществить после социалистической революции, такую: «Одинаковая трудовая повинность для всех. Создание трудовых армий, в особенности для земледелия» (т. V, с. 502).

В записке «Десять тезисов о советской власти», представленной VII съезду партии, Ленин формулировал задачу: «Немедленный приступ к полному осуществлению всеобщей трудовой повинности с наиболее осторожным и постепенным распространением ее на мелкое, живущее своим хозяйством без наемного труда крестьянство» (Здесь и далее: ПСС, 5-е изд., т. 36, с. 74).

Более детально эта мысль была развита несколько позже.

На IX съезде партии, выступая с докладом от ЦК, Троцкий предлагал систему милитаризации, при которой рабочие и крестьяне были бы поставлены в положение мобилизованных солдат. Содержащаяся в докладе Троцкого концепция заслуживает того, чтобы сказать о ней подробнее.

Троцкий начинает с полемики с В. Смирновым, позицию которого излагает так:

«Поскольку мы перешли теперь к широкой мобилизации крестьянских масс, во имя задач, требующих массового применения, постольку милитаризация является безусловно необходимой. Мы мобилизуем крестьянскую силу и формируем из этой мобилизованной рабочей силы трудовые части, которые приближаются по типу к воинским частям. Мы даем командно-инструкторский состав, мы должны включить туда коммунистические ячейки, чтобы эти части не были бездушны, а были одухотворены желанием работать. Стало быть, это есть полное приближение к военной форме организации. Здесь слово «милитаризация» уместно, но, говорит тов. Смирнов, если мы перейдем в область промышленности, в область квалифицированного труда, где имеются профессиональные и производственные организации рабочего класса, там нет никакой надобности применять воинский аппарат для формирования частей, там не может быть и речи о милитаризации в указанном смысле слова, там есть профсоюзы и они выполняют задачу организации труда. В такой постановке вопроса сказывается полное непонимание существа того хозяйственного перелома, который происходит в настоящее время» (Девятый съезд РКП(б). М., 1960, с. 92).

Точка зрения, высказанная в докладе Троцким, такова:

«В военной области имеется соответствующий аппарат, который пускается в ход для принуждения солдат к исполнению своих обязанностей. Это должно быть в том или другом виде и в области трудовой. Безусловно, если мы серьезно говорим о плановом хозяйстве, которое охватывается из центра единством замысла, когда рабочая сила распределяется в соответствии с хозяйственным планом на данной стадии развития, рабочая масса не может быть бродячей Русью. Она должна быть перебрасываема, назначаема, командируема точно так же, как солдаты» (Там же, с. 93).

«Эта милитаризация немыслима без милитаризации профессиональных союзов как таковых, без установления такого режима, при котором каждый рабочий чувствует себя солдатом труда, который не может собою свободно располагать, если дан наряд перебросить его, он должен его выполнить; если он не выполнит — он будет дезертиром, которого — карают!» (Там же, с. 94).

По этому поводу Троцкий создает даже теорию:

«Ибо те доводы, которые здесь были направлены против организации трудовой армии, они целиком направляются против социалистической организации хозяйства в нашу переходную эпоху. Если принять за чистую монету старый буржуазный предрассудок, или не старый буржуазный предрассудок, а старую буржуазную аксиому, которая стала предрассудком, о том, что принудительный труд не производителен, то это относится не только к трудармии, но и к трудовой повинности в целом, к основе нашего хозяйственного строительства, а стало быть к социалистической организации вообще» (Там же, с. 97).

«Если труд организован на неправильном принципе, на принципе принуждения, если принуждение враждебно производительности труда, значит мы обречены на экономический упадок, как бы мы ни изворачивались. Но это есть предрассудок, товарищи! Утверждение, что свободный труд, вольнонаемный труд производительнее труда принудительного, было безусловно правильно в применении к строю феодальному, строю буржуазному» (Там же, с. 98).

«Но это развитие производительности труда подготовило смену хозяйства капиталистического на новое коммунистическое, и по отношению к этому новому колоссальному историческому изменению применить то, что было правильно по отношению к старому положению, значит оставаться в рамках буржуазных и мещанских предрассудков. Мы говорим: это неправда, что принудительный труд при всяких обстоятельствах и при всяких условиях не производителен» (Там же, с. 98).

Еще на бóльшую теоретическую высоту вопрос был поднят в книге Бухарина «Экономика переходного периода» (М., 1920). Внеэкономическое принуждение рассматривается там не как вынужденная военным временем мера, но как органическая черта переходного периода от капитализма к социализму. В главе X под названием «Внеэкономическое принуждение в переходный период» говорится: «...по отношению к некулацкой крестьянской массе принуждение со стороны пролетариата есть классовая борьба, поскольку крестьянин есть собствен-

ник и спекулянт». Но вопрос, оказывается, имеет и более высокий аспект: «С более широкой точки зрения, пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи».

Эти построения далеко не были чистой теорией. Всеобщая трудовая повинность действительно была объявлена. Вместо отмененных паспортов для всего трудоспособного населения были введены трудовые книжки. В Москве и Петрограде всякий, выходя на улицу, был обязан иметь трудовую книжку при себе. К моменту введения НЭП'а было организовано 8 трудовых армий.

Те же мысли Троцкий развил подробнее в своей книге, направленной против Каутского. Здесь мы находим опять идею милитаризации, трудармии и теорию о том, что в новых условиях, созданных диктатурой пролетариата, принудительный труд становится производительнее свободного. Троцкий подкрепляет эту концепцию такой многозначительной аналогией:

«Даже крепостная организация была при известных условиях прогрессом и вела к увеличению производительности труда»

в) Семья

Как практические действия, так и теоретические размышления в этой области базировались в то время на марксистских концепциях, наиболее полно изложенных в книге Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Взгляд его иа современную семью таков:

«Моногамия возникла вследствие сосредоточения больших богатств в одних руках — притом в руках мужчины — и из потребности передать эти богатства по наследству детям именно этого мужчины, а не кого-либо другого» (т. XVI, с. 56).

О будущем семьи он говорит: «С переходом средств производства в общественную собственность индивидуальная семья перестанет быть хозяйственной единицей общества. Частное домашнее хозяйство превратится в общественную отрасль труда. Уход за детьми и их воспитание станут общественным делом: общество будет одинаково заботиться обо всех детях, будут ли они брачными или внебрачными» (т. XVI, с. 57).

Казалось бы, раз семья лишается всех социальных функций, с точки зрения исторического материализма она необходимо должна исчезнуть. «Коммунистический Манифест» действительно прокламирует уничтожение «буржуазной семьи». Что же займет ее место? Ответы классиков марксизма на этот вопрос поражают своей двусмысленностью. Мы уже обращали внимание иа то место из «Манифеста», где авторы, говоря о том, что коммунистов обвиняют в желании ввести общность жен, явно уклоняются от того, чтобы прямо опровергнуть это обвинение. В другом документе, использованном Марксом при составлении «Манифеста», «Протоколах немецкого рабочего общества самообразования», говорится:

«Вопрос 20-й: Будет ли вместе с уничтожением частной собственноти провозглашена общность жен? Ответ: Ни в коем случае. Мы будем вмешиваться в частные отношения между мужчиной и женщиной лишь постольку, поскольку они будут нарушать новый общественный строй. Мы очень хорошо знаем, что семейные отношения в ходе истории подвергались изменениям в зависимости от фаз и развития собственности и что поэтому и уничтожение частной собственности окажет на них самое решительное влияние»

Здесь опять невозможно понять, что так решительно отрицает автор: то ли, что возникнет общность жен, или лишь то, что она будет «провозглашена» и введена путем вмешательства общества.

В «Происхождении семьи, частной собственности и государства», произведении, написанном в наименее радикальный период его деятельности, Энгельс утверждает:

«...она (моногамия) не только не исчезнет, но, напротив, только тогда полностью осуществится» (т. XVI, с. 57).

Каким же образом, если исчезнут ее экономические предпосылки? Ответ:

«Здесь вступает в действие новый момент... — индивидуальная половая любовь» (т. XVI, с. 57).

Но тщетно было бы ожидать, что основоположник исторического материализма даст нам материалистический анализ этого «момента». Это не биологическая категория, ибо

«До средних веков не могло быть и речи об индивидуальной половой любви». (?!) (т. XVI, с. 58)

Тогда можно было бы ожидать объяснения в духе «базиса» и «надстройки», вот где можно было бы показать, как этот «момент» «дается» «ручной мельницей»! Но вместо этого автор лишь загадочно указывает в качестве источника половой любви — иа прелюбодеяние, то есть фактор, который с очень большим трудом можно отнести к сфере производственных отношений. Чтобы еще более увеличить наши недоумения, в примечании в конце книги Энгельс с симпатией говорит о «блестящей критике цивилизации» у Фурье:

«Замечу только, что уже у Фурье моногамия и земельная собственность служат главными отличительными признаками цивилизации.» (т. XVI, с. 153).

Естественно, что эти общие принципы в первые послереволюционные годы были истолкованы очень неединообразно. Но одно объединяет большинство взглядов, высказывавшихся тогда: отношение к семье как к институту, противопоставляющему себя партии, классу или государству и в этом отношении опасному. Вот несколько примеров:

«Частные конфликты между интересами семьи и класса, хотя бы при стачках, при участии в борьбе, и та моральная мерка, которую в таких случаях применяет пролетариат, с достаточной ясностью характеризуют основу новой пролетарской идеологии... В ущерб индивидуальному счастью, в ущерб семье — мораль рабочего класса будет требовать участия женщины в жизни, развертывающейся за порогами дома» (А. Коллонтай).

«С того момента, как семья начинает себя противопоставлять обществу, замыкаясь в узкий круг своих чисто семейных интересов, оиа начинает играть консервативную роль во всем общественном укладе жизни. Такую семью мы, безусловно, должны разрушать». (Г. Григоров, С. Шкотов).

«Дух солидарности, товарищества, готовности отдаваться общему делу развит там, где нет замкнутой семьи. Это превосходно учитывалось вождями всех почти крупных общественных движений... В социалистическом строе, когда не станет домашнего хозяйства, а дети будут воспитываться за счет общества со дня рождения, вместо семьи, вероятно, создадутся другие формы союза полов». (И. Ильинский).

«В будущем социалистическом обществе, когда воспитание, образование и содержание детей отойдут от обязанностей родителей и всецело лягут иа обязанности всего общества, ясно, что должна отмереть и семья». (Семья и быт. Сб., 1927)

«Едва ли мы должны стремиться к особо устойчивой семье и под этим углом зрения рассматривать брак». (ВЦИК. 12-й созыв, 1925).

Практические же выводы из этой общей тенденции делались разные. Коллонтай призывала к развитию свободной любви с частой сменой партнеров:

«для рабочего класса большая «текучесть», меньшая закрепощенность общения полов вполне совпадает и даже непосредственно вытекает из основных задач данного класса».

В пьесе «Любовь пчел трудовых» и статье «Дорогу крылатому Эросу!» она наглядно развивала эти положения. Против них резко возражал Ленин (Клара Цеткин. «О Ленине»), Сольц:

«Беспорядочная половая жизнь несомненно ослабляет каждого как борца» («О партэтике»),

М. Н. Лядов (Мандельштам, один из старейших социал-демократов и большевик). Зато Лядов, например, призывал к отмене семейного воспитания детей:

«Можно ли коллективного человека воспитать в индивидуальной семье? На это нужно дать категорический ответ: нет, коллективно мыслящий ребенок может быть воспитан только в общественной среде... Каждый сознательный отец и мать должны сказать: если я хочу, чтобы мой ребенок освободился от того мещанства, которое сидит в каждом из нас, нужно изолировать ребенка от нас самих.. Чем скорее от матери будет отобран ребенок и сдан в общественные ясли, тем больше гарантий, что ребенок будет здоров»

Напомним и сообщения об «интернировании» детей в коммунах, которые мы приводили выше.

Наконец, предлагалось и далеко идущее вмешательство государства в семейные отношения. Этому давалось и историческое обоснование:

«там, где государство овладело всеми хозяйственными ресурсами, как в древнем Перу, оно стремилось поставить под свой контроль как самое заключение брака, так и семейную жизнь брачующихся» (И. Ильинский).

Предлагались и радикальные евгенические меры, например:

«... у нас есть все основания предполагать, что ко времени социализма деторождение будет уже изъято из-под власти стихии»,

с сомнительным утешением:

«Но это, повторяю, единственная сторона брака, которой, по нашему мнению, сможет коснуться контроль социалистического общества». (ВЦИК. 12 созыв. 1925, с.450).

Один из влиятельнейших деятелей того времени, Преображенский, писал:

«С точки зрения социалистической является совершенно бессмысленным взгляд отдельного члена общества иа свое тело как на свою безусловную личную собственность, потому что индивид есть лишь отдельная точка при переходе рода от прошлого к будущему. Но в десять раз более бессмысленным является такой взгляд на «свое» потомство».

Автор признает

«полное и безусловное право общества довести свою регламентацию до вмешательства в половую жизнь для улучшения расы путем естественного подбора».

Иногда, впрочем, вопрос ставился более радикально, чем во всех приведенных иами примерах. Так, ячейка ВЛКСМ литейного цеха Людиновского завода (Брянская организация) приняла резолюцию по докладу «О половых сношениях»:

«Половых сношений нам нельзя избегать. Если не будет половых сношений, то не будет и человеческого общества».

Практика, конечно, отставала от идеологии. Но все же был проведен ряд мер, идущих хотя и не столь далеко, но в том же направлении. Законодательство максимально упрощало заключение и расторжение брака, регистрация рассматривалась лишь как один из способов подтверждения брака (наряду, например, с его судебным подтверждением).

«... регистрация — пережиток старых буржуазных отношений, и ее в конце концов совсем не будет» (Выступление Ларина).

Развод давался по первому заявлению одной из сторон. Отцовство устанавливалось на основании заявления матери:

«Наша судебная практика... возлагала ответственность на всех ответчиков (смех), предоставляя женщине взыскивать с каждого... суд, как общее правило, будет руководствоваться указаниями истицы: кого укажет истица, того и суд признает отцом (смех)» (Выступление наркома юстиции Курского).

Новые дома не разделялись на отдельные квартиры, а строились в виде общежитий:

«И ни в коем случае нельзя обвинять тех рабочих и работниц, которые не хотят селиться в общих квартирах. Нужно постоянно иметь в виду, что прошлая жизнь рабочего класса глубоко уходила в буржуазное общество, строившееся на изолированности отдельных семей. Эта индивидуальная семья буржуазного общества — вот что стоит на пути коллективизации нашего быта» (Г. Григоров, С. Шкотов. Старый и новый быт. М. — Л., 1927).

Квартиры-общежития не имели, как правило, кухонь, так как предполагалось, что питаться все будут в столовых и «фабриках-кухнях». В записке «Десять тезисов о советской власти» Ленин предлагал:

«Неуклонные, систематические меры к (переходу к замене индивидуального хозяйничанья отдельных семей общим кормлением больших групп семей» (ПСС, т. 36, с. 75).

Общежития, питание в столовых, воспитание детей отдельно от родителей — осуществлялось в ряде коммун (ср. приведенные выше примеры).

Эти меры действительно привели к значительному ослаблению семьи. В цитированной книге (Г. Григорова, С. Шкотова) приводится письмо «ответственного работника комсомола»:

«Сейчас брак между комсомольцами почти не замечается».

Автор письма утверждает, что господствуют внебрачные половые сношения. Авторы книги упрекают его: но это и есть брак!

«Ведь для марксиста, казалось бы, сам факт половой связи должен свидетельствовать о брачных отношениях». (с. 164).

В Европейской части СССР, например, число браков на 100.000 с 1924 до 1925 г. упало с 1.140 до 980, а число разводов увеличилось со 130 до 150. В 1924 г. среди разводившихся состояли в браке меньше одного года на каждую 1.000: в Минске — 260, Харькове — 197, Ленинграде — 159 (для сравнения: в Токио — 80, Нью-Йорке — 14, Берлине — 11). Известно, каким бедствием была в то время детская беспризорность:

«Немалую долю теперешней детской беспризорности нужно отнести за счет того, что семья распадается, разваливается». (ВЦИК. 12 созыв. 1925, с. 255).

И криком души звучит:

«если мы пойдем таким путем, я опасаюсь, мы всю Россию превратим в сплошной всенародный брак». (Там же, с. 270).

г) Культура

В послереволюционную эпоху в рамках социалистической

Лагерная поэзия

Юрий Иванов ЧИРКОВ (1919—1988). Ученый-метеоролог, доктор географических наук, профессор. Впервые арестован будучи пятнадцатилетним школьником. На Соловках, куда он был направлен, находившиеся там заключенные интеллигенты, в том числе П. А. Флоренский, оказали огромное влияние на его научное и нравственное становление. В воспоминаниях он пишет: «на мое счастье, отправили меня в Соловки». В дальнейшем он имел еще два срока, но в перерывах между ними сумел окончить школу и институт и стал крупнейшим авторитетом в своей области. Стихи начал писать на Соловках.

* * *

Был тихий вечер, солнце село,
Заря сгорела без следа.
На небосводе потемнелом
Зажглась вечерняя звезда.

Чуть слышно волны шелестели
Внизу за каменной стеной.
Давно уж чайки улетели,
Их крик не нарушал покой.

И месяц, из-за стен поднявшись,
На башне шпиль посеребрил,
А под ногами лист опавший
Шаги неровные глушил.

Тишь кралась призраком разлуки,
Предчувствия сжимали грудь,
Друг другу в клятве сжавши руки,
Мы знали — ждет нас трудный путь.

Наивным нашим идеалам
Клялись быть верными всегда.
Темнела ночь, сильней сияла
Во мраке первая звезда!

И мы решили: каждый вечер
С тех пор, как, друг, нас разлучат,
До дня веселой нашей встречи
Звезду вечернюю встречать.

Чтоб свет ее спокойный, нежный,
Нас осенив в суровый час,
Соединил наш дух мятежный
И укрепил духовно нас...

Прошли года с последней встречи,
Не счесть загубленных тюрьмой!
И, словно траурные свечи,
Мерцают звезды над страной...

Но, как и прежде, каждый вечер
Звезды встречаю я восход,
Я верю: этот гнет не вечен,
И справедливость все ж грядет!
С тоской щемящей вспоминаю
Я боль и радость прошлых лет,
Но остров тот благословляю,
Где в грудь запал мне звездный свет.

Февраль 1940
Ухтижмлаг

Лев Платонович КАРСАВИН (1882—1952). Историк, один из крупнейших русских религиозных философов первой половины XX века. Арестован в 1950 году, отбывал заключение в инвалидном лагере в Абезе, где и умер. В «Венке сонетов», написанном в лагерной больнице, изложил главные тезисы своей философии, освещающие отношение Бога и человека. Публикуется заключительный сонет.

* * *

Ты всё один: что будет, и что было,
И есть, и то, что может быть. Тебе
Сияет всё, как на небе светило,
И движется, покорствуя Судьбе.

Безмерная в Тебе сокрыта сила.
Являешься в согласьи и борьбе
Ты, свет всецелый, свет без тьмы в себе.
И тьма извне Тебя не охватила.

Ты беспределен: нет небытия.
Могу ль во тьме кромешной быть и я!

Свой Ты предел — всецело погибая.
Небытный, Ты в Себе живешь как я,
Дабы во мне воскресла жизнь Твоя.
Ты — мой Творец. Твоя навек судьба — я.

(1950—1951)

Владимир Брониславович МУРАВЬЕВ (род. 1928). Писатель. Арестован в 1949 году, будучи студентом. В заключении — в 1949—1953 годах, срок отбывал в Вятлаге.

ФЕВРАЛЬ

Февраль, февраль — разгул ветров.
Леса топорщат черный гребень,
И дым негасущих костров
Клоками бродит в сером небе.

Дороги снова замело.
И снова крутит на рассвете
Слепящий, колкий, резкий, злой
Февральский беспощадный ветер.

Закурим, друг. Под этот вой
Не спится что-то, не поется.
Сейчас февраль. А нам с тобой
И март ничем не улыбнется.

1952

идеологии не раз возникали более или менее разработанные теории и проекты уничтожения культуры, науки, искусства. Некоторые из них вышли из среды анархистов. Так, в опубликованной в 1917 г. работе «Общественные идеалы современного человечества» анархист А. Боровой утверждает, что лишь через преодоление культуры возможно достижение анархистских идеалов. Чрезвычайно плодовитые в то время авторы — братья Гордины (анархисты, но в политической деятельности очень близкие к большевизму) провозглашают лозунг («клич») «Долой науку!», расшифровывая его как призыв к освобождению от угнетения логикой:

«Долой и духовное угнетение, насилие наукою, обманом, лжеубеждением!» «Долой науку — духовное государство и ее логическую власть и армию, логическое насилие...»
«Он (анархист — *авт.*) первым делом объявляет террор науке».

Вся книга посвящена сопоставлению и разоблачению двух суеверий — религии и науки. Так, авторы считают партию — церковью науки, университет — ее синагогой, философа — юродивым интеллекта.

«История культуры — это история нашего суеверия».
«История культуры однажды исполнила свою высокопочтенную роль могильщицы религии, служа ей и гробницей. Она должна будет это исполнить и по отношению к науке. После краха науки, после разочарования в ней как в истине, после ее угашения как «цивилизации» она должна стать «культурой», отправиться на покой в архив человеческого суеверия».

Вот их идеал:

«Так ныне истинный анархист, пананархист, перерастает свой мелкоотрицательный анархизм и, отрицая науку и социальную науку, он тем самым отрицает и свои собственные божки, свои аскетические мелкие идеалики, заменяя их одним большим разрушительно-отрицательным стремлением и разрушительно-отрицательной истиной, лежащей в самой основе его иннатуризма-афизизма, противонаучности»

Ссылаясь на марксизм, к еще дальше идущим выводам приходит Э. Энчмен в своей «Теории новой биологии» (1920 г.). Его работа, по духу очень напоминающая Фурье, содержит грандиозный план биологического перерождения людей путем изменения структуры их сознания через серию «органических катаклизмов».

«Революционно-Научный Совет Мировой Коммуны осуществит органические катаклизмы и в массах восставших и, последовательно, средствами насилия в консервативных организмах недавних угнетателей и их приспешников...»

В результате этих катаклизмов в сознании людей исчезают почти все понятия:

«полностью гибнут все теории логики, теории познания, научной методологии, все вообще теории социальные и социологические, фигурирующие еще под именем гуманитарных, все вообще старобиологические теории и т. д. и т. д.»

и заменяются всего пятнадцатью понятиями (автор называет их «анализаторами»). Дальше он рассказывает:

«как прошлое человечество, расчлененное на тысячи групп различно реагирующих людей, — групп больше и меньше «образованных» и «культурных» и совсем «необразованных и некультурных», — при коммунистическом хозяйстве объединится, совершенно уравнится проникновением во все человеческие организмы нового, одного и того же сочетания 15 анализаторов... как эпоха коммунизма будет рассматриваться коммунистическим человечеством не по современной художественной формуле: «с каждого по его способностям, каждому по его потребностям», а как эпоха полного уравнения всех человеческих организмов в напряжении «непрерывной радостности»... как коммунистическое хозяйство будет основано на системе «физиологических паспортов» для всех человеческих организмов, ...как такой «физиологический паспорт» будет служить для организма, выражаясь современным языком, «карточкой» одновременно и на труд и на потребление, в широком смысле этих слов...»

Бухарин посвятил критике «энчменизма» статью в сборнике «Атака». Другой автор А. Столяров, также нападавший на Энчмена, объясняет это так:

«Разумеется, Энчмен не заслуживал бы внимания, если бы энчменизм не собрал вокруг себя части учащейся молодежи».
«Одно время среди нашей учащейся и, в частности, партийной молодежи получило довольно значительное распространение учение некоего Эммануила Энчмена».

Если в отношении всей культуры подобные призывы были эпизодическими, то в отношении искусства и философии они составляли систему. Одно из самых влиятельных течений — «ЛЕФ» («Левый фронт искусств») прокламировало превращение искусства в отрасль материального производства. Виднейший теоретик этого направления Б. Арватов писал:

«... цель лефов превратить все искусство в строительство материальной культуры общества в тесном контакте с инженерией»
«Базируясь на общей со всеми прочими областями жизни технике, художник проникается идеей целесообразности, будет обрабатывать материал не в угоду субъективным вкусам, а согласно объективным задачам производства»
«При такой структуре художественного труда отдельные художники становятся сотрудниками инженеров, ученых, администраторов, организуя общий продукт, руководясь не личными побуждениями, а объективными потребностями общественного производства, выполняя задания класса в лице его организационных центров»

В итоге видится такой результат:

«Согласно предыдущему, можно утверждать, что в организованном, целостном социалистическом строе изобразительное искусство как особая специальная профессия отомрет»

В духе той же тенденции враждебно воспринималось отражение в литературе человеческой личности, «психологизм» стандартно считался «буржуазным». Вот несколько типичных суждений О. Брика в статье «Разгром Фадеева»:

«Нужно поставить перед литературой задачу: давать не людей, а дело, заинтересовывать не людьми, а делами. Мы ценим человека не по тому, что он переживает, а по той роли, которую он играет в нашем деле. Поэтому интерес к делу для нас основной, а интерес к человеку — производный».

Б. Кушнир в статье «Причины отставания»:

«При всех трансформациях лозунг «живого человека» всегда сохранял неизменной свою классовую сущность». «Согласно этому учению, автор должен не только продумать психологию и систему своих персонажей, но и поставить себя на место каждого из них, как бы в них «перевоплотиться». Дело это, очевидно, тяжелое, длительное и очень вредное. Такое перевоплощение в природу своих персонажей едва ли может содействовать обострению классовой бдительности и классовой зоркости автора. Персонажи-то ведь разные бывают. Попадаются среди них и прямые враги рабочего класса» (с. 85).

Н. Нусинов:

«Чем писатель был правее, тем больше у него было стремления психологизировать явления».

И. Альтман в статье «Из биографии живого человека»:

«...Разоблачить до конца оппортунистическое содержание лозунгов психологизма, «живого человека», мешающих решительному и победоносному продвижению вперед пролетарской литературы».

Отрицательное отношение к философии поддерживалось сверх того ссылками на классиков марксизма. Так, еще Каутский писал:

«Маркс не провозгласил никакой философии, а конец всякой философии».

У нас взгляд на философию как на «продукт буржуазии», «полу-религию», «интеллектуальный атавизм» развивали С. Минин, в частности, в статье «Философию за борт» (1922), и П. П. Блонский.

д) Религия

Судьба религии в те годы пестрит чертами, не имеющими параллелей ни в нашей, ни в мировой истории. Изучение этой стороны жизни, безусловно, пролило бы свет на многие, еще не ясные аспекты эпохи военного коммунизма. Здесь очень нужны систематические исследования.

Тогда была предпринята самая решительная попытка полного уничтожения Русской Православной Церкви (в связи с так называемой «кампанией» по изъятию церковных ценностей»). В то время собирались суды над Богом, и Он приговаривался к смерти всеобщим голосованием. На Пасху организовывались демонстрации с кощунственными изображениями и лозунгами..

Этот крайне фрагментарный обзор «военного коммунизма» все же дает, быть может, некоторое представление о том интересном времени. Мы встречаем там цельную систему взглядов и государственных мероприятий, гораздо более радикальных, чем можно обнаружить в любом известном нам социалистическом государстве.

Если это и самый яркий, то все же не единственный пример подъема радикальных тенденций в социалистическом государстве.

Только продолжающийся голод и разруха в условиях «капиталистического окружения» заставили отказаться от этой системы. Новая экономическая политика была отступлением, и нельзя не поверить искренности тогдашних заявлений о том, что это отступление планировалось как временное. Оно и оказалось временным. Сталин издал закон, угрожающий тюремным заключением рабочим и служащим за неявку и даже за опоздание на работу: они были «милитаризованы». В последние годы жизни Сталина все большая часть науки и техники реорганизовывалась в форме «шарашек» — министерство безопасности владело многочисленными заводами, научными институтами. В уме Сталина вставало видение еще более коренных изменений жизни.

В написанном в последний год его жизни произведении «Экономические проблемы социализма» Сталин высказывает мысль, что товарное производство и деньги противоречат тенденциям социалистического государства. Он считал также, что и собранные в колхозы крестьяне недостаточно зависимы от государства. Сталин видел это, например, в том, что колхозы владеют семенами, а свою продукцию продают государству (хотя бы и в установленном им размере и по назначенным им ценам).

«Но было бы непростительной слепотой не видеть, что эти явления вместе с тем теперь уже начинают тормозить мощное развитие наших производительных сил, поскольку они создают препятствия для полного охвата всего народного хозяйства, особенно сельского хозяйства, государственным планированием» (с. 68). Он предлагает новую систему организации хозяйства, при которой торговля была бы заменена «системой продуктообмена», а вся экономическая жизнь еще больше поставлена под контроль государства.

«Но вводить ее нужно неуклонно, без колебаний, шаг за шагом сокращая сферу действия товарного обращения и расширяя сферу действия продуктообмена» (с. 94).

Эта программа тоже не могла быть осуществлена по чисто практическим соображениям: она грозила, в частности, слишком большим отставанием от США.

В качестве еще одного примера можно указать на политику «Большого скачка» в Китае в конце 50-х годов, когда был прокламирован переход к коммунизму за 3—5 лет: «Три года упорного труда и 10. 000 лет счастья!» «Народные коммуны охватили за несколько месяцев 1958 года всю деревню. Коммуны вводились и в городах, по плану они должны были стать основной формой организации сельского хозяйства, промышленности, управления, школы, армии. Создавались милитаризованные трудовые армии. На работу ходили строем. Обобществлялся быт: в коммуне объединялся инвентарь, домашняя обстановка и т. д., вводилось бесплатное нормированное снабжение.

Ту же картину мы видим в отношении социалистических государств к религии. Все они в принципе враждебны религии, но возможности для проявления этой враждебности различны. Итальянский фашизм начал с конфликта с католической церковью, но вынужден был пойти на конкордат и воздержаться от серьезных притеснений религии. И в других отношениях это было самое слабое социалистическое государство нашего века, которое обладало наименьшими возможностями для осуществления своих социалистических тенденций. Китай же, например, мог позволить себе вообще поставить христианскую религию вне закона. Между этими крайностями находится целый спектр различных подходов социалистических государств к религии — все в основе враждебные, но лишь настолько жесткие, насколько это может допустить конкретное государство.

Уничтожение семьи или общность жен не были осуществлены ни в одном из известных нам социалистических государств, но зачатки таких тенденций, намеки на них можно обнаружить. Например, в национал-социалистической Германии существовало движение за создание расово-полноценных внебрачных детей. Основанная Гиммлером организация «Лебенсборн» подбирала незамужним женщинам арийских производителей. Официально инспирировались идеи о желательности института побочных жен для расово-высокоценных мужчин. Например, жена Бормана пропагандировала эти идеи и сама санкционировала наличие побочной жены у своего мужа.

Во всех приведенных здесь примерах эти начинания не получили развития по вполне конкретным внешним причинам, которые каждый раз можно указать, — но не из-за идеологической непоследовательности. По-видимому, для совершения этих преобразований жизни необходим определенный уровень возбуждения, мобилизация какого-то вида духовной энергии, а возможность этого в свою очередь зависит от глубины кризиса,

через который в данный момент проходит человечество. В частности, разрушение традиционной семьи и государственный контроль над семейными отношениями, которые мы в начале этого параграфа привели как пример черты, специфичной лишь для учений хилиастического социализма, может оказаться вполне реальным в условиях надвигающегося кризиса перенаселения. (Так полагает, например, А. Тойнби. См. его книгу — «Ahistorian's aproach to religion». London, 1956).

Нам представляется, таким образом, что невозможно указать принципиальную границу, отделяющую учения хилиастического социализма от практики социалистических государств. Разница между ними заключается в том, что в первом случае мы имеем четко сформулированный идеал, во втором же — ряд разбросанных по истории вариантов, в которых можно лишь пытаться подметить некоторую тенденцию. Но эта тенденция в пределе, в качестве идеальной цели, указывает на тот же идеал, который провозглашают социалистические учения.

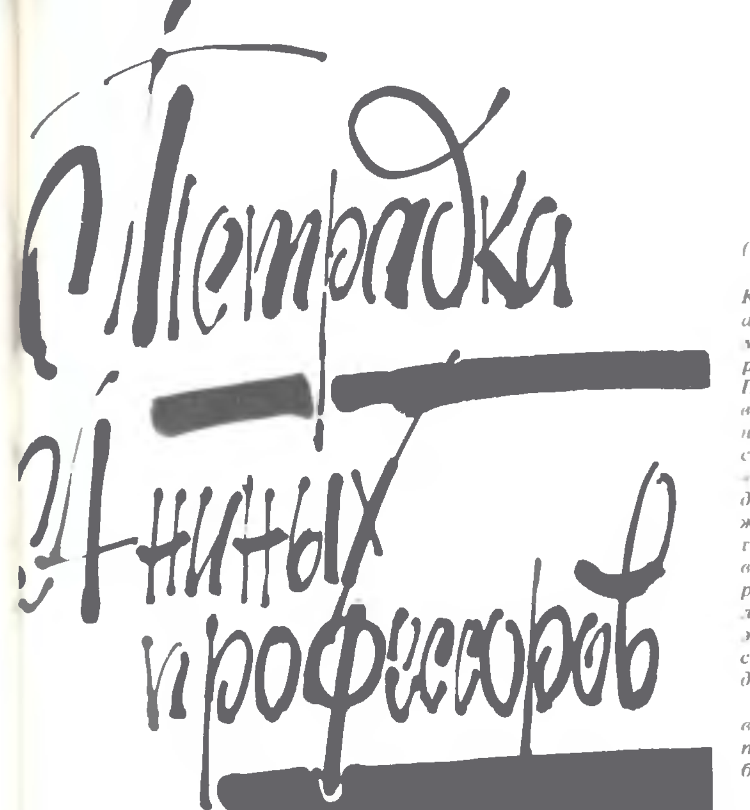
Зато можно обнаружить вполне определенные различия в том, как хилиастический и государственный социализм реализуются во времени. Прежде всего мы встречаемся с государствами социалистического типа на тысячелетия раньше, чем с развернутым социалистическим учением. Во-вторых, социалистические государства возникают в истории в двух совершенно различных ситуациях: на примитивной культурной базе, в самом начале государственного периода истории (в Средиземноморье — в III—II тысячелетиях до Р. X.), — и на базе индустриального общества, в XX в. после Р. X. Развитие же социалистических учений происходит как раз в промежутке между этими двумя эпохами. Наконец, и в хилиастическом социализме можно различить две тенденции: одна порождает академические, кабинетные системы, разработанные планы будущего общества, другая же — призывы к разрушению окружающего мира, идеи «освобождения», мщения и власти избранных. И обе эти тенденции тоже проявляются в разные эпохи. Началом первого течения, безусловно, является «Государство» Платона: под его очевидным влиянием находятся Мор, Кампанелла, Дешан; и даже Маркузе, привлекая для иллюстрации своей концепции мифы о Нарциссе и Орфее, явно пытается подражать Платону. Второе течение складывается в средние века, в еретических сектах. Но если проследить историю этих сект, то все они (и катары, и братья свободного духа) ведут к гностическим сектам первых веков после Р. X., причем там можно обнаружить, правда, еще в очень неразвитом виде, основные черты, которые позже проявятся в социалистических учениях.

Прежде всего обратим внимание на то, что социалистические учения возникли тысячелетиями позже социалистических государств. Это заставляет обратить привычную аксиому социалистической идеологии: учения хилиастического социализма не могут рассматриваться как предсказание (научное, мистическое или рационалистическое) будущего общественного строя, они гораздо больше похожи на реакцию, стремление вернуть человечество в более примитивное, архаическое состояние.

Однако это и не простая реакция, стремящаяся лишь восстановить то, что уже было: учения хилиастического социализма далеко выходят за рамки практики ранних социалистических государств. Характер этого процесса станет яснее, если сопоставить его с одним историческим наблюдением, которое было сделано различными авторами, в том числе К. Ясперсом. Ясперс же предложил и название для подмеченного явления «осевое время истории» (140). Речь идет о тех сдвигах, которые произошли в человечестве в течение периода, охватывающего примерно I тысячелетие до Р. X. В предшествующие два тысячелетия основным фактором, определявшим то, как развертывалась история, были мощные государства, построенные по типу восточной деспотии, способные, благодаря подчинению всего населения бюрократическому контролю, осуществлять грандиозные строительные работы и оперировать громадными армиями. Впервые после долгого перерыва в I тысячелетии до Р. X. другие, духовные, силы вновь начинают оказывать решающее влияние на течение исторического процесса. От Греции до Китая возникают учения, апеллирующие к душе каждого человека, к его ответственности перед своим разумом, совестью или высшими силами. Это: греческая философия, проповедь израильских пророков, буддизм, конфуцианство. Не всесильную государственную машину, а человеческую личность объявляют они той силой, которая может определить судьбу человечества. Богоподобный деспот, которому можно лишь поклоняться и повиноваться, теряет свое монопольное положение творца истории: не меньшую роль начинает играть учитель, зовущий поверить его учению и подражать его жизни. Как бы ни смотреть на возникновение христианства — Слово ли стало плотию, или же человечество своими силами пришло к новому пониманию своей судьбы — в любом случае здесь мы имеем вершину и итог всего этого процесса. Ясперс полагает, что именно в «осевом времени» и возникла концепция истории, что мы считаем имеющими историю те народы, которые либо непосредственно соприкоснулись с этим процессом, либо впоследствии приобщились к созданным ценностям (как, например, германцы и славяне).

Нам нет необходимости обсуждать здесь это грандиозное и сложное историческое явление — мы сопоставим лишь его с отмеченными выше моментами развития хилиастического социализма. В пределах средиземноморского культурного круга «осевое время» проявилось в двух основных явлениях: в «греческом чуде», особенно ярко воплощенном в личности Сократа, — и возникновении христианства. Хронологически оба эти явления весьма близки к тем двум моментам, которые мы указали как начальные точки развития двух тенденций хилиастического социализма: социалистическая утопия Платона была создана через несколько десятилетий после смерти Сократа, а первые гностические секты возникли уже в I в. после Р. X. Правдоподобно предположить здесь не только временную, но и причинную связь, то есть рассматривать «утопический» хилиастический социализм Платона — Мора — Кампанеллы — Фурье как реакцию на восприятие мира, выработанное в греческой культуре, а «революционный», «эсхатологический» социализм гностических и средневековых ересей, Мюнцера и Маркса — как реакцию на возникновение христианства. Такой взгляд в принципе согласуется с теми выводами, к которым мы пришли по поводу общего характера социализма. Если социализм есть проявление некоторой фундаментальной и постоянно активной силы, то естественно, что всякое препятствие к ее действию должно вызывать изменения в форме ее проявления, имеющие тенденцию преодолеть это препятствие. А глубоко духовное понимание человеческой личности, центральная роль, которую она занимает в греческой культуре и в особенности в христианстве — это и были факторы, пошатнувшие монолитную устойчивость государств, основанных на социалистических принципах, показавшие человечеству возможность иного пути.

Вопрос о взаимоотношении примитивных восточных государств социалистического типа и социалистических государств XX века рассматривается в последней главе книги К. Виттфогеля «Восточный деспотизм». Точка зрения автора заключается в том, что это — два варианта одного общественного уклада. Примитивный аграрный деспотизм, по его мнению, «существовал тысячелетиями, — до тех пор, пока ему не нанес удар рост индустриального и коммерческого Запада». В последних параграфах: «Куда идет Азия?», «Куда идет Западное общество — куда идет мир?» он рассматривает появление социалистических государств в XX в. как возврат азиатских стран к тысячелетиями существовавшему у них примитивному строю. С другой стороны, Виттфогель констатирует, что социалистические государства современности отличаются от их древних предшественников тем, что они осуществляют не только экономический, но и социальный и интеллектуальный контроль над своими гражданами, и что современный социализм — это «гораздо больше, чем «азиатская реставрация». Несогласованность этих двух точек зрения объясняется, как нам кажется, тем, что автор рассматривает социализм исключительно как экономическую категорию, определенную форму организации государства. Поэтому развитие хилиастического социализма, потребовавшее 2,5 тысячелетия, остается вне поля его зрения, а именно оно и является мостом, который соединяет два типа социалистических обществ. Особенность социалистических государств XX века заключается как раз в их идеологичности, в том, что они основываются на разработанной, выковавшейся тысячелетиями идеологии (и тем устойчивее, чем глубже разработана их идеология). Именно этого не хватало древним восточным деспотам, чтобы сохранить власть над миром в духовной атмосфере, созданной «осевым временем». Создание этой идеологии было почти исключительно делом Запада — уже поэтому невозможно рассматривать социализм XX в. как «азиатскую реставрацию».



ПО СТРАНИЦАМ ЭМИГРАНТСКИХ ИЗДАНИЙ

1922 г. 18/XI. Пароход «Преиссен» на пути в Штеттин (via Шпалерная).

*Право, не знаю, что написать Вам, Анна Александровна. Конечно, положение мое своеобразное. «Нет власти не от Бога, а «учиненная Богом» власть да еще отечественная, ввергла меня в узилище и в числе прочих направила за границу. Даром не сажают. И я полагаю, что по неисповедимому замыслу Провидения превращен я в «*expulse*»** за нарушение 7-й заповеди, которую ГПУ по неопытности смешало со ст. 57 Уголовного Кодекса. При таком толковании возражать против действий власти нельзя, хотя и возможно рассматривать ее как «*flagallum Dei*». Это же «бич Божий» (он же — «палец Провидения») указует нам путь в Германию. Знаменательно, что даже Бруцкус, отстав (?) от Балтрушайтиса, заказал аэропочтою квартиру в Берлине, где находится часть России (к ней, впрочем, не принадлежат все числящие себя ею). Эмиграция русская принципиально отлична от французской эпохи революции: она продолжение России, ее мозг. Мы же даже не эмигранты, а* expulsé, *т. е. и юридически продолжаем Россию, сближая ее с Германией, в единении с которой чаем наше будущее («Сумрачный германский гений»).*

Итак, изгнанный за тайный порок Богопротивною властью, выполняющей вопреки себе волю высшую, собираюсь и я выполнять оную с Богом согласно, за грехи же свои — на чужбине.

Бывший professor, *а теперь* confessor **Л. Карсавин**

Разбираясь в бумагах моего покойного мужа, Н. Н. Евреинова, — а их накопилось несметное количество, — я нашла конверт с надписью его рукой: «Тетрадка Аниных профессоров». В конверте — большая статья из берлинской газеты «Руль» от ноября 1922 года и пожелтевшая трехкопеечная тетрадь, вся исписанная разными почерками. Вот выдержка из статьи из «Руля», озаглавленной «Приезд высланных из Сов. России»:

«В воскресенье днем штеттинский вокзал представлял необычайную даже для «обрусевшего» Берлина картину. К приходу скорого поезда из Штеттина дебаркадер был переполнен представителями берлинской русской колонии, собравшимися для встречи прибывавшей с этим поездом большой группы профессоров, литераторов и инженеров, высланных из Петрограда. Со штеттинским поездом прибыло 44 человека, выехавших из Петербурга 14* ноября на пароходе «Прейссен». В эту группу входят 17 представителей интеллигенции, большинство которых отправилось в изгнание в сопровождении членов своих семейств. В состав группы входят: известный философ проф. Н. О. Лосский, выдающийся ученый, академик Л. П. Карсавин, быв. директор Томского Технологического института, быв. член Гос. Совета проф. Е. Л. Зубашев, знаменитый психолог, академик И. И. Лапшин, бывший проректор Петербургского университета проф. Б. Н. Одинцов, проф. административного права, также быв. проректор Петербургского университета А. А. Боголепов, проф. Агрономического института А. С. Каган, публицисты: А. С. Изгоев, А. Б. Петрищев, руководители Дома Литераторов в Петрограде Н. М. Волковыский и Б. О. Харитон, члены комиссии по улучшению быта инженеры Н. П. Козлов и И. М. Юштим и др. На пароходе «Прейссен» в Германию, кроме высланных, прибыл еще ряд представителей петербургской интеллигенции: академик Нестор Котляревский, известный режиссер Н. Н. Евреинов, драматург Виктор Рышков и др.»

Моя пожелтевшая тетрадка содержит в себе собственноручные записи — «черту», итог — всех этих лиц, вынужденных покинуть Россию навсегда.

Когда 14 ноября 1922 г. мы с мужем приехали на пристань на Васильевском Острове, чтобы сесть на пароход, идущий в Штеттин, то к великой нашей радости мы встретились с кучей близких знакомых: моих — бывших профессоров по Бестужевским курсам, а потом по университету, а муж — с знакомыми по литературным кругам. «Посадка» на пароход (обыски чемоданов, обшаривание платья, а иногда и самого тела), проверка документов и пр. длились с утра до 9 час. вечера. Все это время мы находились в запертом помещении при пристани. ГПУ вызывало в разбивку, не по алфавиту, держало каждого вызываемого не меньше получаса. Все это происходило в напряженной тяжелой атмосфере... Поэтому, когда мы, наконец, вошли на пароход и капитан распорядился — несмотря на поздний час накормить нас гороховым супом, все пассажиры уже настолько хорошо были знакомы друг с другом, что, казалось, прожили вместе годы... У высылаемых мысли были смятенные, тревожные, мучительные... Судьба сулила мне быть конфиденткой многих из них. Только на третий день путешествия мне пришло в голову попросить моих «конфидентов» написать мне что-нибудь «на память» в случайно найденную в чемодане тетрадку. Вот их записи:

ПРИМЕЧАНИЕ ОТ РЕДАКЦИИ

Сейчас много говорится и пишется, что, якобы, чуть ли не добровольно покинула Родину в начале двадцатых годов русская интеллигенция, в основном, университетская, которая определяла высокий интеллектуальный уровень России и «пошла в услужение западному миру»... Последствия этого безумного шага, принятого при участии высших руководителей партии и государства, страна ощущает до сих пор.

Публикуемые записи («Новый журнал» № 40, 1955, Нью-Йорк) раскрывают трагическое состояние насильственно изгнанных людей, но не потерявших веры в родное Отечество.

Preussen, *18/XI 22.*

По Вашему желанию, Анна Александровна, каждый изгнанник из России, пассажир «Прейссен», должен вписать в эту тетрадь несколько слов. Пусть будет так. Среди нас, профессоров и литераторов, Вы найдете представителей всех дисциплин и направлений, но напрасно будете искать политиков, опасных для узурпаторов власти в России. За что же нас выслали? Что это, глупость или испуг? Я думаю, то и другое. Правители России, несмотря на свою наглость, настолько трусливы, что боятся каждого независимо и честно высказанного мнения и по глупости ссылают нас туда, где мы имеем полную возможность сказать ту правду, которую они хотят скрыть от себя и от всего света.

Покидая с тяжелым чувством Россию, надеюсь использовать ссылку как командировку и послужить еще Родине, которая жива и не погибнет.

Проф. Б. Одинцов

Нотный стан и ноты.
ПОДПИСЬ: Ведь я не государственный преступник!
(Каменный гость) **И. Лапшин*****

«Прейссен», 18/XI 22.
Прекрасное путешествие на «Прейссен» настраивает меня на благодушный лад. Хотя я и не поумнел еще за эти три дня и по-прежнему не понимаю ни смысла, ни цели нашей высылки за границу, но пока склонен думать, что Совласть в возмещение того, что из 60 месяцев она 26 продержала меня в своих тюрьмах, теперь предоставляет мне и шестимесячный отдых за границей. Она же позаботится, надеюсь, о моем возвращении на родину, сыном которой я не перестаю себя чувствовать и при правительстве, отрицающем отечество.

А. С. Изгоев

В безумии совершаемого Сов. властью — высылке лучших людей за границу усматриваю эгоистический расчет и, может быть, возможность дольшего сохранения этой власти. Но уверен, что все сохранят полнейшую связь с родиной и, живя на чужбине, будут работать на благо России, имея постоянным стремлением возвращение в свое отечество.

Н. П. Козлов

В огромном большинстве случаев изгнанниками бывают или преступники, или герои. По отношению ко мне ни то, ни другое не приложимо: преступления я не совершил, но и геройства ни в чем не проявил. Моя высылка есть плод недоразумения, а может быть, что и более вероятно, необходимая дань демагогии современной власти. В первую революцию (1906 г.) я был выслан из Томска за пределы Томской губ. и Степного Генерал-губернаторства в Европейскую Россию как революционер. Теперь меня изгоняют далее на Запад, из пределов России как контр-революционера. И в том, и в другом случае я украшен чужими перьями.

Проф. Ефим Лукьянович Зубашев

Уходя в изгнание, мечтаю о скорейшем возвращении на мою любимую родину.
Пароход «Прейссен», 18/XI 22.

А. Каган

Есть жизнь и на Гороховой, и на Шпалерной, и на «Прейссен».
18/XI. 22.

А. Петрищев

В среду вечером 15 ноября мы, изгнанники, сели на пароход «Preussen» и переночевали на нем в Петрограде. На следующий день я встал в 7 час. утра и вышел на палубу. Чуть брезжила заря. На фоне ее вырисовывался красивый силуэт Петрограда с царящими над ним очертаниями Исаакиевского собора. Грустно мне было думать, что приходится покинуть милую сердцу Россию и чудную своею строгой красотой столицу, где я спокойно работал и мыслил столько лет. Еще грустней стало, когда я вспомнил, что мой старший сын, Владимир, открыл накануне наудачу «Божественную комедию» Данте и великий поэт поведал ему своими прекрасными терцинами следующую жалобу, написанную им в годы его изгнания:*
Era gia l'ora che volge il disio a'naviganti...
Когда грусть моя достигла крайнего напряжения, в уме моем блеснула мысль, доставившая мне глубокое утешение. Я подумал: за что меня изгоняют? — не за политические деяния, их я в течение пяти лет не совершал. Итак, меня изгоняют из России, как за год до того изгнали из Петроградского университета, ставя мне в вину только мою религиозно-философскую идеологию. Значит, сами мои противники втайне признают истинный тезис: сознанием определяется бытие, дух господствует над материей. Воздадим же хвалу духу и особенно восхвалим Того, Кто сотворил дух, наделил его творческою мощью и властью над материей.

Н. Лосский

18 ноября 1922 года

Когда вспоминаешь все подробности пережитого за последние месяцы — арест, недели тюремного заключения, нелепый «допрос», которому подвергли нас какие-то малограмотные мальчики, мытарства, испытанные после выхода из тюрьмы, галантность большевистской охранки (ГПУ) и презрительно злобное отношение к нам разных представителей советской власти; когда, наконец, поименно называешь себе людей, с которыми я оказался связанным единою судьбой, — невольно задаешь себе вопрос: чего во всей истории больше — глупости или подлости? И сейчас, на палубе парохода, уносящего нас, быть может, навсегда от мучительной, но любимой родины, сейчас, когда все мысли уже не о прошлом, а о будущем — напрашивается ответ: больше глупости, но ее так много, что, исходя из недр государственной власти, она уже превращается в подлость. Единая судьба объединила людей, нередко ничем не связанных между собой, ни в жизни, ни в работе, подчас даже не знакомых друг с другом до встречи в тюремной камере. Но есть одна внутренняя связь между всеми нами: мы все, каждый в своем углу, отведенном ему жизнью, имели дерзость в дни всеобщего порабощения, в дни диктатуры кулака над свободным духом сохранить независимость взглядов, независимость идей, которые каждый из нас считал сильнее и могущественнее тех временных властителей русской жизни, которые шквалом налетели на нее. И если глупо, глупо до нелепости думать, что можно поработить идею, поработить свободу независимой человеческой мысли, то выбрасывать за борт родной жизни тех, кто дерзают не надевать ярма на свою мысль и на свою душу — для гордящейся своей внутренней и внешней силой власти — просто подло. Но без злобы и ненависти, а с тоской по оставляемой родной жизни покидаю я Россию и с твердой верой в победу независимой мысли над диктаторским кулаком.

Н. Волковыский

Штеттин. 19 ноября 1922 г.

Сходя с парохода на германскую землю, я думаю о России, так горячо и так разно нами всеми любимой. Может быть, я вернусь на родину не скоро и увижу ее не только перерождаемой, но уже перерожденной Революцией. Но я предпочел бы смерть на чужбине возвращению в Россию, если... придет реставрация. Я смотрю на нашу высылку, как на один из последних революционных эксцессов, а в эксцессах никогда не бывает никакой логики, никакого смысла. Потому в душе моей нет места для злобных чувств и для мстительных вожделений. Я был и остался независимым журналистом, а независимая журналистика во все времена и при всех правительствах занятие опасное. Поэтому не ропщу — вызывать неудовольствие власти как бы неразрывно связано с моей профессией. Пишу совсем наскоро и бессвязно, простите, милая Анна Александровна, небрежность стиля и неразборчивость почерка.

Б. Харитон

Штеттин. 19/XI 22. 6 ч. 20 минут утра.
Встряски полезны: они освежают и не дают скисать.

А. Боголепов

Три дня пути, десять недель заключения — пролетели, как сон. Там далеко-далеко осталась родина и семья. Кажется, никогда больше так не тосковал о родине, не любил больше семьи! Все свои силы и стремления — к родине, к семье!

И. Юштим

Как вы все далеко, милые спутники!

А. Евреинова

Примечания автора:

* 15 ноября мы сели на пароход, но отбыл он из Петербурга только 16-го утром на рассвете.
** Так было написано в паспорте каждого высылаемого.
*** Иван Иванович был моим большим личным другом.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖИЛАСА



М. Джилас.
Фото из журнала «НИН» (СФРЮ) № 2004, 28 мая 1989 г.

Слово «джилас» может быть переведено с сербохорватского языка на русский как «поп-расстрига». Именно в качестве одного из виднейших «еретиков» коммунистического движения известен обладатель этой звучной фамилии югославский писатель, оригинальный мыслитель и бывший государственный деятель Милован Джилас. Некоторые читатели, должно быть, помнят, как часто склонялась она нашими «дежурными пропагандистами» в 50—60-е годы. Но едва ли и те, кто обличал Джиласа, и тем более те, кто внимал им, были достаточно близко знакомы с его судьбой и творчеством. Пришло время, когда, читая его работы непосредственно, мы можем самостоятельно оценивать содержащиеся в них мысли, задумываться над высказанными им предостережениями. Огульное отрицание всего того, что, быть может, по-прежнему не всегда совпадает с нашей позицией, должно уступить место внимательному и непредвзятому изучению.

Одаренный не только несомненным литературным талантом, но и очевидным даром дотошного аналитика, не делающего скидок ни себе, ни окружающим, Джилас написал уже большое количество широко известных на Западе книг, памфлетов, статей, ярко и небеспристрастно рисующих сложное, а порою и противоречивое течение революции в Югославии, искушения всего коммунистического движения в мире, к которому в свое время он был близко причастен. Одновременно в них предстает драма личности самого Джиласа, не просто влекомого революционным вихрем и свято верившего в него, но и раздувавшего его всеми силами души, а впоследствии отрекшегося от того дела и тех людей, на которых молился. Его исповедь и обличения, какими бы чрезмерными и неприятными они иногда ни казались, несут в себе сильный заряд предупреждения, к которому необходимо прислушаться. Кое-что нам уже не покажется новым, особенно в свете публикаций последнего времени. Но не будем забывать, что он сказал об этом одним из первых и актуальность его высказываний еще далеко не утрачена.

Милован Джилас родился 4 июня 1911 г. в окрестностях черногорского города Колашин, в крае исконных бойцов и поэтов. Изучал философию и право в Белградском университете. Одно время увлекался теологией, но, испытав первое крупное разочарование в своей жизни, уже в 1932 г. вступает в нелегальную компартию Югославии. Вскоре впервые приговаривается к трехлетнему тюремному заключению, которое отбывает в г. Сремска-Митровица. В дальнейшем и разочарованиям, и заключениям суждено будет повториться не раз. В 1938 г. Джиласа заметил и кооптировал в ЦК КПЮ за год до этого возглавивший партию Тито. С 1940 г. он уже член политбюро и до самой своей опалы в 1953 г. — один из главнейших руководителей югославских коммунистов. Его партбилет № 4, пожалуй, является безошибочным критерием занимаемого в партийной иерархии места. С первых дней войны — член Верховного штаба Народно-освободительной армии Югославии, генерал-лейтенант. Все годы у власти считался непререкаемым авторитетом в области агитации и пропаганды, в которые привносил свойственные ему всепоглощенность идеей, яркость и энергию в ее распространении. Своей деятельностью сыграл немалую роль в мобилизации югославских народов на революцию и борьбу с неприятелями. Впоследствии оппоненты Джиласа неоднократно обвиняли его за то, что сам он в то время проводил достаточно жесткую, далекую от либерализма линию. Упоминалось, например, что еще в довоенные годы он подверг резкой критике близкого к коммунистам, известного по своим книгам и у нас, писателя Оскара Давичо за... «декадентство», а в военные годы требовал применения самых суровых мер по отношению к врагам и нарушителям дисциплины в собственных рядах.

В одной из книг Джилас напишет, что в годы народно-освободительной борьбы в Югославии отношения между Тито и ним по своей близости напоминали отношения «между отцом и сыном». Каким же образом «дитя революции» превращается в ее «enfant terrible»? Или это одна из черт всякой революции?

Казалось бы, ничто не предвещало в первые послевоенные годы нового поворота в судьбе Джиласа. Еще в начале 1953 г. он был назначен заместителем председателя правительства, возглавлявшегося самим Тито, в конце того же года избран председателем парламента страны — Союзной народной скупщины. Однако уже в январе 1954 г. III чрезвычайный пленум ЦК Союза коммунистов Югославии (так называется партия с 1952 г.) за «антипартийную деятельность» отстраняет его от всех постов, в апреле он исключается из СКЮ, а вскоре за этим следует длительная череда тюремных отсидок с короткими паузами на воле. В чем же состояла вина Джиласа?

Примерно с октября 1953 г. по январь 1954 г. в газете «Борба» появляется серия его статей, в которых он предостерегает против опасности бюрократизации постреволюционного югославского общества, перенесения опыта нелегальной «кадровой КПЮ» в условия, когда, по его мнению, необходимо всячески стимулировать процесс демократизации, свободу мнений и фракций в партийных рядах. Его критикуют. Он не уступает. Чашу терпения, однако, переполняет ставший известным сначала в рукописи, а затем опубликованный в журнале «Новая мысль» памфлет «Анатомия одной морали». В нем Джилас едко показывает, как не выдерживают испытания властью бывшие суровые партизанские командиры — вселяются в брошенные особняки, устраивают роскошные приемы, осыпают редкостными подарками своих жен, постепенно отдаляются от народа. Ничего хорошего для себя от брошенного им вызова он не ждет. В книге «Несовершенное общество» (1969) Джилас напишет, что он понимал: шансов на победу нет, но «я вспомнил судьбу Троцкого и сказал себе: лучше судьба Троцкого, чем Сталина, лучше быть пораженным и уничтоженным, чем предать свой идеал, свою совесть». Оказавшись не у дел, в декабре 1954 г. он дает интервью американскому журналисту, в котором заявляет, что в отличие от своей предыдущей позиции о необходимости свободы дискуссий в СКЮ, сейчас видит, что это невозможно и считает необходимым создать в стране вторую «демократически и социалистически ориентированную» партию, которая бы составила конкуренцию коммунистам. На этот раз его делом занялся уже Окружной суд в Белграде, который приговорил Джиласа за «проведение враждебной Югославии пропаганды» к восемнадцатимесячному тюремному заключению и трем годам условно.

Между тем, в 1955—1956 гг. начался интенсивный процесс нормализации советско-югославских отношений, серьезно нарушенных в 1948 г. Джилас выступил противником этого, полагая,

что таким образом Югославия может вновь оказаться в «подчинении единого центра». В связи с венгерскими событиями 1956 г., будучи в то время на свободе, он дает интервью американскому журналу «Нью лидер», в котором обосновывает свою позицию и попутно осуждает югославское руководство за «фактическую солидаризацию» с другими соцстранами в оценке положения в Венгрии. Снова арест и новый приговор к трем годам тюрьмы по обвинению во «враждебной антигосударственной пропаганде и передаче врагам Югославии материалов, которые они могут использовать для оказания на нее давления». Джилас попадает в уже знакомое ему по довоенным временам «учреждение» в г. Сремска-Митровица. Здесь он пишет художественную прозу, составляет описание родной Черногории, работает над биографией ее величайшего поэта, мыслителя и государственного деятеля Петра Негоша. При этом он не только не думает смиряться, но и каким-то образом передает за границу свою, очевидно, самую известную книгу «Новый класс».

В 1957 г. она выходит в США, а вскоре переводится на 30 языков и достигает тиража в 3 млн. экземпляров. Английский публицист Э. Крэнкшоу писал о ней в журнале «Лайф»: «Книга представляет собой политический динамит, который уничтожит теоретическое оправдание коммунизма. Это самый уничтожающий атикоммунистический документ, который когда-либо был напечатан». «Новый класс» ставили в один ряд с такими известными «еретическими» произведениями, как «95 тезисов» Мартина Лютера, «Я обвиняю» Э. Золя и др. Точно так же он был воспринят в той среде, из которой вышел, в результате чего срок пребывания Джиласа в Сремской-Митровице в октябре 1957 г. оказался «продленным» еще на семь лет. В немалой степени, видимо, этому способствовал и шум вокруг книги на Западе. Однако с позиций сегодяшнего дня нетрудно заметить, что «Новый класс» посвящен прежде всего бюрократическим извращениям, проявившимся при строительстве социалистических обществ, а под «развенчаным им коммунизмом» следует понимать практику утвердившегося в то время «административного социализма». Джилас подвергает ее суровой критике за «диктатуру правящих элит», «формирование господствующего «нового класса», представленного бюрократией, «отчуждение масс от результатов своего труда и реальной власти». Вместе с тем, пока он продолжает верить в возможность построения демократического социализма и плодотворность марксистского учения. Позднее, правда, и эта последняя вера сменится безверием. Любопытно, что, хотя до нашего массового читателя эта работа еще не доходила, однако, многими учеными в библиотеках она проработана давно. Приводя в своих «новаторских» трудах некоторые джиласовские тезисы почти дословно, они почему-то забывают при этом на него сослаться. Так что широкое знакомство с творчеством Джиласа способствовало бы повышению степени научной самостоятельности и отечественных «доселе избранных».

Прошлые заслуги автора «Нового класса» пока все же в цене, и в январе 1961 г. он досрочно освобождается. У сербов и черногорцев существует понятие — делать что-то «из ината». Лишь весьма приблизительно можно перевести это как «из упрямства», поскольку отечественный эквивалент значительно уступает в степени непреклонности своему славянскому собрату. «Инат» Джиласа даже в этой традиции, кажется, не знает границ. В апреле 1962 г. он вновь арестовывается и вновь за книгу. Это были не менее известные «Встречи со Сталиным», вышедшие месяц спустя в США. Теперь обвинение еще более суровое: «раскрытие государственных секретов», ставших известными ему во время миссий в Москву в составе и во главе югославских делегаций в 1944—1948 гг. Столь же серьезен и приговор — 13 лет тюремного заключения! Все в той же неизбежной «Итаке» — Сремской-Митровице. Об этом в свойственной ему аллегорической манере Джилас напишет: «Я не мог создать для себя самого реку, по которой бы мог плыть, и должен был остаться на берегу или плыть по реке, которая была не моей».

Для многих читателей перипетии жизненной «одиссеи» Джиласа явятся неожиданностью. Череда сроков и приговоров, отмечающих основные ее этапы в этот период, несколько расходится с устойчивым представлением о «давней и полной терпимости самоуправленческой Югославии по отношению к инакомыслию», отсутствии, по крайней мере, в ее истории, эпизодов, столь характерных для ряда других социалистических стран. Увы, хотя, быть может, и в значительно меньших масштабах, но все же некоторые родовые черты ранних этапов построения социализма, как видим, повторяются и в тех обществах, которые почти изначально провозглашают «антисталинский характер». Несомненно, что и из этого также следовало бы извлечь определенный урок.

Сам Джилас в одном из последних интервью («НИН», 28 мая 1989 г.) склонен задним числом объяснять свое «первоначальное падение с пьедестала» внутренними причинами, а последующие аресты с «подачи» интервьюера влиянием «потребности югославского руководства к сближению с Советским Союзом». Вывод достаточно спорный. Легко допустить, что как противник нормализации советско-югославских отношений в то время он действительно служил препятствием на этом пути, из чего возникала необходимость его смещения. Однако произошло оно еще до появления первых серьезных признаков начала сближения двух стран и, по собственному признанию Джиласа, диктовалось логикой развития самой югославской революции, вступавшей в этап «консолидации всех сил», когда всякое «несогласие», «революционный романтизм» и «либеральные иллюзии» должны были быть пожертвованы в угоду «генеральной линии». Видимо, эта логика действовала и в дальнейшем, так как в период «оттепели» и массовой реабилитации в СССР последнему едва ли было нужно, чтобы залогом укрепления сотрудничества с Югославией становились аресты Джиласа. Если же его «голова» и преподносилась как свидетельство «искренности намерений», то делалось это, судя по всему, «по доброй воле» — высокая степень самостоятельности югославской политики в 50—60-е гг. вне всяких сомнений. Кстати, весьма своеобразно скептическое отношение Джиласа к проходящей сейчас в ряде соцстран кампании массовой политической реабилитации. Со свойственными ему склонностью к парадоксам и философским сарказмом он усматривает в ней нечто «гротескное», попытку «посмертного перемещения несчастных погибших на более высокое небо по сравнению с тем, на котором они находятся», что является, по его мнению, остатком прежних полумистических идеологических культов.

Книга «Встречи со Сталиным» была не первой попыткой Джиласа отразить свои впечатления от контактов с советским руководителем. Сначала это была вполне выдержанная в духе времени хвалебная статья, опубликованная в «Борбе» 21 декабря 1944 г. по случаю дня рождения «вождя мирового пролетариата». В основу ее легли воспоминания о пребывании Джиласа в течение двух месяцев в Москве во главе югославской миссии весной того же года. Он провел переговоры со Сталиным, Молотовым, Жуковым, другими советскими государственными деятелями и военачальниками, получил от них полную поддержку деятельности Национального комитета освобождения Югославии, вернулся в Белград с золотой саблей — даром Тито от Президиума Верховного Совета СССР (сейчас она находится в музее Тито в Белграде). С крайней восторженностью пишет Джилас о «земной простоте и скромности, но бессмертии мысли Сталина», о том, что «через его личность можно ощутить, до какой степени СССР уже решил все внутренние проблемы», которые испытывают другие страны.

Совсем иную интерпретацию дает он этой же и ряду последующих встреч со Сталиным в книге, вышедшей в 1962 г. Те же черты — сугубая ординарность внешности и простота приобретают теперь несимпатичную и даже уродливую окраску, служат доказательством грубости и деспотичности «кремлевского хозяина». Разочарование в идеалах молодости становится почти чувственно-физическим. Законно возникает вопрос, в каком из описаний истинное отношение Джиласа к Сталину? Не кривит ли он душой? Не приспосабливается ли к обстоятельствам? Обвинения такого рода — любимый конек критиков Джиласа. Думается, что подобного упрека он все-таки не заслужил, о том, как умел Джилас «приспосабливаться», сказано, кажется, уже достаточно подробно. Все гораздо сложнее. Он, очевидно, абсолютно искренен в обеих оценках, несмотря на их полную противоположность. Скорее его можно присоединить к тем трагическим фигурам нашей собственной революции, которые, прежде чем наступило прозрение в отношении установившегося в стране правления нового самодержца, в немалой степени сами способствовали возникновению и становлению его культа. Джилас прозрел, однако судьба многих последователей его в Югославии была достаточно трагична. И это тоже история.

В декабре 1966 г. в результате помилования он окончательно распрощался со Сремской-Митровицей. Времена изменились. Отойдя полностью от политической жизни, Джилас продолжал много писать и публиковаться, но за границей. Он разуверился в марксизме как учении, хотя считает, что Маркс еще долго будет оставаться в нашей жизни как «писатель и пророк», так как «человек должен во что-то верить». При этом он выступает против насильственных изменений любого политического строя. Джилас живет в Белграде и, несмотря на преклонный возраст, достаточно бодр.

В последнее время его имя вновь замелькало на страницах югославских газет, он дает интервью, публикует первые после длительного перерыва статьи, появляется на телевидении, выступает перед различными аудиториями. Раздаются голоса в пользу его политической реабилитации, хотя сам Джилас ее не требует. Его работы готовятся к публикации в Польше и Венгрии. Думается, что при всем их субъективизме и наш читатель найдет в них немало поучительного. Это документы эпохи, опыт ее осмысления, позволяющие пополнить наши знания о ней.

Но что интересно. В ситуации, когда в силу известных внутренних проблем, позиции многих югославских деятелей, в том числе из среды интеллигенции, максимально радикализировались, а путь к единству кажется далеким и трудным, журналисты с удивлением отмечают сдержанность и «миролюбие» Джиласа. Что это, выношенная долгими годами приверженность к методам сугубо демократическим? Или вечное кредо прирожденных еретиков: «Если и все, то не я»? Возможно.

Е. БОНДАРЕВА

ВЗГЛЯД ТЕОРЕТИКА



МИЛОВАН ДЖИЛАС

НОВЫЙ КЛАСС

I

Как в Советском Союзе, так и в других коммунистических странах, все вышло совершенно иначе, чем того ждали партийные вожди, даже такие выдающиеся, как Ленин, Сталин, Троцкий или Бухарин. Они ожидали, что государство станет отмирать, а демократия крепнуть. Произошло обратное. Они ожидали быстрого повышения жизненного уровня, но ничего подобного не произошло, а в подъяремных странах Восточной Европы жизненный уровень даже и понизился. Во всяком случае, нигде жизненный уровень не поднялся пропорционально темпу индустриализации. Предполагалось, что разница между городом и деревней, между оплатой умственного и физического труда постепенно исчезнет; на самом деле эта разница увеличилась. В других областях предсказания коммунистов — например, насчет развития некоммунистических стран — тоже не сбылись.

Самой большой иллюзией было предположение, что уничтожение капиталистической собственности, коллективизация и индустриализация в Советском Союзе приведут к бесклассовому обществу. В 1936 году, когда была обнародована новая советская конституция, Сталин заявил, что «класс эксплуататоров» перестал существовать.

И в самом деле, класс капиталистов и другие прежние классы были уничтожены. Зато был создан новый класс, которого история до сих пор не знала.

Вполне понятно, что этот класс, — как это было и с прежними классами, — верил, что его приход к власти принесет человечеству счастье и свободу. Разница между этим классом и другими заключается в том, что он совершенно не задумывался над тем, что собственно могла означать задержка в осуществлении его иллюзий. Он сразу же добился власти гораздо более абсолютной, чем власть какого-либо другого класса в истории, а пропорционально этому, классовых иллюзий и предубеждений у него также оказалось значительно больше.

Этот новый класс, бюрократия, или точнее выражаясь, политическая бюрократия, обладает всеми характерными чертами прежних классов; но есть у него и новые, одному ему принадлежащие черты. Происхождение его тоже не совсем обычное, хотя в основном и похоже на начало других классов.

Другие классы точно так же достигали могущества и власти революционным способом, разрушая политический и социальный строй, стоявший у них на пути. Однако эти классы почти всегда приходили к власти уже после того, как в старом обществе возникали новые хозяйственные отношения. С новым классом в коммунистических странах дело шло в обратном порядке. Новый класс пришел к власти не для того, чтобы закончить создание нового хозяйственного строя, а для того, чтобы установить свой собственный, нужный *ему* строй и подчинить своей власти все общество в целом.

В прежние времена приход к власти какого-либо класса, части класса или партии был последним звеном в образовании и развитии этого класса. В Советском Союзе произошло обратное. Новый класс сформировался окончательно лишь после того, как он пришел к власти. Его классовое сознание должно было развиться раньше, чем его хозяйственная и вообще реальная его сила, так как он не имел корней в жизни своего народа. Класс этот определял свою роль по отношению ко всему остальному миру с чисто идейной, отвлеченной точки зрения. Практических возможностей его это, однако, не уменьшало. Дело в том, что, несмотря на все свои иллюзии, он был все же и выразителем объективной тенденции к индустриализации.

Практическая направленность его действий с этой именно тенденцией и была связана. Обещания идеального общественного строя подкрепляли веру в рядах его представителей и сеяли иллюзию в народных массах, воодушевляя их на огромные физические усилия.

Поскольку новый класс не образовался в лоне хозяйственной и общественной жизни народа до своего прихода к власти, он мог возникнуть лишь в виде организации особого типа, отличающейся особой дисциплиной и основанной на обязательном для всех ее членов единстве взглядов и убеждений. Строгое идеологическое единство и железная дисциплина были необходимы, чтобы преодолеть его слабость.

Ядром нового класса стала особая партия, партия большевиков. Ленин был прав, когда говорил, что его партия была исключением в истории человеческого общества, хотя, говоря это, он и не подозревал, что она положит начало новому классу.

Впрочем, родоначальников нового класса следует искать не столько в партии, например, большевистской партии, взятой в целом, сколько в той группе профессиональных революционеров, которые составляли ее ядро еще до того, как она пришла к власти. Недаром после поражения революции 1905 года Ленин утверждал, что только революционеры-профессионалы, люди, единственной профессией которых была революционная работа, способны построить большевистскую партию нового типа. И еще более показательно, что Сталин, будущий создатель нового класса, был как раз типичнейшим образчиком этих революционеров-профессионалов. Из этого-то — очень узкого — слоя революционеров постепенно и развился новый правящий класс. Долгое время они продолжали составлять его ядро. Троцкий отмечал в свое время, что революционеры-профессионалы дореволюционного периода положили начало будущей сталинской бюрократии. Но и он не понял, что они тем самым положили начало новому классу собственников и эксплуататоров.

что таким образом Югославия мож
нении единого центра». В связи с вен ...и новый класс — одно
будучи в то время на свободе, он дает ...го класса и его основа.
журналу «Нью... ...Возможно, определ... границы нового класса
и попутно ...чно, кто его члены. В общем, однако, можно
солидари...о к новому классу принадлежат все те, кто поль-
Венгри... особыми привилегиями и хозяйственными преимуществами в силу своей классовой монополии по управлению государством.

Паразитизм сочетается тут с выполнением необходимых административных функций, причем не каждый член партии может рассматриваться, как представитель нового класса, подобно тому, как не каждый ремесленник или представитель среднего класса был представителем буржуазии.

В общем, можно сказать, что по мере того, как новый класс становится сильней и приобретает более определенный облик, роль партии, как таковой, ослабевает. Ядро и основа партии создаются в партии и особенно на партийной верхушке, но они создаются также в государственных органах, в аппарате управления страной. Некогда живая, сплоченная, полная инициативы партия исчезает и превращается в самую обыкновенную олигархию нового класса, неудержимо притягивающую в свои ряды тех, кто стремится примкнуть к новому классу, и отталкивающую всех, у кого есть какие-то идеалы.

Сначала партия создает класс, но затем класс начинает расти и пользуется партией лишь как фундаментом. Класс становится все сильнее, а партия — слабее. Такова неизбежная судьба каждой коммунистической партии, пришедшей к власти.

Если бы партия не была материально заинтересована в производстве или если бы она не заключала в себе того, что требовалось для создания нового класса, она не могла бы действовать безрассудно с идеологической и моральной точки зрения и не могла бы, действуя так, надолго удержаться у власти. После окончания первой пятилетки Сталин сказал: «Если бы мы не создали партийного аппарата, мы потерпели бы неудачу». Ему следовало сказать: «Если бы мы не создали нового класса»; тогдв все было бы ясно.

На первый взгляд, утверждение, что политическая партия положила начало какому-то новому классу, кажется странным. Обычно партии являются продуктом классов или слоев общества, достигших духовного и хозяйственного могущества. Но анализ фактического положения вещей в дореволюционной России и в других странах, где коммунизм одержал победу над другими национальными силами, показывает, что возникновение партии такого рода — результат особо благоприятных условий, а не случайность. Несмотря на то, что корни большевизма далеко заходят в прошлое России, партия все же в некоторой мере обязана своим возникновением той особой международной обстановке, в которой Россия оказалась в конце 19-го и в начале 20-го столетия. Оставаясь абсолютной монархией, Россия не могла бы существовать в современном мире, а русский капитализм был слишком слаб и слишком зависел от интересов иностранных держав, чтобы своими силами провести промышленную революцию. Индустриализация страны могла быть совершена только новым классом и путем перемены общественного строя. Но класса этого еще не было налицо.

Для истории не имеет значения, кто именно осуществит назревшую в ней перемену; важно одно: чтобы она была осуществлена. Таково как раз и было положение в России и в других странах, где произошла коммунистическая революция. Революция сама создала силы, идеи, организации и вождей, которые ей были необходимы. Появление нового класса объясняется объективными причинами и лишь во вторую очередь волей, действием и уменьем ее вождей.

2

Социальные корни нового класса нужно искать в пролетариате, подобно тому, как аристократия возникла из крестьянского общества, а буржуазия — из общества торговцев и ремесленников. В зависимости от национальных особенностей возможны исключения, но в экономически мало развитых странах отсталый пролетариат именно и представляет собой тот сырой материал, из которого возникает новый класс.

Есть и другие причины, по которым новый класс выступает, как защитник рабочего класса. Новый класс антикапиталистичен, следовательно он должен опираться на трудящиеся массы. Новый класс находит опору в борьбе пролетариата и в его традиционной вере в социалистическое или коммунистическое общество, где не будет грубой эксплуатации. Кроме того, для нового класса очень важно обеспечить нормальный ход производства, а раз так, то он не может терять свою связь с пролетариатом. Но всего важней для него тот факт, что без помощи рабочего класса он не может провести индустриализацию и не может укрепить свою власть. С другой стороны, рабочий класс видит в усиленном развитии промышленности спасение от нищеты и отчаяния. В течение долгого периода времени интересы, идеи, убеждения и надежды нового класса и части рабочего класса, а также крестьян-бедняков, совпадают и объединяются. Такого рода единение между совершенно различными классами наблюдалось и прежде. Ведь представляла же буржуазия интересы крестьянства в борьбе против феодальных властителей.

Продвижение нового класса к власти является результатом усилий пролетариата и бедняков-крестьян. Они представляют собой те массы, на которые партия, то есть, новый класс, должна опираться и с которыми ее интересы больше всего совпадают. Но это верно лишь до тех пор, пока новый класс не установит окончательно своей власти и могущества. После этого новый класс интересуется пролетариатом и крестьянской беднотой лишь постольку, поскольку он нуждается в них для развития производства и для того, чтобы держать в подчинении наиболее агрессивные и непокорные социальные силы.

Монополия, которую новый класс захватывает таким образом, во имя трудящихся, над всем обществом, это, прежде всего, монополия власти над самими этими трудящимися. Прежде всего это монополия в области мысли над так называемым авангардом пролетариата, а затем и над всем пролетариатом. Это наибольший обман из всех, которые новому классу предстоит совершить, и это вместе с тем показатель того, что мощь и интересы нового класса связаны в первую очередь с промышленностью. Без промышленности новый класс не может укрепить своего положения и своей власти.

Люди, вышедшие из рабочего класса, входят в новый класс, как самые убежденные и твердые его представители. История учит нас, что и в прежние времена наиболее умные и способные рабы переходили в ряды правящего меньшинства. Точно так же и теперь новый правящий и эксплуатирующий класс возник из эксплуатируемого класса.

3

Когда критикуют коммунистический строй, его основную черту видят, обычно, в том, что народом правит бюрократия, организованная наподобие особого общественного строя. Это, в общем, верно. Однако более тщательный анализ показывает, что лишь особый слой внутри самой бюрократии, состоящий из людей, не занятых непосредственно административной работой, составляет ядро *правящей* бюрократии или того, что я называю новым классом. Это и есть партийная или политическая бюрократия, тогда как другие бюрократы — всего лишь аппарат, подчиненный новому классу. Аппарат этот громоздок и медлителен, но без такого аппарата не может обойтись никакое социалистическое общество.

Социолог, таким образом, может провести различие между разными категориями бюрократов; на практике, однако, это различие исчезает. И объясняется это не только тем, что коммунистический строй бюрократичен по своей природе, но и тем, что коммунистам приходится выполнять самые разнообразные бюрократические функции. Кроме того, высшие политические бюрократы не могли бы пользоваться своими привилегиями, если бы не бросали крох со своего стола другим категориям бюрократов.

Важно отметить основную разницу между политической бюрократией такого рода и бюрократией, которая появляется повсюду, в результате централизации современной экономики, особенно если централизация эта ведет к коллективным формам собственности, таким, как монополии, акционерные общества и государственная собственность. Хорошо известно, что численность административного персонала в капиталистических монополиях и в национализированной промышленности Запада все время возрастает. Однако, если между этими администраторами и коммунистическими бюрократами есть много общего, особенно в отношении групповой солидарности, полного тождества между ними все же нет. Государственные служащие и другие бюрократы и в некоммунистических странах образуют особый общественный слой. Но у них нет той власти над обществом, которая есть у коммунистов.

В некоммунистических странах бюрократами правят люди, облеченные политической властью и обычно избираемые народом, или же они подчиняются владельцам предприятий, а коммунистами никто не правит и никакого хозяина над ними нет. В некоммунистических странах бюрократы это чиновники или служащие в современном капиталистическом хозяйстве. Коммунисты — нечто совсем иное и новое; они — новый класс.

Как и для всех собственнических классов, доказательство того, что это действительно особый класс, следует искать как раз в этом его собственничестве, а также в его отношениях с другими классами. Точно так же, чтобы определить к какому классу относится тот или другой человек, следует выяснить, какие материальные и другие преимущества приносит ему собственность.

По римскому праву, собственность представляет собой сочетания прав владения, пользования и распоряжения имуществом. Коммунистическая политическая бюрократия владеет, пользуется и распоряжается национализированной собственностью.

Если признать, что принадлежность к этой бюрократии или, что то же, к новому собственническому классу определяется пользованием привилегиями, связанными с собственностью, а в данном случае с собственностью национализированного имущества, то следует отметить, что принадлежность к новому партийному классу или к политической бюрократии дает больше материальных благ и привилегий, чем это полагалось бы при более нормальной структуре общества. На практике эти собственнические привилегии нового класса проявляются в исключительном праве политической бюрократии распределять, на основании принадлежащей ей партийной монополии, народный доход, устанавливать заработную плату, направлять экономическое развитие страны и распоряжаться национализированным и другим имуществом. Таким, собственно, и представляется положение рядовому гражданину, считающему коммунистических бюрократов богатыми людьми, людьми, которым нет надобности работать.

По многим причинам, сохранение частной собственности было найдено неблагоприятным для утверждения власти нового класса. Кроме того, уничтожение частной собственности было необходимо для радикального экономического преобразования страны. Новый класс утверждает свою власть, привилегии, идеологию и обычаи на основе особой формы собственности, собственности коллективной, которой этот класс распоряжается от имени общества и народа.

С точки зрения нового класса, собственность проистекает из определенных производственных отношений. Но на деле они сводятся к отношениям между монополистами администрации, образующими узкий и замкнутый социальный слой, и массой производителей — крестьян, рабочих и интеллигенции, — лишенных каких бы то ни было прав. Но это еще не все, принимая особенно во внимание, что коммунистическая бюрократия пользуется полной монополией контроля и в области распределения материальных благ.

Всякое значительное изменение отношений между теми, кто монополизирует в своих руках администрирование, и теми, кто фактически работает, неизбежно отражается на режиме собственности. Социальный и политический строй, монополия власти и монополия собственности в коммунистической системе гораздо неразрывней связаны между собой, чем в какой угодно другой системе.

Лишить коммунистов их права собственности значило бы уничтожить их как класс. Заставить их отказаться от этой их привилегии ради того, чтобы рабочие могли участвовать в прибылях, приносимых их трудом, как они это делают, в результате стачек и социального законодательства, в капиталистических странах, значило бы лишить коммунистов их монополии, распространяющейся как на собственность, так и на идеологию и государственную власть. Это было бы началом демократии и свободы в коммунизме и означало бы конец коммунистической монополии и тоталитарного режима. Пока

Лагерная поэзия

Александр Леонидович ЧИЖЕВСКИЙ (1897—1964) — выдающийся ученый, поэт-философ. Находился в заключении в 1942—1950 годах, затем до 1958 года — в ссылке в Караганде.

ГЕТЕ

История, не думая, тебе простит:
Пороки, слабости ошибки, заблужденья
За сверхвеличие бессмертных дел твоих,
Но лишь двух слов простить не сможет —
не простит:
Кровавых слов, начертанных, как осужденье,
Тобой на смертном приговоре: «Auch ich».*

11 апреля 1943
Челябинск

* Я согласен (нем.).

* * *

Все приму от этой жизни страшной —
Все насилья, муки, скорби, зло,
День сегодняшний, как день вчерашний —
Скоротечной жизни помело.

Одного лишь принимать не стану —
За решеткою темницы — тьму,
И пока дышать не перестану
Не приму неволи — не приму.

12 апреля 1943

Юрий Васильевич ГРУНИН (род. 1922). Архитектор, художник. Участник Великой Отечественной войны, в 1942 году попал в плен, до 1945 года находился в фашистских концлагерях, в 1945—1955 годах — в советских лагерях как бывший военнопленный.

ДЕНЬ ПОХОРОН СТАЛИНА

Над городом воют сирены.
Над городом стелется дым.
Устав от работы, смиренно
под стражей без шапок стоим.

Застыв в молчании вечность.
Молчит напряженно конвой.
И холодно, в общем, конечно,
с остриженною головой.

Все, кроме сирен, замолчало.
Молчит в автоматах свинец.
А завтра — все снова сначала!
И где же какой-то конец!

Над городом — в трауре флаги.
В душе — ни слезы, ни огня.
Молчит затаившийся лагерь
в преддверии нового дня.

1953

Юрий Александрович СТРИЖЕВСКИЙ (род. 1908). Радиоинженер. Литератор. Участник Великой Отечественной войны, был в ополчении, попал в фашистский плен, бежал, в 1945 году вернулся в Москву и в тот же день был арестован. В заключении находился в 1945—1955 годах на Колыме.

* * *

К нам сюда, в глухое заточенье,
Радость не приходит никогда.
Как холодные стальные звенья
Дни пустые нижутся в года.

День на день мучительно похожи.
Бесконечна злая цепь минут:
Каждый день всегда одно и то же —
Те же мысли, тот же рабский труд.

Редки, редки светлые мгновенья:
То о прошлом грезы иль мечты, —
И тогда в стальные эти звенья
Яркие вплетаются цветы.

Вот сегодня, третьего июня,
В час свободный грезя наяву,
Вспомнил я утраченную юность,
Вспомнил я далекую Москву.

Но не ту, что на проспектах гулких
Горделиво к небу вознеслась,
А кривых арбатских переулков
Кружевную сказочную вязь.

И не башни те, что над Москвою
Сторожами вечными стоят,
А дворы, поросшие травою,
И узор бесхитростных оград.

Вспомнил я, какие молодые
Были мы в тот лучезарный день,
Когда в нашу комнату впервые
Я принес цветущую сирень.

Вспомнил вечер тихий над Москвою:
Был морозец, падал крупный снег.
Как мы были счастливы с тобою!
Как был весел легких санок бег.

И еще припомнил я с тоскою,
Как далекий и прекрасный сон,
Старый парк, пригорок над рекою
И курантов дальний перезвон.

К нам сюда, в далекое изганье,
Радости дорогу не найти.
Нам остались лишь воспоминанья
О далеком пройденном пути.

1951, прииск Днепровский

этого нет, нет и признаков того, что в коммунистических странах происходят существенные, решающие перемены. Так, по крайней мере, должны думать люди, принимающие социальный прогресс всерьез.

Собственническая монополия нового класса, как и сама принадлежность к этому классу, могут рассматриваться, как привилегии, присущие администрированию. Администрирование это простирается от управления государством и промышленностью до надзора за всеми видами общественной и культурной деятельности. Политическое, партийное и так называемое «общее руководство» осуществляется ядром нового класса. С этим-то руководящим положением и связаны привилегии. В своей работе «Сталин у власти», вышедшей в Париже в 1951 году, Орлов утверждает, что средняя заработная плата советского рабочего составляла в 1935 году 1.800 рублей в год, в то время как жалованье (с различными прибавками) секретаря райкома составляло 45.000 рублей в год. С тех пор ставки изменились и для рабочих и для партийных чиновников, но соотношение их осталось прежним. Другие авторы приходили к тем же выводам. Разница между оплатой рабочих и партийных работников огромна, этого не удавалось скрыть от иностранцев, посещавших Советский Союз и другие коммунистические страны за последние годы.

Никакой государственный строй не может обойтись без профессиональных политических деятелей, как бы мы о них ни судили. Общество не может существовать без государства и правительства, а поэтому и без тех, кто образует правительство и служит государству. Однако между профессиональными политиками в коммунистических и других странах есть большое различие. В отдельных случаях политические люди повсюду пользуются своими связями с правительством, чтобы получить привилегии для себя и своих сторонников, или, чтобы оказать покровительство экономическим интересам того или другого общественного слоя. Но в коммунистических странах положение совсем иное: там участие в правительственной власти равнозначно владению, пользованию и распоряжению почти всем народным имуществом. Те, кто захватывают власть, захватывают привилегии, а значит, косвенным образом, захватывают и собственность. Вследствие этого при коммунизме стремление к власти или к политике, как профессии, характерно для всех тех, кто хочет вести паразитическую жизнь за счет чужого труда.

До революции быть членом коммунистической партии значило быть готовым на большие жертвы. Считаться революционером-профессионалом была очень большая честь. Теперь, когда партия укрепилась в своей власти, быть ее членом значит принадлежать к привилегированному классу. И ядро этой партии составляют всемогущие эксплуататоры.

Долгое время коммунистическая революция и коммунистический строй скрывали свою настоящую природу. Появление нового класса затушевывалось социалистической фразеологией и, что еще важней, новой, коллективной формой собственности. Но так называемая социалистическая собственность — не более, чем маска, под которой скрывается собственничество политической бюрократии. Вначале, кроме того, политическая бюрократия спешила провести индустриализацию и скрывала свою классовую сущность еще и под этим покровом.

4

В развитии современного коммунизма и в возникновении нового класса явно сказался характер тех, кто это развитие вдохновлял или играл в нем значительную роль.

Вожди и их методы — от Маркса до Хрущева — менялись не раз. Марксу никогда не приходило в голову мешать другим высказывать свои мысли. Ленин допускал в своей партии свободную дискуссию и не считал, что партийные органы, или, еще того менее, глава партии, должны регулировать высказывание каких-либо мыслей, будь то мысли «правильные» или «неправильные». Сталин уничтожил все внутрипартийные дискуссии и предоставил право определять идеологическую линию исключительно центральному партийному органу, т. е. на деле самому себе. В других коммунистических движениях было не так. Международный союз рабочих, основанный Марксом (так называемый Первый Интернационал), не был марксистским по своей идеологии. Это был союз различных групп, который принимал только те резолюции, по которым все его члены достигали соглашения. Ленинская партия была авангардной группой, сочетавшей революционную мораль и идеологическую монолитность с некоторой мерой демократичности. При Сталине эта партия стала массой мало интересовавшихся идеологией людей; все свои идеи они получали сверху, но были ревностны и единодушны в защите системы, гарантировавшей им не подлежавшие сомнениям привилегии. Маркс никакой партии так и не создал. Ленин уничтожил все партии, кроме своей, — в том числе и социалистическую партию. Сталин даже и большевистскую партию отодвинул на второй план, превратив ее ядро в ядро нового класса, а всю партию в целом в безличную и бесцветную массу привилегированных людей.

Маркс создал стройную теорию классов и классовой борьбы, хоть и не он впервые заговорил о классах. Ленин склонен был скорее делить людей на группы, придерживающиеся одинаковых взглядов, чем на классы. Сталин рассматривал всех людей либо как покорных подданных, либо как врагов. Маркс умер в Лондоне бедным эмигрантом, но его уважали ученые и его высоко ценили в социалистическом движении. Ленин умер, будучи вождем одной из величайших революций, но умер, как диктатор, вокруг которого уже начинал образовываться культ. Сталин умер лишь после того, как сам себя обожествил.

Эти личные различия только отражают те перемены, которые происходили в самом движении и меняли его сущность.

Хоть Ленин и не сознавал этого, но он положил начало новому классу. Он организовал партию по большевистским принципам и развил теорию об исключительной и руководящей роли партии в строительстве нового общества. Это только одна сторона его многосторонней и гигантской деятельности, та, что соответствует самим его действиям скорей, чем его желаниям. И как раз за эти его действия новый класс и почитает Ленина.

Подлинным и непосредственным основателем нового класса был, однако, Сталин. Это был человек, не расположенный к долгому раздумью и склонный к грубому юмору; он не был особенно образован, не был и хорошим оратором. Зато он был неутомимым доктринером и отличным администратором. Этот грузин лучше, чем кто-нибудь другой, видел, куда именно вели Россию новые силы. Он создал новый класс самыми варварскими способами, не щадя даже и самого этого класса. Новый класс, поставивший его над собой, неизбежно должен был подчиниться этому неотесанному и ни перед чем не останавливающемуся человеку. Сталин был настоящим вождем нового класса и в то время, когда класс образовывался и укреплял свою власть.

Новый класс родился в лоне коммунистической партии во время революционной борьбы, но развился во время промышленной революции. Без революции, без индустриализации положение нового класса было бы непрочным и власть его была бы ограничена.

Пока страна индустриализировалась, Сталин начал вводить значительные различия в заработной плате, поощряя в то же время рост различных привилегий. Он считал, что индустриализация не удастся, если новый класс не будет материально, то есть собственнически в ней заинтересован. Без индустриализации новому классу было бы трудно удержать свои позиции, так как у него не было для этого ни исторического оправдания, ни твердой материальной базы.

С этим был тесно связан рост численности партии или, что то же, бюрократии. В 1927 году, накануне индустриализации, коммунистическая партия Советского Союза насчитывала 887.233 члена. В 1934 году, в конце первой пятилетки, численность ее увеличилась до 1.874.488 человек. Это было явно связано с индустриализацией; перспективы для нового класса и привилегии для его членов развивались одновременно. Больше того, новый класс и привилегии его развивались быстрее, чем сама индустриализация. Статистические данные по этому вопросу привести трудно, но вывод сам собой ясен, если принять во внимание, что жизненный уровень не повышался соответственно промышленной продукции и что новый класс фактически брал себе львиную долю хозяйственных и всех вообще достижений, которыми он был обязан труду и самопожертвованию народных масс.

Образование нового класса шло не без борьбы. Он встречал ожесточенное сопротивление как со стороны прежних классов, так и со стороны тех революционеров, которые не могли примирить свои идеалы с тем, что происходило в действительности. В Советском Союзе эта оппозиция со стороны революционеров ярче всего проявилась в конфликте между Троцким и Сталиным. Этот конфликт между партийными оппозиционерами и Сталиным точно так же, как конфликт между режимом и крестьянством, все обострялся по мере того, как продвигалась индустриализация и как возрастали власть и могущество нового класса.

Троцкий был превосходным оратором, блестящим, искусным в полемике писателем; он был образован, у него был острый ум: ему не хватало только одного: чувства действительности. Он хотел оставаться революционером и возродить революционную партию в то самое время, как она превращалась во что-то совершенно иное — в новый класс, не заботившийся о высоких идеалах и интересовавшийся только жизненными благами. Он ждал действий от масс, утомленных войной и голодом, в то время, когда новый класс уже крепко держал власть в своих руках и начинал чувствовать всю сладость выпавших на его долю привилегий. Троцкий зажигал фейерверки, огонь которых сиял далеко вокруг; но он был не в силах снова разжечь в усталых сердцах революционное пламя. Он ясно сознавал отрицательные стороны этого нового явления, происходившего на его глазах, но всего значения этих процессов он не понял. Кроме того, Троцкий никогда не был большевиком. В этом была его слабость и его сила. Осуждая партийную бюрократию во имя революции, Троцкий осуждал культ партии и, сам того не сознавая, осуждал новый класс.

Сталин не оглядывался назад, но и не смотрел далеко вперед. Он стал во главе новой власти, которая зарождалась в то время — власти нового класса, политической бюрократии и бюрократизма — и сделался ее вождем и организатором. Он не проповедовал; он принимал решения. Как и его предшественники, он обещал блестящее будущее, но такое будущее, которое бюрократия могла считать осуществимым, потому что для нее жизненные условия улучшались с каждым днем и ее положение все время укреплялось. Сталин говорил бесцветно и без огня, но его реалистический язык был более понятен новому классу. Троцкий хотел распространить революцию на всю Европу; Сталин был не против этой идеи, но рискованные планы такого рода не мешали ему думать о том, что называлось прежде матушкой Россией и, в особенности, о способах укрепления нового строя и об увеличении мощи и престижа советского государства. Троцкий был представителем революционного прошлого, Сталин — человеком сегодняшнего дня, а в силу этого и человеком будущего.

В победе Сталина Троцкий видел термидорианскую реакцию против революции, а именно, бюрократическое искажение дела революции и советского строя. Таким образом, он понимал всю аморальность сталинских методов и глубоко оскорблялся ими. Он был первым, кто, сам того не зная в попытке спасти коммунистическое движение, обнаружил сущность современного коммунизма. Но он не был способен додумать эти мысли до конца. Ему казалось, что было налицо лишь временное возвышение бюрократии, временное искажение революции, и он пришел к выводу, что выход будет найден в перемене наверху, в «дворцовом перевороте». Но когда, после смерти Сталина, дворцовый переворот и в самом деле произошел, стало ясно, что сущность коммунизма от этого не изменилась. Дело было в чем-то более глубоком и постоянном. Советский Термидор Сталина привел не только к установлению правительства, еще более деспотического, чем прежнее, но и к образованию нового класса. Это было продолжением оборотной стороны медали, разгула революции, которая породила и привела к власти новый класс.

Сталин имел такое же, если не большее, право, чем Троцкий, ссылаться на Ленина и революцию, потому что Сталин был, хоть и злонамеренным, но подлинным наследником Ленина и революции.

История не знает второй такой личности, как Ленин, который, благодаря своей настойчивости и гибкости, пустил в ход одну из величайших революций, известных человечеству. Не знает история и другой такой личности, как Сталин, который взял на себя гигантскую задачу укрепить, в отношении власти и собственности, новый класс, возникший в результате одной из величайших революций в одной из самых обширных стран мира.

Позади Ленина, который весь был мысль и страсть, стоит мрачная фигура Иосифа Сталина — символ трудного, жестокого, ни перед чем не останавливающегося восхождения нового класса к его нынешнему полновластию.

После Ленина и Сталина пришло то, что должно было прийти: посредственность в образе коллективного руководства. Пришел также простоватый на вид, добродушный интеллигент, «человек из народа» — Никита Хрущев. Новому классу более не нужны революционеры или теоретики; он довольствуется людьми обыкновенными, такими, как Хрущев, Маленков, Булганин или Шепилов, каждое слово которых отражает мышление среднего обывателя.

Новый класс устал от догматических чисток и уроков политической грамоты. Он хочет жить спокойно. Достаточно укрепившись, этот класс ищет защиты даже от своего собственного, им же уполномоченного вождя. С его точки зрения, Сталин был хорош, когда он сам, этот класс, был еще слаб, когда жестокие методы были необходимы даже против тех, кто в рядах самого нового класса проявлял склонность к каким-либо уклонам. Но теперь это стало ненужным. Не отказываясь ни от чего, что было создано под руководством Сталина, новый класс за последние несколько лет как будто уже не подчиняется сталинскому авторитету, но на самом деле он не от авторитета Сталина отказывается, а только от сталинских методов, которые, по словам Хрущева, приносили вред «хорошим коммунистам».

Революционная эпоха Ленина сменилась эпохой Сталина, при которой власть и собственность, а также индустриализация были настолько укреплены, что для нового класса могла начаться желаемая им мирная и обеспеченная жизнь. Революционный коммунизм Ленина сменился догматическим коммунизмом Сталина, которому в свою очередь пришел на смену недогматический коммунизм так называемого коллективного руководства, то есть группы олигархов.

Таковы три фазы развития нового класса в Советском Союзе и русского коммунизма, да и, в общих чертах, всякого другого коммунизма.

На долю югославского коммунизма выпало соединить все эти три фазы в лице Тито и окрасить их присущими ему личными и национальными чертами. Тито — выдающийся революционер, но у него нет сталинской подозрительности и догматизма. Подобно Хрущеву, Тито — человек, вышедший «из народа», иначе говоря, из средних слоев партии. Весь путь, который прошел югославский коммунизм — совершая революцию, копируя сталинизм, затем отказываясь от сталинизма и пустившись в поиски собственного лица — весь этот путь выражен в личности самого Тито. Югославский коммунизм был более последователен, чем другие коммунистические партии, сохраняя сущность коммунизма, но в то же время не отказываясь видоизменять его по мере надобности.

Эти три фазы в развитии нового класса — Ленин, Сталин и «коллективное руководство» — ни по сущности, ни по идеям не отделены полностью одна от другой. При случае и Ленин склонялся к догматизму, и Сталин прибегал к революционным методам; точно так же и коллективное руководство прибегнет к тому или другому, если это будет нужно. Больше того, если догматизм и не свойствен самому коллективному руководству, то есть верхушке нового класса, то, по его мнению, весь народ должен еще более упорно «воспитываться» в духе все той же догмы, в духе марксизма-ленинизма. Тем не менее, не исключена возможность, что, укрепляя свою экономическую мощь, ослабляя догматическую суровость и исключительность, новый класс станет более гибким.

Героическая эра коммунизма прошла. Эпоха великих вождей кончилась. Настала эпоха практиков. Новый класс создан. Сейчас он в зените своей власти и благосостояния, но никаких новых идей у него нет. Ему нечего больше сказать народу. Единственное, что остается сделать этой власти, это — оправдать себя.

В МИРЕ КНИГ

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ

Произведения на исторические сюжеты всегда были чрезвычайно популярными среди читателей, но особенно на сюжеты военные. Рискнем даже сказать, что они стали самыми популярными среди всех жанров литературной словесности.

В последнее время у нас и во всем мире резко поднимается интерес к литературе документально-исторической. Романы и повести на исторические темы все более уравниваются в восприятии читателей с подлинными мемуарами, дневниками, документальными сборниками, переписной участников событий и т. п. Характернейший тому пример — многомиллионные издания воспоминаний маршала Г. К. Жукова, хотя написаны они без всякой попытки развлечь читателя, даже несколько суховато. Видимо, человеческое общество делается с годами более зрелым... И хотя читательские запросы и вкусы у нас изучаются пока неважно, можно с уверенностью предположить, что читатель жуковских воспоминаний более культурен, чем почитатель романов про Штирлица.

Настоящий сборник — сугубо военно-исторический. Он посвящен истории первой мировой войны — грандиозной, планетарной, военной катастрофы, небывалой до той поры в жизни человечества. В сборнике представлены, пожалуй, все виды исторического жанра: роман, воспоминания, очерки, документы, репортерские зарисовки и пр. Со дня окончания первой мировой войны только что миновало семьдесят лет. Срок для исторической памяти ничтожный, да и сколько крупнейших событий и драм разыгралось на земном шаре с ноября 1918 года! Казалось бы, изучение первой мировой войны можно отложить на более поздние времена, не делая особой разницы между ней и войнами Столетними или Тридцатилетними!

Оказывается, нет. Первая мировая война напряженно изучалась и изучается историками многих стран.

Долгий и многообразный интерес этот отнюдь не случаен. Мало ли было в истории человечества разного рода войн, битв, опустошительных нашествий и героического отпора захватчикам! Но та самая война, именуемая первой, — после бесчисленного множества предшествующих — была все же особой.

С. СЕРГЕЕВ

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. / Сост., предисл., вступ. статьи к документам и коммент. С. Н. Семанова. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 608 с., ил. — (История Отечества в романах, повестях, документах. Век XX).

КНИГОЧЕЮ НА ЗАМЕТКУ

Брюсов В. ЛЕТОПИСЬ ИСТОРИЧЕСКИХ СУДЕБ АРМЯНСКОГО НАРОДА. Ереван: Айастан, 1989. — 181 с. — 95 к. 20 000 экз.

Бузукашвили М. И. ЕРМАК. М.: Воениздат, 1989. — 144 с. — (Героич. прошлое нашей Родины). — 30 к. 50 000 экз.

Фрейденберг М. М. ДУБРОВНИК И ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ. — 2-е издание, перераб., доп. — М.: Наука, 1989. — 303 с., ил. — 2 р. 10 к. 8 200 экз.

Цауне А. В. РИГА ПОД РИГОЙ: Рассказ археолога об исчезнувших постройках древней Риги / Пер. с лат. — Рига: Зинатне, 1989. — 136 с., ил. — 1 р. 50 к. 30 000 экз.

Иоффе Г. З. «БЕЛОЕ ДЕЛО». ГЕНЕРАЛ КОРНИЛОВ. — М.: Наука, 1989. — 288 с., ил. — (Страницы истории нашей Родины). — 1 р. 50 к. 50 000 экз.

ПЕРВЫЙ ШТУРМ САМОДЕРЖАВИЯ. 1905—1907 / Под общ. ред. В. В. Журавлева. — М.: Политиздат, 1989. — 543 с. — (История КПСС в воспоминаниях современников). — 1 р. 70 к. 75 000 экз.

Валишевский К. ИВАН ГРОЗНЫЙ: Репринтное воспроизведение изд. 1912 г. — М.: Совместное сов.-финское предприятие «ИКПА», 1989. — 196 с. — 12 р. 200 000 экз.

ЛИТЕРАТУРА

СТИХИ. РАССКАЗ. ПОРТРЕТ.

ИЗ-ПОД ЗАПРЕТА

Это имя до сих пор остается в числе забытых, а точнее — вычеркнутых, вымаранных из истории русской литературы XX века. Хотя в 1975 году А. И. Солженицын писал о нем: «На Дону... не угасла, еще сочится тонкою струйкой память и о прежнем донском своеобразии, и о прежних излюбленных авторах Дона, первое место среди которых бесспорно занимает Федор Дмитриевич Крюков». Столь же высокую оценку давали ему современники: «Федор Дмитриевич Крюков, несомненно, одно из самых ярких и радостных явлений в жизни нашей земли Всевеликого войска Донского. Он первый и сильнейший национальный донской писатель. Он певец казацкой души, певец наших исконных казацких родимых синих рек — Дона и Медведицы».

Эти слова были произнесены в станице Усть-Медведская (ныне — г. Серафимович Волгоградской области) в 1918 году — в самом начале гражданской войны на Дону, в которой писатель Федор Крюков, как и писатель Иван Бунин, оказался по ту сторону баррикад. Бунин — сотрудником белогвардейских газет в Крыму, Крюков — редактором «Донских ведомостей», центрального органа белого казачества. Оба они к тому времени принадлежали к числу известнейших русских писателей. В 1918 году в Усть-Медведской отмечалось двадцатипятилетие литературной деятельности Федора Крюкова, вышел юбилейный сборник «Родимый край», который и открывался приведенными выше словами о «первом и сильнейшем национальном донском писателе».

Так оно и было на самом деле. Федора Крюкова к тому времени достаточно хорошо знали не только как писателя и «певца казацкой души», но и как депутата Первой Государственной Думы. Вся его жизнь и писательская судьба связаны с судьбами казачества, с Тихим Доном.

Родился Федор Дмитриевич Крюков 2 (14 февраля) 1870 года в донской станице Глазуновская в семье станичного атамана. В 1892 году окончил петербургский Историко-филологический институт и двенадцать лет учительствовал в орловской гимназии, а затем в реальном училище Нижнего Новгорода. В 1905 году, выйдя в отставку, вернулся на свою «малую» родину. К тому времени его уже знали на Дону по «Очеркам из быта стародавнего казачества» и донским рассказам. «Крюков писатель настоящий, — отмечал В. Г. Короленко, — без вывертов, без громкого поведения, но со своей собственной нотой, и первый дал нам настоящий колорит Дона».

Так что в Первую Государственную Думу от Области Войска Донского его избрали тоже далеко не случайно. Донской край увидел в нем выразителя своих дум и чаяний.

Можно сказать даже больше. Федор Крюков разделил трагедию Тихого Дона от начала и до конца. А началом был 1906 год, когда казаков бросили на подавление волнений в Одессе. Тогда-то впервые со страниц печати и прозвучал этот жуткий призыв к «расказачиванию». Так что Троцкий и Свердлов в 1918-м лишь довели до логического завершения — до террора, до физического уничтожения миллионов (по принципу: кровь за кровь) — то, что закладывалось уже в 1906-м. А первым, кто публично выступил в Думе против использования казаков в карательных акциях, был депутат Федор Крюков.

Через пятнадцать лет он сам станет одной из жертв братоубийственной гражданской войны, заставшей его в родной Глазуновской. Федор Крюков с самого начала примкнул к белому казачеству, хотя среди красного казачества были многие его личные друзья, в том числе знаменитый командарм Ф. К. Миронов. Существует легенда об их встрече в 1918 году, когда в слободе Михайловке к красному командарму Миронову привели пленного белогвардейца — его давнишнего друга Крюкова. И Миронов отпустил его с миром. Отпустил не белогвардейца, а писателя...

В августе 1918 года Федора Крюкова выбирают секретарем Большого войскового круга — высшего органа власти Всевеликого войска Донского. С апреля 1919 года — он редактор «Донских ведомостей».

От тех времен остались многочисленные воззвания и прокламации, подписанные Федором Крюковым, да стихотворение в прозе, которое донские казаки считали своей молитвой, шептали и заучивали его наизусть.

О создании «Родимого края», впервые опубликованного 26 августа 1918 года в газете «Донская Волна», современники рассказывают:

Федор Крюков, живший в станице Усть-Медведской, собрался ехать в родную Глазуновскую, повидать родных. Квартирная хозяйка А. В. Попова, приглашенная участвовать в «летучем» концерте для раненых, обратилась к нему с просьбой написать что-нибудь для ее выступления.

Крюков ответил:

— Что я могу написать вам? Стихов я не пишу...

Это было за час до отъезда, а перед самым выходом из дома он подошел к Поповой и передал листок с наброском «Родимого края», тихо сказав:

— Подойдет, — прочтите, а нет — выбросьте...

В тот же вечер прозвучала мелодекламация Поповой. «С редким по теплоте чувства, — писал очевидец этих событий П. Скачков — искусством стала читать это стихотворение, под мелодию казачьих песен, полную тоски и грусти. Прочитанный несколько раз подряд «Родимый край» произвел на присутствующих неизгладимое впечатление...»

Как в «Родимом крае», так и в других произведениях Федора Крюкова несомненны черты поэтизации казачьей вольницы. Но это вовсе не значит, что писатель не видел всего трагизма исторических судеб России. Видел, а потому восклицал: «Да, была она неумытая, тупо терпеливая и тупо жестокая, убогая, пьяная великая Русь. Но отчего же так неутолимо тоскует по ней сердце, отчего так жаль ее, со всей ее темнотой и грязью и вонью, кроткой тихостью и пьяными слезами, с ее городовыми и жуликами, старыми наивными церковками и питейными домами, университетами и кутузками? Почему кажется сейчас, что все в ней было такое чудесное, славное, какого нет ни в одной стране на свете?»

20 февраля 1920 года Федор Крюков умер в станице Новокорсунская (ныне — Краснодарский край), унося с собой этот образ уходящей Руси.

А имя донского писателя Федора Крюкова, с тех пор преданное, казалось бы, полному забвению, тем не менее появилось вновь в 30-е и в 70-е годы. Еще в дореволюционные годы В. Г. Короленко называл крюковские рассказы «очерками Тихого Дона». И вот сразу же после выхода шолоховского «Тихого Дона» пополз слух о том, что автор его — не Михаил Шолохов, а Федор Крюков. Сначала слух, а затем и книга, вышедшая в 1974 году в Париже «Стремя «Тихого Дона»: загадки романа» под псевдонимом Д., который до сих пор не раскрыт. Вслед за этой книгой, в 1975 и 1977 годах, в Париже и Кембридже, вышло еще два исследования, принадлежавшие перу Роя Медведева: «Куда течет «Тихий Дон»?» и «Кто написал «Тихий Дон»?» В этих книгах развивается концепция критика Д.

На Западе существует уже целая литература о Федоре Крюкове — авторе «Тихого Дона». Только у нас эта тема оставалась в числе запретных. И вот только сейчас в восьмом номере журнала «Вопросы литературы» за 1989 год с нее наконец-то снято табу. В «Дискуссионной трибуне» слово предоставлено историку Рою Медведеву, филологу Герману Ермолаеву и литературоведу, автору книги «Тихий Дон» — литература и история» Сергею Семанову. Профессор Принстонского университета Герман Ермолаев еще в 1975 году выступил основным оппонентом Роя Медведева, доказывая несостоятельность его гипотезы об авторстве Федора Крюкова. Позднее к нему присоединился скандинавский исследователь Г. Хетсо, доказавший подлинность шолоховского «Тихого Дона» с помощью проверки авторства на компьютере...

Но до нас все эти исторические и филологические споры дошли с пятнадцатилетним опозданием. Хочется надеяться, что и здесь время гласности окажется способным положить конец пересудам и сплетням. Федор Крюков вернется в историю русской литературы как один из предшественников Михаила Шолохова, что нисколько не умаляет значение ни Михаила Шолохова, ни его гениальной народной эпопеи «Тихий Дон».

А для этого — прежде всего — необходимо издать донские рассказы Федора Крюкова. В начале 1990 года сборник повестей и рассказов Федора Крюкова выйдет в серии «Кубанская библиотека» Краснодарского книжного издательства, книги его запланированы к изданию в «Современнике» и «Советском писателе».

Виктор КАЛУГИН

ФЕДОР КРЮКОВ

СТАНИЧНИКИ

На дворе толпился народ. Стояла арба с сеном, запряженная рыжею кобылой. Конец пики, привязанной к дрогам, сверкал на солнце острым блеском. Гнедой поджарый конь, «строевой», привязанный к сохе у сарая, тянулся к арбе, нетерпеливо рыл копытом землю и изредка, с видимой досадой, дергал зубами старую, перепревшую солому сарая.

Из дома глухо доносились песни. Что-то однообразно-протяжное и грустное, волнующее сердце неясною болью скорбного раздумья. Выходили иногда казаки, красные, вспотевшие, с мокрыми волосами. В руках у одного был старинный пистолет с широким, ржавым дулом и с резной ручкой; у другого — дробовое ружье. Ребятишки тотчас же, как стая воробьев к мякине, собрались к этому магическому оружию. Казак с пистолетом пьяным ухарским голосом кричал:

— Девки, берегись! ушибу!

И целился в девчат, запрудивших двор пестрым цветником. Они с визгом разбегались в стороны. Тогда он, опустив дуло пистолета книзу, чтобы пыж не летел далеко, делал выстрел.

— У-у-у! бу-бу! — дружно и восторженно вторили выстрелу ребятишки и бросались за разбитой пистонкой.

Потом стрелял другой казак, и опять ребятишки радостно кричали и дрались из-за брошенной разбитой пистонки.

Эти периодические выстрелы раздавались с самого утра в разных концах станицы. Станица провожала своих сынов на войну. И песни слышались всюду, грустные, песни разлуки, прощанья, песни тоски по родине и проклятия чужбине. Станица всегда поет, — и провожая свою молодежь, и встречая ее. А провожать и встречать ей приходится часто. Хорошо встречать... Звенит бодрая, радостная песня приветствия тихому Дону:

Подошли мы к Дону близко:
— Здравствуй, наш отец родной!..

Но провожая, станица плачет и стонет о стонах нестерпимой материнской муки, о запустелом доме, о сиротстве детей, о неумолимой тоске в постылой чужедальной стороне, где постелюшка — мать-сыра земля, изголовьице — бел-горюч камень, одеяльце — шелкова трава...

Старая вдова Варвара Аксеновна провожала младшего сына.

В горнице было тесно, жарко, душно... У стен, по лавкам, около стола на некрашеных табуретках и скамьях сидели наиболее почтенные возрастом гости — соседи и близкие родственники. Молодые казаки стояли у задней стены и, вспотевшие, красные, с серьезными лицами, пели песни. В передней избе сидели женщины. В дверях торчали ребятишки. Старик в коротком пальто офицерского покроя и в поршнях, тесть служивого, наливал разнокалиберные стаканчики и рюмки, стоявшие на жестяном подносе с ярким цветком, и разносил присутствовавших, строго наблюдая очередь и старшинство.

— Ой чер-ный во-рон... чер-ный во-о-рон... — говорила песня, наполняя всю горницу тягучими звуками и покрывая громкий, одновременный говор подвыпивших казаков.

— Ой что-о-ж ты вье-е-шься на-э-до мно-о-и... — спрашивали угрюмо басы.

— Э-о-э-а-о... э-э-я-я-а-о... — грустно звенел подголосок, точно плакал о горечи одинокой смерти на чужой стороне.

— Да.. мы, бывало, вон как служивали! — дребезжал пьяный, назойливый стариковский голос: — без копейки домой не вертались, а бывало так, что и золотце по рукам проскакивало... А теперь не то, что домой — из дома лишь успевай готовить...

— За здоровье всех пленных и нас военных! — выкрикивал другой голос, выделяясь из общего гомона.

Оратор, черный казак-артиллерист, стоял с рюмкой в руке, расплескивая на стол водку. Тост нравился ему своей звучной рифмой, и он настойчиво повторял его каждый раз, как только доходила до него очередь брать с подноса рюмку.

— Андрюша! Андрей!.. племянничек дражайший мой! за твое, милый, здоровьице! И за твое, Никан!.. Бейте, милые мои, японца во славу русского оружия!.. Крупаткин так и сказал: «как хотите, а без донцов я не согласен воевать»... Н-ну... так покажите им, милые мои, донскую разведку!.. Лупи и... кончено дело! За здоровье всех пленных и нас военных!.. Донские господа колышутся, как вода!..

Служивый, Андрей Шурупов, стоя, с грустной, покорной и кроткою улыбкой выслушивал все напутствия. В его простом, открытом лице с русою бородкой, в широких, слегка опущенных плечах усердного земледельца было что-то покорное судьбе, смирное и вместе неуклюже-могучее. Он молча сидел за столом, покоряясь силе обычая, выпивал в свою очередь подносимую ему гостем рюмку, кланялся на здравицы и грустно глядел на дверь, возле которой стояла, пригорюнившись, его мать с пятилетней внучкой Хрестей, его дочкой.

— Сторона, парень, не плохая, — говорил ему сидевший с ним рядом Никашка, его двоюродный брат. Он служил в охранной страже, в Маньчжурии, и по болезни вернулся домой, а теперь опять попал в мобилизацию, и их провожали вместе.

— Хорошая сторона... Всегда при деньгах... А поесть — взял ружье, пошел, набил... вот тебе всякая птица, зубра, коза дикая... Она в половину дня идет на водопой. И тут уж она ничего не видит: упрется в землю лбом и идет...

Слова Никашки прыгали и катались среди других, толпящихся звуков. Колыхалась и плыла песня, выстрелы доносились со двора, и лицо матери, скорбно задумавшееся, с застывшей горькой складкой, одно стояло в глазах.

— Не пошел бы я оттоль, — продолжал Никашка, нагибаясь близко к Андрею и дыша на него запахом водки: — но... пишут, что дед умом повредился, брату выходить в полк, а у жены капусту порубили: с друзьями гуляет... Пошел к доктору: так и так, ваше благородие, заставьте вечно Богу за вас молить... — «Ах, — говорит, жаль, Оводов: брехуна такого у нас не останется... Ну, так и быть... иди на тихий Дон»... Придумал мне болезнь и... вот я дома, да не на... долго...

И опять песня развертывалась, ширилась и топила звуки говора. Коротко стукались в стекла выстрелы, и горько глядело милое лицо матери.

— Знать я этого не хочу! — дребезжал стариковский голос в переднем углу: — быть этого не может! Мы хвалимся своей религией, яко с нами Бог, а они — какие-нибудь магометы... И чтобы нас?.. они?.. Ни в жизнь!.. Сам пойду, — даром, что шестьдесят третий год и... никогда! Мне лишь бы враз... не копаться! А то, как начнут слезокапить эти бабы, — и тут на месте умрешь... А чтобы сразу, по кавказски! Амаром кинулся и... шабаш!

Было уже далеко за полдень. Допивали третью четверть, которую купил тесть служивого — Иван Нефедыч. Андрей ушел в кухню полудневать. Жена и мать стояли у стола и смотрели на него, грустные, скорбные, такие несчастные и жалкие. Дети — сынишка Агашка семи лет и Хрестя — сидели с ним за столом и бросали друг в друга семечками и корками соленого арбуза. Андрей ел нехотя. Тяжело было на сердце, а от водки жгло внутри. И невыносимо грустно было видеть пригорюнившуюся мать, подпершую темным, морщинистым кулаком свое лицо, на котором каждую черточку, каждую морщиночку теперь хотелось бы запомнить навсегда, навеки, красивую и молчаливую.

Он встал из-за стола, помолился на образа и низко поклонился им, поблагодарил их в последний раз за хлеб, за соль. И они поклонились ему, своему кормильцу. И обе заплакали.

— Отгостил соколик мой ясный!.. Мой гостечек дорогой... последние часочки... — сквозь слезы заговорила мать.

Он махнул рукой и сказал, уходя:

— Буде... чего там...

У ворот, с улицы, стояли кибитки, арбы с сеном; пики торчали сзади и сверкали на солнце остриями. Верховые казаки и пешие, женщины, старики, дети запрудили всю улицу. Звенели песни.

Пора. Выехали товарищи, ждут... Надо выезжать.

— Ну, сынок, — озабоченно говорил тесть, нежно прижимая к груди четвертую бутыль: — время ехать. Завтра к девяти часам на сборное место поспеть надо... Время...

— Ребята, не молчите! Играйте песни, ребята! — сказал он, с озабоченным видом наливая опять рюмки и стаканчики.

И снова песня всколыхнулась, суровая и печальная.

— Ну, гости дорогие... по одной еще и в путь... Концы в концов, — пора трогаться! — решительно сказал Иван Нефедыч. обходя всех присутствовавших с подносом.

— Ну, гости дорогие... по одной еще и в путь. Концы в концов, — пора трогаться! — решительно сказал Иван Нефедыч, обходя всех присутствовавших с подносом.

Поднос опустел. Иван Нефедыч наставительно сказал что-то на ухо Андрею. Песни смолкли. Андрей подошел к матери и, поклонившись ей в ноги, проговорил быстро и смущенно:

— Благослови, матушка, коня седлать.

Заплакала старуха и, крестя и обнимая голову сына, проговорила:

— Господь тебя благослови, мое милое чадушко! Дай, Господи, во святой час...

Казаки вышли на двор. Оседлали коня. Андрей сел на него и прогарцовал по двору. Желание щегольнуть перед этими нарядными молодыми женщинами, перед всеми зрителями заглушило грусть, наполнило сердце бесконечной радостью, чувством бодрости и удали. Он пустил коня карьером прямо на казачек и, доскакавши до них, сразу осадил его. Суета, веселье и смех поднялись в пестрой, нарядной толпе. Черноглазая Надорка, с которою он так недавно еще гулял, до прихода из полка ее мужа, глядела на него гордым, веселым, любующимся взглядом. В ее прищуренных красивых глазах он хотел бы видеть грусть, а она улыбалась. Он, шутя, взмахнул над ней плетью и круто повернул к крыльцу.

Тесть еще раз обошел с подносом оставшихся в горнице родственников. И когда все держали в руках эти разнообразные стаканчики и рюмки, он сказал дрогнувшим голосом:

— Ну, милый сыночек, послушайся мово совета, стариковского наставления, концы в концов... Старайся... служи примером... веди себя в порядке... молись Богу, не забывай Бога.. И нас не забывай, стариков... Зря не мечись, ну и в обиду не давайся! Вдаль далеко дюже не пущайся, от берега не отбивайся.. Не пьянствуй и не крадь, концы в концов.

Старший брат служивого, Антон, которому надоело слушать разглагольствование старика, сказал весело:

— Красть не крадь, а приворовывай...

Все коротко засмеялись и сейчас же смолкли.

— Ну, и дай тебе, Господи, успеха в делах рук твоих, — продолжал старик наставительным тоном: — пошли, Господи, живым-здоровым назад вернуться, в родительские дома..

— Пошли, Господи! — сказали все разом и вышли.

Затем сели. Торжественная тишина наступила в горнице. Со двора доносился шумный говор, крик ребятишек. Опять коротко стукались в окна выстрелы. Глухо и мягко колыхалась на улице песня.

— Ну, Господи благослови! — перекрестившись, сказал тесть.

Встали и начали молиться. Долго молились и кланялись в землю. Плакала мать и старик-отец, и жена, и брат Антон. Андрей шептал Богу свои собственные молитвы, горячие, простые, трогательные молитвы, кланялся и резко взмахивал головой, откидывая назад длинные, намасленные волосы, которые беспорядочно свешивались и закрывали лицо.

Потом подошел к матери и, ставши перед ней на колени, глухим голосом проговорил исконную, обычную фразу:

— Мамушка! прости и благослови..

Причитая и плача, она говорила что-то, чего нельзя было разобрать сквозь ее рыданья, крестила его и надела ему на шею медный образок дрожащими, сморщенными, трудовыми руками. И уронил он голову в ноги своей родимой и долго рыдал, не поднимаясь с полу, вздрагивая широкими плечами. Все вихрем промелькнуло в памяти: и детство, беззаботное, шумное, резвое детство, и юность с ее первой любовью, милая юность с звонкими песнями, с любительским кулачным боем, и первая служба в полку, и вся трудовая жизнь, небогатая, но ровная, тихая и довольная... И встала темная, хмурая мысль о таинственно-безмолвном и неведомом будущем, тоскливый вопрос: придется ли вернуться? Увидит ли он ее, эту рыдающую старуху, с ее любящим, скорбным взглядом, с ее несравненной материнской лаской?.. Этих милых мазаных детишек с их наивными, славными, испуганными и недоумевающими теперь глазками?.. Этих близких сердцу людей?.. Эти потемневшие родные стены?..

И все плакали, глядя на него.

Он встал и опять кланялся всем в ноги, целовался и говорил каждому глухо-однообразно:

— Прости Христа-ради.

На дворе он подходил ко всем, не исключая и ребятишек, и, прощаясь, со всеми целовался. Старикам и старухам валился в ноги, — прямо в грязь, — хотя они протестовали и удерживали его; молодым отвешивал поклоны в пояс. И у всех, даже ребятишек, при прощании лица принимали выражение печального раздумья, и долго оно не сходило с них.

Потом сел Андрей на коня. Он держал фуражку под мышкой, в левой руке поводья, в правой — старинный пистолет с широким, ржавым дулом. Молодые казаки верхами, теснясь в воротах, выехали на улицу. Служивый остановил коня в воротах, перекрестился, выстрелил... Тронулись кибитки, двинулась арба с сеном. Народ весь схлынул со двора. Прости, родимый кров!..

— Ой-да на закате было красно солнышко, — послышался речитатив молодого голоса.

— На закате оно себе было...

И традиционная песня разлуки заплакала, полилась по улице, поднялась над соломенными крышами хат и, колыхаясь, звеня плачущими, нежными переливами подголоска, полетела умирать в голые рощи верб и тополей за станицу.

Ой-да не думала родимая матушка свою чадушку избыть...
Избыла-то, изжила она во единый скорый час,
Во единый во часочек, в минуточку одну...

1906 г.

РОДИМЫЙ КРАЙ

Родимый край... Как ласка матери, как нежный зов ее над колыбелью, теплом и радостью трепещет в сердце волшебный звук знакомых слов.

Чуть тает тихий свет зари, звенит сверчок под лавкой в уголке, из серебра узор чеканит в окошке месяц молодой... Укропом пахнет с огорода... Родимый край...

Кресты родных моих могил, и над левадой дым кизочный и пятна белых куреней в зеленой раме рощ вербовых, гумно с буреющей соломой и журавец, застывший в думе, — волнуют сердце мне сильнее всех дивных стран за дальними морями, где красота природы и искусство создали мир очарованья.

Тебя люблю, Родимый край...

И тихих вод твоих осоку и серебро песчаных кос, плач чибиса в куге зеленой, песнь хороводов на заре, и в праздник шум станичного майдана, и старый милый Дон — не променяю ни на что...

Родимый край...

Напев протяжный песен старины, тоска и удаль, красота разгула и грусть безбрежная — щемят мне сердце сладкой болью печали, невыразимо близкой и родной...

Молчание мудрое седых курганов и в небе клекот сизого орла, в жемчужном мареве виденья зипунных рыцарей былых, поливших кровью молодецкой, усеявших казацкими костями простор зеленый и родной... Не ты ли это, Родимый край?

Во дни безвременья, в годину смутную развала и паденья духа, ненавидя и любя, слезами горькими оплакивал тебя, мой край Родной...

Но все же верил, все же ждал; за дедовский завет и за родной свой угол, за честь казачества взметнет волну наш Дон седой..

Вскипит, взволнуется и кликнет клич, клич чести и свободы...

И взволновался Тихий Дон... Клубится по дорогам пыль, ржут кони, блещут пики... Звучат родные песни, серебристый подголосок звенит вдали, как нежная струна...

Звенит и плачет, и зовет...

То край Родной восстал за честь отчизны, за славу дедов и отцов, за свой порог родной и угол...

Кипит волной, зовет на бой Родимый Дон...

За честь отчизны, за казачье имя кипит, волнуется, шумит седой наш Дон, — Родимый край!..

1918 г.

ВИКТОР ЛИХОНОСОВ

ПЛЕМЯННИЦА

Когда все еще было свежо в памяти, жили современники, очевидцы «хождении по мукам», когда упомянутое имя человека возбуждало чувство поклонения, печали и гнева, и на уцелевшие фотографии глядели только родственники и друзья, не разрешалось газетам приобщать к печалям истории улей человеческий. И вот время угасло; сопрело живое; поросла свежей травой земля; письма и бумаги цепко, но рассыпчато хранят былое, и кому оно скажет все, и кто нынче пожалеет сокровенно тех несчастливых людей? Они уже слились с вековым туманом и не знают, какое время воспоминаний настало. Туда, где лежат они во прахе, наши вести не дойдут...

Лежит под станицей Новокорсунской и писатель Ф. Д. Крюков и не знает, на сколько десятилетий он был позабыт и в какой день имя его воскресло.

Не помню, какой это был день, — может, день железнодорожника или какой-нибудь промышленности. В сентябре отмечался когда-то день святого Сергия Радонежского, но давно уж переписаны календари.

Был день на земле.

Мы торопились домой, учащали своим нетерпением минуты, и этой утраты времени своей жизни нам было не жаль. Брызгало в ветвях сникшее солнце, в никогда, казалось, не тронутом спокойствии стояли хаты и благодатью дышала кубанская степь.

Надо было завезти товарища в станицу Новокорсунскую к родителям, и мы свернули с шоссе влево.

Уже стемнело.

И в тот час, когда мы ехали и сплетничали о московских знаменитостях, в Краснодаре заканчивались поминки по схороненному писателю, автору романа «Закат в крови» (о гражданской войне). Роман мыкался по редакциям двадцать лет, а когда вышел, близкие к той истории читатели уже успокоились. Пришел срок и писателю.

— Не думал я, — говорил он мне, — что буду так долго умирать. Опубликуйте хоть парочку писем Шкуратова ко мне. Там, где о Крюкове...

Потом уж мне передали, как он насилу дождался своего последнего часа, попросил жену налить в рюмочку коньяку, пробормотал: «Ну, давай, Аня, попрощаемся», опустил голову на подушку и перестал дышать. Не было на Кубани человека, который бы столько десятилетий впитывал историю гражданской войны, столько прочитал в спецхране затененных книг, так распознал секреты биографии и судеб знаменитых лиц; в беседах с екатеринодарским старожилом, уступавшим ему по части эмигрантских сведений, он воскрешал имена, уже всеми забытые.

— Зато я, Григорий Григорьевич, — так по-своему называл старожил Георгия Георгиевича, — больше вашего помню про купца Квасова...

— ...которого я застал глубоким старцем в Риге в 60-е годы...



Федор Крюков с племянницей.

Опустела хата.

Не спеши жить! и душу свою не торопи. Не выдумывай себе цифры будущего — все равно не угадаешь; смакуй отпущенные тебе мгновения, прими случайность как предначертанный знак, для тебя сущий.

Машина наша вдруг обломалась: полетел карданный вал. Только что мы были в станице, попрощались с товарищем, окрылились мечтой о доме. Кривой выезд из станицы, перелесок, длинный стог сена и... и «вселилась роса на жатву мою»: нам определено было заночевать в степи, промерзнуть, а потом и благодарить кого-то за скрещение житийных вех — мы поломались в окрестности вечного покоя писателя Ф. Д. Крюкова. Не в своей земле, далеко от донского ковыля, похоронили его отступавшие станичники. Вот уж точно по книгам старины: были плач и рыдание, печаль горькая, беда нестерпимая, горесть смертная. Едва я вспомнил о Крюкове, все преобразилось вокруг в терновом венке. Луна так же трогательно и таинственно, как в ту пору, когда до нее никто не мыслил дотронуться, разветривала по земле молочный свет. Так же, как всегда, занявшаяся ночь давала всему миру «воссияние звезд» и припугнула, осиротила душу. Кто ж это позвал меня к сему месту? Шестьдесят семь лет лежит здесь писатель Крюков, и некому прийти к нему. Чувствовали ли его кости грохот войны, слышали крики женщин, песни парадные и лирические? Уже нет там разделения на годы мирские и осень не сменяет лето. Дрофы летали на его холм до самой войны, а нынче одни вороны?

— Ну что будем делать? — спросил я шофера. — Холодно.

— Караулить. Может, кто подцепит.

— А не пойти ли в станицу назад, переночуем? Да я не помню, к какому дому мы подъезжали.

— Пересидим до утра.

— Крюкова читал когда-нибудь?

— Нет.

— Тут где-то в Очеретовой балке похоронен. В начале 20-го года.

Мы залезли в машину и включили приемник. Треск, вой оглушили нас. Бесновалась какая-то певичка.

Я сиамская кошка, я сиамская кошка,
Может, правда все это — как знать!
Только жаль мне немножко,
Только жаль мне немножко,
Что меня не сумел ты понять!

Я выбрался из машины и медленно пошел по дороге.

Зачем? Зачем было в нашей последней истории столько крови, слез, разлучения душ, выселений из хат, голода и холода? Зачем приказывали разрезать на куски ризы, стягивать с куполов кресты, заглушить церковные песнопения? Чтобы выпустить потом на сцену жеребцов и ресторанных кобылиц с микрофоном у губ? Зачем погибли невинные души, а великие российские роды исчезли как дым? Чтобы засветились в неоновых судорогах имена идолов в кожаных штанах, с косичками на затылках и серьгой в ухе? И не встанут из гробов страдальцы, не увидят аспидов, не сметут глумление и бесовское действо. Лежат и не знают, на какую разруху нас оставили. Обгнили кровли духовные.

Весной 1920 года они отступали с Дона почти всей станицей Глазуновской. В станице Новокорсунской Ф. Д. Крюков заболел возвратным тифом. С ним был помощник станичного атамана Прохор Иванович Шкуратов.

Через пятьдесят лет П. И. Шкуратов писал на Кубань неизвестно как разыскавшему его Г. Г. обо всем том, что уже сошло вместе с дождями и мало кого интересовало. Г. Г. приглашал его появиться в кубанских местах, показать могилу писателя.

«Я хорошо помню расстояние от дома, где умер Крюков, до бугорка монастыря, но своими ногами я не дойду...»

Его четыре раза забирали в тюрьму, жизнь ему была наказанием, имущество пропало, но сундучок с крюковскими бумагами он заранее передал в надежные руки, и только теперь, когда хранительница состарилась, он забеспокоился о целости архива. Хранительница вызывала его из Душанбе в Ленинград, чтобы «вместе что-то решить...» Он хотел забрать у нее и три своих письма к Крюкову и письмо своего отца. Какие-то донские историки, отец и сын, уже «работали над большой пачкой писем Крюкова», — и слава Богу, но когда и кто возьмется их напечатать?

«Что я найду могилу, в этом уверен, и мне только надо попасть в Новокорсунскую, где мы стояли несколько дней от станицы до хутора, если мне не изменяет память, доехали в тот же день, что и выехали, а ехали очень тихо, с уже умирающим. При этом надо добавить — бежали не только неорганизованные шпаки, но и войска. Я думаю, что ни сестра, ни невестка так и не узнали, что за хутор и что за хозяева: было не до этого. Отлично помню — дом был крайний, по пути на Екатеринодар, и мне нужна только Новокорсунская! А все остальное я так ясно вижу и так мала дистанция и так характерна вся обозримая местность с разломистым буераком, похожим на наш Ближний Березов... и, наконец, бугорок. Ведь могилу придется вскрыть и перевезти прах в Глазуновскую, а лучшим удостоверением подлинности — орден ...кажется, св. Анны...

Но когда? Все мы «ходим под Богом», я в особенности, и у меня очень больные, не терпящие холода, помороженные в Заполярье ноги... И мои годы. Видимо, речь можно вести только о весне, еще и потому, что — как бы ни изменилось все, но для меня, искателя, не может не воскреснуть та весна 20-го!..»

Вскоре он умер в Калининграде в доме престарелых, брошенный своими детьми, которые в оные годы не писали ему из боязни, фактически отреклись от него, виновного, по их мнению, в несчастьях своих ближних.

И чужой человек, кубанский писатель Г. Г. Степанов издалека полюбил его, утешал вниманием и всегда-всегда перечитывал с достойными гостями его письма, а порою передавал письмо мне и просил: «Прочтите еще раз!»

«...слышал я речи Митрофана Богаевского, знал его брата Африкана, едва ли не на моих глазах застрелился донской атаман А. М. Каледин, а Голубов описан в «Тихом Доне» неверно. Десница Господня покарала русский народ, помутила ему душу и павшие (с обеих сторон) и представить не могли, какие муки и страдания уготованы их товарищам, детям и женам в снегах Севера... Читали в писаниях мудрых людей «имя твое напишут на копыте задней ноги», и не думали, что это про нас...»

В низенькой казачьей хате с огромным сундуком в углу пили мы допоздна чаи, слушали романсы Морфесси, а со стены глядела на нас из дальних лет пятилетняя девочка. Дядя крепко, как будто на прощанье, держал ее на колене; ее пальтишко, длинные мягкие волосы, выпущенные из-под венчально-белого чепчика, сурово надутые губки влетели в зрачок фотоаппарата, кто-то напечатал снимок, и, может, дядя подарил ей на память, чтобы она не забывала его, такого уверенного, в казачьей высокой фуражке, в темном кителе с карманами. В чьем сундуке сопрела эта фотография? Ее напечатали в 1918 году в «Донской волне». Как раздобыл ее Г. Г., я не спрашивал. В семидесятые годы мы знаем то, чего не знают племянница и дядя. Девочка сидит на колене и еще не понимает, в какое лихолетье живет, перед кем суждено ей оправдываться за свое казачье происхождение. Ее дядя (как, может, и мы) никогда не узнает, что стало с невинной девочкой после 1920 года. Где и с кем она выросла, за кого вышла замуж, сколько слез пролила? Провековала ли она на чужой стороне или скосила ее смерть на своем пороге? Не попала ли она туда, где трещат морозы? Может, умерла в голодовку? А может, жила она до последних дней на пенсии и никому ничего не рассказывала? Может, одна она и искала могилу дяди под Новокорсунской, нашла и незаметно уехала?

И каждый раз, как приходил я в хату Г. Г., усаживался в свое «постоянное» кресло, на меня глядели из пропавших лет двое: пятилетняя племянница и дядя, девочка без имени и писатель Ф. Д. Крюков. И я думал: что с тобою стало, деточка? дал ли тебе Бог пожить?

И так каждый раз, каждый раз...

1987—88 гг.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ф. Д. КРЮКОВА

В родных местах. Рассказ. Ростов-на-Дону, 1905.

Казацкие мотивы. Очерки и рассказы. Спб. 1907.

Новые дни. (Из школьной хроники). Журнал «Русское богатство», 1907, № 10—12.

Шквал. Журнал «Русское богатство», 1909, № 11—12.

Без огня. Журнал «Русское богатство», 1912, № 12.

Мельком. Журнал «Русское богатство», 1914, 7—9

Рассказы. Т. 1. М., Книгоиздательство писателей в Москве, 1914.

О. Непид. Журнал «Русское богатство», 1916, № 12.

Новое. Журнал «Русское богатство», 1917, № 6—7.

ОЛЕГ МИХАЙЛОВ

ЗАМЯТИНСКИЕ ТОРОСЫ



Евгений Замятин. Портрет работы Б. Кустодиева.

Он вырос на Тамбовщине, в Лебедяни, в семье священнослужителя (сколько бунтарей, мятежников, революционеров подарили нам благочестивые русские батюшки!) и всю жизнь сражался, отстаивал очень неудобное для других право на самостоятельность мысли, на дерзкую и горькую правду.

Великий еретик («еретик» было любимым замятинским словом) — вот, пожалуй, имя, наиболее ему подходящее.

В первую русскую революцию был с большевиками, был большевиком и прошел всю положенную революционеру шкалу испытаний: арест в декабре 1905-го, неотступная мысль о мешочке с пироксилином, оставленном на подоконнике (найдут — виселица), одиночка на Шпалерной; в 1922 году заключен, уже Петроградской ЧК, в то же заведение на Шпалерной с угрозой высылки из России и — случай, подтверждающий, кажется, наличие судьбы — в уже знакомую по предыдущему пребыванию «галерею». Привлечен к суду в 1914-м по обвинению в оскорблении армии и офицерства за обличительную повесть «На куличках»; подвергся за «клевету на социализм» жесточайшей травле осенью 1929 года (когда в пражском журнале «Воля России», без ведома автора, в обратном переводе с английского публиковался его роман «Мы»), был лишен права печататься и вышел из Всероссийского Союза писателей.

Был сослан царским правительством за повесть «На куличках» в Кемь, а в двадцатые годы советским правительством — за все, что высказывал в «Нечестивых рассказах», статьях, романе «Мы».

В 1916 году, словно в добровольное изгнание, отправился строить ледоколы, в июне 1931-го, обреченный на творческое молчание и не видя иного выхода, как выехать за границу, написал Сталину: «приговоренный к высшей мере наказания — автор настоящего письма — обращается к вам с просьбой о замене этой меры другою». При первом же известии о падении царизма в 1917 году стал рваться в Россию: здесь была его любовь, боль, надежда. Позднее он скажет: «если бы все эти годы не прожил с Россией — больше не мог бы писать».

Два чувства, «две жены» (по его собственным, а точнее, взятым у Чехова шутливым словам) владели Замятиным: литература и техника, кораблестроение.

«Жены» эти (чего, как мы знаем, в обыденной жизни не случается) не только долгое время мирно уживались вместе. Они благотворно воздействовали друг на друга. Художественная фантазия помогала смелому чертежу на ватмане (через руки Замятина проходили проекты первого после «Ермака» ледокола «Царь Михаил Федорович», а затем, в Англии, в Ньюкасле он участвовал в создании целой стаи ледоколов — «Святогора» (переименованного затем в «Красин»), «Минина», «Пожарского» и был, можно сказать, творцом мощного «Святого Александра Невского», названного после Октября «Ленин»): мир точных чисел и геометрических линий, в свою очередь, вторгался в «хаос», «сон» творчества, помогая сюжетостроительству, кристаллизации характеров. Это был воистину первый в советской литературе писатель-интеллектуал.

Очень точно сказал о Замятине его ученик К. А. Федин: «Гроссмейстер литературы».

Примечательны замятинские литературные истоки, так сказать, его генетический код.

В даровании писателя стебель, уходящий корнями, прочными и почвенными, в глубь России, родной Лебедяни, уникально соединился, сросся в живой органике с богатейшим европейским привоем. Гоголь, Лесков, Тургенев, конечно, Достоевский и тут же — Свифт, Уэллс, Анатоль Франс. Отсюда и два русла творчества.

Первое: густое, самоцветное по слогу, сказу и гротескное изображение старой России — повести «Уездное», «Алатырь», «На куличках», принесшие ему всероссийскую славу. Впрочем, оговорюсь, изображение и неподдельно-поэтическое, со словом, крепким и хрустким, словно тамбовская антоновка. Так написан, к примеру, волшебный рассказ 1923 года «Русь», на который Замятина вдохновили рисунки его друга Кустодиева. Это литая, звонкая проза-песня, которая учит нас любить родную землю.

А с другой стороны — сатирические, памфлетные картины «каменной», асфальтовой, железной, бензинной, механической страны — современного ему Запада, Англии нынешнего XX столетия («Островитяне», «Ловцы человеков»).

Оба эти русла соединились, высвечивая неожиданное, непрошенное будущее в фантастической утопии, написанной в 1920 году — романе «Мы».

Как убедился Замятин, сам по себе технический прогресс, в отрыве от нравственного, духовного начала, не только не способствует улучшению человеческой породы, но грозит вытеснить человеческое в человеке. За камнем, бетоном, сталью, доками, подземными дорогами, автомобилями «островитян» Замятину открылась «Железная Лебедянь» (как позднее Есенину в Соединенных Штатах — «Железный Миргород»), где механическое бытие доведено до совершенства — все расчислено, размечено, проинтегрировано.

Русская революция, гражданская война, эпоха военного коммунизма внесли свои поправки в сверхдальние прогнозы писателя.

С принуждением Замятин столкнулся в России, которую его современник Артем Веселый вскоре назовет «кровью умытая». Он стал свидетелем гигантских геологических, тектонических сдвигов, когда отдельная личность (судьба которой всегда оставалась в центре нашей классики) перестала быть самодовлеющей ценностью. Об этом и печатаемые ниже живые, с кровью, листки дневников — репортаж из революции. Крушение традиционного гуманизма, обоюдная жестокость, какая только и может быть явлена именно в гражданской, то есть, братоубийственной войне (на эту тему рассказ 1923 года с символическим заглавием «Рассказ о самом главном»); машина подавления инакомыслия (напоминающая «бюро хранителей» в романе «Мы») — и святая, но наивная вера в счастливую возможность едва ли не немедленно, сейчас растворить «я» в миллионном «мы»...

Еще не ведая, а лишь предугадывая, какие тернии впереди и какие жертвы будут принесены во имя искомой заветной цели, Замятин стремился, в меру своих возможностей, пусть еретически предупредить о грозящих опасностях, которые всегда стерегли первопроходцев. А ведь речь шла о небывалом еще в истории человечества, грандиозном эксперименте на миллионах живых людей.

Когда роман Замятина «Мы», оставшийся в рукописи, пространно цитировался в печати (неслыханное дело!), только для того, чтобы его осудить, в нем отвергали как раз гуманистический смысл. Так, в статье 1922 года известный критик А. Воронский писал: «В великой социальной борьбе нужно быть фанатиком. Это значит: подавить беспощадно все, что идет от маленького зверушечьего сердца, от личного, ибо временно оно вредит, мешает победе. Все — в одном — только тогда побеждают». Между прочим, выбрав, по сути, позицию устроителей насильственного счастья из романа «Мы», Воронский затем, в пору массовых репрессий, сам, как известно, разделил трагическую судьбу «еретиков». И это красноречивый пример, когда художник глядит дальше, чем «мозговик», наставляющий его на путь истинный, в фанатической самонадеянности, что путь этот известен ему лучше, чем всем остальным.

Замятин считал себя неисправимым революционером в искусстве, еретиком, «безумцем». Свидетельство того — его манифест 1921 года «Я боюсь», своего рода тоже предупреждение, тоже «воспоминание о будущем» (исходя из опыта драматического человеческого прошлого).

«Главное в том, — предупреждал он, — что настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, еретики, мечтатели, бунтари, скептики. А если писатель должен быть благоразумным, должен быть католически правоверным, должен быть сегодня — полезным, не может хлестать всех, как Свифт, не может улыбаться над всем, как Анатоль Франс — тогда нет литературы бронзовой, а есть только бумажная, которую читают сегодня и в которую завтра заворачивают глиняное мыло... Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невинность которого надо оберегать. Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не меньше старого опасается всякого еретического слова».

Не здесь ли отмечены истоки того заболевания, которое сегодня мы можем диагностировать как литературный застой?

Замятин любил новую Россию, ждал прихода революции и жил ею. Но свой писательский и гражданский долг видел не в сочинении хвалебных од, а в обращении прежде всего к болевым точкам времени, с помощью острой критики и горькой правды.

Замятин не был эмигрантом в том смысле, в каком эмигрантами, изгнанниками оставались «непримиримые», выехавшие из России в результате гражданской войны. Покидая Родину, он определенно надеялся вернуться и жил в Париже с советским паспортом. Когда в Париже в 1935 году открылся Конгресс деятелей культуры, Замятин входил в состав советской делегации.

Замечательный русский писатель-патриот, он не был и тем беспросветным пессимистом, каким часто пытаются его изобразить (основанием для чего, понятно, может служить его антиутопия «Мы»). В позднем эссе, озаглавленном «О моих женах, о ледоколах и о России», он выразил и свое отношение к Родине, и веру в провиденческий характер того, через что она прошла и, преодолевая косность, застой, сопротивление, двинется, движется дальше.

«Ледокол — такая же специфически русская вещь, как и самовар. Ни одна европейская страна не строит для себя таких ледоколов, ни одной европейской стране они не нужны: всюду моря свободны, только в России они скованы льдом беспощадной зимой — и чтобы не быть тогда отрезанным от мира, приходится разбивать эти оковы.

Россия движется вперед странным, трудным путем, не похожим на движение других стран, ее путь — неровный, судорожный, она взбирается вверх — и сейчас же проваливается вниз, кругом стоит грохот и треск, она движется, разрушая».

Эти слова воспринимаются сегодня как ободряющий сигнал, который посылает нам Замятин — через ледяные торосы и пайковый лед скованных суровым морозом десятилетий.

Публикуемые ниже замятинские записи из блокнотов 1914—1928 годов посвящены в основном драматическим событиям гражданской войны, которая во все времена была наиболее кровавой: «брат на брата хуже супостата». Они дополняют ту жестокую хронику, какая писалась по горячим следам свидетелями того, что переживала «Россия, кровью умытая» (Артем Веселый): И. А. Буниным в «Окаянных днях», И. С. Шмелевым в «Солнце мертвых», Р. Гулем в «Ледяном походе», В. В. Вересаевым в воспоминаниях, из которых позднее вырос роман «В тупике» и т. д.

Этой Россией, ее муками и бедами Замятин жил до конца своих дней, до безвременной кончины в 1937 году в эмигрантском Париже. Одновременно, читая записи, мы погружаемся в творческую лабораторию Замятина.

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

ДВУГОЛОСЬЕ

Из блокнотов 1921—1928 годов



— Ты кто?

— Красноармеец, до дому за харчами.

— Тебя расстреляют в Полтаве, ты из банды Христового. Это — начальник комдез'а.

Грузили в арестантский вагон в Миргороде. Ночь темная. Думает: «Надо тикать». Пропуск назад, его толкнуло, упал перед самым вагоном. Просидел под вагоном — и до дому. На дороге сказали, что дома отряды ищут дезертиров, убили «лида» (богатого мужика — было десятин 18). Пошел в Лубны. Там сказали, что его уже считают дезертиром. Опять пошел домой. (Это — зима, арестован был после Нового года, пока сидел в тюрьме — уже около масленицы.) А дома уже ряд хлопцев — человек 20, «ходят с винтовками». Отряды... ищут... Хлопцы — в лес, какие прятались по хатам. Там дали винтовку ему — ходит с винтовкой. Летом собралось уже человек 3000 — с Борок, с Романивки. За атамана — Мандык. Умный, сообразительный, служил в милиции (при большевиках). Почему бросил милицию? Отряд, разбивший деникинцев, пограбил селян — плахты из сундуков — ес. Мандык заступился, побил их, отобрал имущество.

Мандык — до Христового. Христовой тоже был в милиции в Зенькове. Мандык — приятный, с дядьками побалакать, не грабил. Потап (Антоненко) — по-другому, народ его и выдал.

Пришел Христовой вместо Мандыка и человек 15, обезоружили отряд в Лютеньке, тогда к нему пришло еще много. К концу лета у него было уже 12 пулеметов. Когда Христовой наступал на Лютеньку, заложил снаряд в дупло и взорвал, чтоб думали, что у него — орудие.

Отряды комнезамовские, преследовавшие махновцев, спалили Лютеньку, потом Романивку, обстреливали оба села. Наступали на Гадяч — человек до 500, а винтовок — 100, остальные с березовыми дрючками. Заняли Гадяч. Разогнал отряды Христовой — и сидел в лютеньских лесах, и уже туда не подходили близко.

Потап (Антоненко) хотел поступить в милицию, но начальник милиции Зуб не дал места. (Потап поставил ультиматум: «Или лес, или милиция».) Потап ушел в лес.

Мандык не одобрял, что Потап зря много бил людей. Потап — темный шатен, высокий, упитанный, чудные голубые глаза — детские.

Зуб путался с Потапом, доставал ему патроны. Потап — бритый, с черными усами.

Христовой — небольшого росту, красивый, «русявый», шустрый. Сын торговца-щетинника. Серые глаза.

Мандык — здоровый, сухой, костистый, бритый. После был уполномоченный по борьбе с бандитизмом (после амнистии). Убил 2-х сотрудников: те его звали гулять, но один товарищ сказал ему, что те хотят его убить. Он сам убил их и с тачанкой утек в лес. Он получил письмо из-под Киева от некоего Яцука. Поехал к нему, по дороге его схватили и убили (Яцук — провокатор).

Матюха-Тюха — был тоже в милиции. Уличное прозвище Гинняник. Последний из атаманов, году в 1923. Начал весною, осенью его убили — в районе Зенькова, Шишаков, Коваливки. Вроде Потапа.

...Трое в хате (из мандыковцев). На рассвете стук (отряд человек в 50).

— Кто? — Увидали в окно, выстрелили, убили двоих из отряда, сами повыскакивали из окон и удрали.

...Матюху схватили сонного в Семереньках. Суд, и расстреляли в Полтаве.

Схватка с отрядом: отряд человек в 200, а бандитов — человек 15. Потап взял раненого на плечи и унес болотом. Спасли болота.

...Нагнал отряд; он вскочил в воду, там были кувшинки, он весь в воду — только глаза и нос из-под листьев.

...На Федора при разверстке наложили слишком много, он и ушел, а был головой в Семереньках.

Жинки: у Потапова была девка, у Христового — жинка и сестра. Еще одна — была за Потаповым братом. Иные ходили в «спидницах» и хустках, иные переодевались в мужское.

Сестра Христового участвовала и в боях. Жена Христового была ранена в руку (она была потом расстреляна в Полтаве). Сестра вышла замуж (за коммуниста!), когда сидела в тюрьме (коммунист в нее влюбился?).

В 1921-м в октябре — амнистия.

...Видим, что через нас народу — селян много гибнет, запирают в тюрьмы, спалили село. К осени 1921 года из 800 осталось человек 40—50 (в это время начал работать Потап).

Мандык оставался еще после смерти Христового. Приехали из Полтавы ЧК, Степан — в лес к Мандыку (сначала селянина с письмом к нему). Встреча в лесу отряда ЧК с Мандыком. ЧК:

— Сдавайтесь, будете прощены и будете служить.

Он сдался. Поехал в Полтаву со своими (человек 30), с ними — Палашка. С оружием. (В это время Потап работал, часть ушла к нему). На дворе ЧК в Полтаве — начальник Линде начал беседу, любезную (обед, музыка, папиросы — граммофон). Потом Линде:

— Надо, товарищи, оружие сдать.

Хлопцы:

— Нет, мы не сдамо...

Мандык сказал:

— Сдавайте.

У Мандыка оставили наган. (Большая часть думала, что идут на расстрел.) После музыки — человек 4-х взяли в тюрьму. Двоих выпустили, двое исчезли (говорили, что их отправили служить в Харьков). Один из них, Штаба, ходил с оселедцем, как запорожец..

У Потапа в это время — человек 20. Они сдаваться не захотели. Их потом окружили на хуторе и всех перебили.

Когда Иосиф амнистировался, приехал домой. Утром рано приходит Потап, вынул шашку:

— Сдавай оружие.

— Я сдал.

— Ну, я тебе голову снесу.

Иосиф — в дверь и в лес...

Потом Мандык приехал из Полтавы ловить Потапа. Когда Потап увидел, крикнул:

— Вот гад Мандык иде!

Это было хуже: этот знал местность и тактику.

Это днем на хуторе, в полдень осенью, в саду. Четверть горилки. Стали отступать к балке. Их тут окружили, начали бить из пулемета. Человек 50 из Полтавы да коваливская милиция.

Потап пристрелил брата Семена и хотел — себя, но только ранил. Его везли по морозу нагого. Стали допрашивать, он не отвечал, его убили.

Палашка варила борщ, стирала белье. Палашка выдала Потапа.

...Во второй раз Мандык скрывался 7 месяцев. Яцук, до тех пор (якобы?) не амнистировавшийся, вызвал его — соединиться с ним. А сам поехал, взяв милицию, и схватили Мандыка. Убили на дороге. Яцук — амнистировался.

«Учителька». На селе ни доктора, ни фельдшера, она подлечивала. Однажды девочка-прислуга кличет ее:

— Потап вас спрашивает.

А уж если Потап спрашивает — плохо дело: чаще всего — тут же зарубит. Бедная — выходит. Потап:

— Выйдите до садочку.

— Зачем?

— А я товарища до вас больного привел. А чтоб вам безопасней было, так я уйду, а вы спустя к нему выйдите.

Вышла. Там — бледный, худой Хведор — ранен в грудь навылет, жалуется, что ни дышать, ни кашлять... пот. Посоветовала ему питаться получше — молоко, яйца — и лежать на солнце в лесу голым. И вот на острове, где укрывались бандиты — туберкулезный санаторий. А к осени все же поправился Хведор.

...Она переезжала к сыну в Баранивку. Приехала за вещами, попросилась пожить. Только что легла — в дверь:

— Отвори.

Она:

— Не отворяй.

Дид:

— Нет уж, отворяй.

Открыла. Ей:

— Иди с нами.

Она хотела детей взять.

— Бери только грудного.

Вернулись с ней:

— Показывай сундук.

Она вошла в хату и сунулась с ребенком в подполье под нары. Ей кричат:

— Вылазь! — И целится из винтовки.

А на печи — 9 человек, оттуда:

— Дай пить, воды.

Ткнул ее шашкой сквозь пол под лавку — через живот. Она крикнула:

— Помираю, прощайте! — и стала вылезать

Потап кричит:

— Подымите ребенка!

Дид схватил, положил ребенка на пол. Тогда выстрелили ей в голову, голова распалась, а он еще раз выстрелил. И оставили записку: «Лисовики убили цию защитницу коммунистической партии...» Приказал записку не трогать, чтоб все могли читать. Сын боялся хоронить: «Меня убьют».

— Як жил тогда — той теперь живе, як бедовал тогда — теперь бедуе. Ох, лучше не жить, як так жить! Земельку дали в 15 верстах — 6 десятин.

— Почему в СОЗ не пошел?

— Я годов 25 ходил по економиям, так знаю, що воно таке. Лучше голодать, чем так...

Старик — согнутый, заросший, бровастый, руки длинные, как горилла.

— Як бы сажень земли выделили, я бы в земельку зарывся, там бы спокойнейше было.

...У них музыка была, гармошка... Пришли до дядьки





в садок, две дивчины с ними... А тут налетел отряд, они бежать, гармошку одну бросили. Проходят потаповские по хатам и заказывают: «Ты готовь на двух иисты, а ты готовь на четверых».

...Начало всего в Борках, на кожевенном заводе. Приехал туда за кожами красный отряд. Уже группа бандитов была в лесу. Банда пришла, началась стрельба, был убит один из продовольственного отряда. Там с ними был Мандык. Объявили потом мобилизацию. Часть пошла. Мобилизованный должен был идти в лес.

Сидели дома, из снопа выбирали пшеницу, из жита. Приходят двое, с револьверами:

— Вам ведомо, что объявлена мобилизация вашего года?

— Да.

— Так вот, вы сегодня мусите быти в лису.

— Хорошо, приду.

Потап говорит брату (когда те ушли):

— Надо удирать. — Забрал манатки и в Зеньков.

...Потап в больнице, тяжело раненный в голову или куда-то еще, или без сознания, или, вернее, делал вид, что без сознания. Ничего не ел. Ему дали кусок яблока, он не взял. Его привезли в больницу часов в 7 вечера, умер на третий день.

Во время перестрелки отстреливался до конца. Начинают стрелять — он упадет; думают, убит, а он опять отстреливается.

И убежал бы, если бы не брат: Семен упал, Потап подбежал к нему — проститься. Тут его и ранили.

Лука не хотел ни туда, ни сюда. Взяли в красные.

Вошли в хату. Спросили:

— Что вам робить? Чи стрелять, чи палить, чи рубить?

Один говорит:

— Стрелять тесно. Забрать у них мамку и рубить.

Невестка свое добро прятала у людей. Дмитро был головой.

— Ты был головой?

— Был, три дня как сменился.

Солдат повел его в хату. Говорит:

— Нет, не тот.

Отпустили. Дмитро взял Луку. Луке:

— Это твоя, жинка?

— Моя.

— Веди, где скрыня ее.

Он повел. Там из скрыни взяли рушничок, связали ему руки, повели в хату. Там его зарубили (по голове, по шее — 2 раза). Молодице говорят:

— Лука твой зарубанный, давай его чоботы да картуз.

Та дала. И пошли те на двор, там ходят со свечами; там Стефан (брат) запрягал лошадь. Позвала Стефана. Стефан вошел в избу. Засветил каганец.

Матюха (1923 год). Партизаны.

Женщины играли большую роль. На ярмарку на Полтавщине ехали из Опошни 40 подвод с сапогами. Остановили, требуют по 12 с подводы — всего 600 пар взяли. Я знал трех агентов — трех женщин. Стук в окно:

— Есть кто?

...Ставили себе вопрос: «Как можно убивать человека, когда я ему жизни не давал?» Большинство считало, что если гад — то можно убить.

...Женщины способны на работу агентов.

...Мы спим в хатах — 36 человек. Один «возился» с агентшей — был на страже. 50 человек милиции.

Попадали в банду больше «люди, напитанные военным коммунизмом». А я был малым — такой характер был. Голова в нескольких местах пробита... Любил оружие. Потому и пошел. Брат был головой сельрады: когда объявили продразверстку, он пошел в лес, отказался (идейные мотивы).

Атаман был Матюха. Был в Красной Армии. 12 ран. 2 ордена Красного Знамени. Тип анархиста: «Что вижу — все мое». Был вором (принципиальным?). Когда «раскуркуливали» в 1922 году, местные на этом заработали, построили дома, а у него — ничего, когда вернулся. Он и пошел.

...Уводят кабанов (это начало), пишут куркулям записки: «Столько-то денег, а то будешь сожжен». И поджигают.

Матюха хорошо пел. Музыкант он был — гармонист. Матюха был жесток невероятно, любил убитого: убьет и долго сидит над ним, отрежет ухо, палец, нос... Убил 2-х своих за непослушание.

Внешний лозунг — «против НЭП'а», но, фактически, — уголовное дело.

С каждым днем банда росла (начало 1923 года весной), выросла до 100 человек. Пулеметов не было — одни винтовки. Посылали людей в Канердину балку. Там был хороший слесарь, который имел связь с одним командиром Красной Армии в Полтаве. Он обещал достать 12 ящиков патронов. Но нужно золотом не меньше 500 рублей.

Пошли в Загрунивку к попу вдовому. Месяц, красиво, тишина, кое-где собаки. У него молодой сын с женой. Богатый собственный дом. Постучали — 3 раза — потом открыли. Поп с сыном — электрический фонарь у окон. Разбили окна. Они побросали топоры, оба стали просить, чтоб их не били. Потом:

— Дайте мне Богу помолиться.

Наганы в рот наставили... Загнали в подполье. Жена сына лежит в спальне, некоторые ее изнасиловали, она даже не кричала. А сын с отцом в подполье в другой хате. Ходят по хате, один бренчит на гитаре, другой завел граммофон, светятся все лампы, бьют посуду. На улице часовые. Шкаф — посуда, за посудой — мешок с медью старинной. Агент говорил, что у него есть золото. Спрашивали:

— Где ваше золото?

— Нет.

Жену:

— Где золото?

Она:

— Нет.

Опять искать, подымают пол. Она (жена) все лежит. Тогда кто-то решил согнать ее с кровати. Распороли подушки. Прогнали ее в другую хату. Тогда подняли кровать (в виде ящика) — и там: шелк, шали, браслеты и стеклянная банка с золотом, завернутая в вату. Забрали, пошли. Там было на 300 рублей. Агент поехал, привез только два ящика, сказал, что остальные — потом, через 2 недели. Потом он удрал. Как?

У Матюхи было 4 жинки, в разных селах, все — законные. Крестьянская молодежь любит нахальность.

Все его любили. Довольно высокий, чернявый чуб носил, щеточку-усы. Голос очень громкий. Одна из жен сказала однажды, что агент этот — дома; она добежала до лесу — 12 верст. Сели на коней, ночью приехали. Жена агента плакала, и мать; его привязали к лошади, повели к Пселу, там всадили 12 пуль. Дома нашли золото — сам признался, показал, клялся быть верным слугой.

Комендант Полтавского ГПУ — товарищ Живодер, бывший бандит Христового. Он гонялся за бандой на автомобиле, с конницей. Бандиты дня по 3 не ели... В Семереньках загнал в болото — пешком — коней уже забрали. Отбились — дали 12 залпов. Но знали бандиты тайные дорожки по болотам. Все-таки догнали те на конях. Засели на Грунь-Тушани в тростнике, те стали переправляться. Матюха выстрелил, попал в рот Живодеру — убил.

Сделали 40 верст в эту ночь, скрылись в большом лесу около Лютеньки — там было 2 избы плесников. А в банде было 2 шпиона. Они всегда старались идти в разведку и все передавали. Заметили мы, что все время открывалось местопребывание. Оба были весельчаки, «вроде клоунов», их очень любили, доставали водку.

Пробыли в лесу неделю. Решили удрать, распустить банду, разойтись. Надо достать документы. Сделали налет на сельраду днем. Кто идет в сельраду — всех пускаем, а назад — никого.

В банде был один. Его брат пошел к куркулю красть — его поймали и засадили. Брат и решил отомстить. Стучится, баба отвечает:

— Никого. А кто тут?

Мы отвечаем:

— Милиция.

Тогда старик с сыном вышел из клуни с дробовиком, пригласил в хату. Тогда вышел притаившийся брат вора, убил из наганов его и сына. И при обыске случайно нашли в сундуке у жинки 200 червонцев.

Потом в Зеньков, ночью. Там было милиции человек 100, а нас было 86 человек. Часть на конях, часть на подводах, часть пешком. Послали разведчика переодетого. В 12 ночи вступили туда. Начали стрельбу. Паника. Вскочили в учреждение, там достали массу денег. Мне — 50 червонцев, у Матюхи была специальная торбочка, полная денег. Все кончили в полчаса, не было убитых ни с той, ни с другой стороны.

Лагерная поэзия

Наталья Милиевна АНИЧКОВА (1896—1975). Филолог, работала в издательствах, библиотеках, в научных экспедициях. В заключении находилась в 1949—1955 годах, срок отбывала в Унжлаге.

ЛЕБЕДА

**В тюремном дворике, сквозь
трещину асфальта
Упорно пробивается трава.
Гуськом идут по кругу арестанты,
Роняя шепотом слова.**

**Одним гуляющим спускаются на смену
Другие партии — и так до темноты,
И все глядят, как рвется ввысь из плена
Упрямый куст столичной лебеды.**

**Никто из них не ошибется
И не сомнет ногой ростка,
Ничьей рукой не оборвется
Замена лучшего цветка.**

**Удел один. И вот, свой круг ломая,
Они всегда обходят лебеду,
И у нее упрямства занимая,
Клянутся развести свою беду.**

*1954
Больница, Чибирь*

Сергей Александрович ПОДЕЛКОВ (род. 1912). Поэт. Находился в заключении в 1935—1938 годах.

* * *

**Лик Пантократора на старом древке
был строг, безумен, темен, — и под ним,
смеясь, пахали парни, пряли девки,
и без оглядки пели жизнь, как гимн.**

**Теперь нам ложь и страх ломает брови,
и честь хрипит, как под ножом овца,
мы поднимаем флаг, он в пятнах крови,
и нет лица, и нет лица...**

*Март 1938
Печорская тайга
Нибель*

Лагерная поэзия

Сборник «Средь других имен», выходящий в этом году в издательстве «Московский рабочий», составлен из стихотворений, созданных в советских тюрьмах и лагерях 1920-х — 1950-х годов заключенными по политическим статьям: по печально, но всеобще известной 58-й, по не имеющим ничего общего с каким бы то ни было законом аббревиатурам — КРД, ЧСИР, ЖИР и другим.

Эти стихи, как и их авторы, по замыслу судей-папачей и тюремщиков, должны были быть обречены на уничтожение и забвение. Писать стихи в лагере было строжайше запрещено, за их сочинение полагалась строгая кара: карцер, перевод на более тяжелую работу, новый срок и даже расстрел по суду или «при попытке к бегству». Но стихи все равно сочинялись — их нельзя было записывать, их запоминали. В лагерях литература вернулась к своему великому источнику — устному народному творчеству.

Правда, одновременно с устной кое-где в ГУЛАГе существовала и письменная, «типографская» литература. ГУЛАГовское начальство, преследуя и запрещая «подпольное» литературное творчество, делало попытки противопоставить ему подконтрольную, направляемую, официальную литературу. В ряде лагерей выходили сборники стихов и прозы заключенных. Эти брошюрки с грифом «не подлежит распространению за пределами лагеря» и с обозначением места издания: «Управление Соловецких лагерей особого назначения ОГПУ», «Издание культурно-воспитательного отдела Дмитлага НКВД СССР», «Издание культурно-воспитательного отдела Бамлага НКВД. Отпечатано в типо-литографии Бамлага НКВД. Гор. Свободный» (издавалась серия под общим названием «Библиотека строителя БАМа») и другие выходили тиражами до пяти тысяч экземпляров, то есть такими же, как и стихи «вольных» поэтов в государственных издательствах. По арифметической логике начальства они должны были бы конкурировать с устной лагерной поэзией и проводить нужную идеологию.

Официозная лагерная литература, сочиняемая по убогим шаблонам КВЧ, конечно, не имела ничего общего с настоящим литературным творчеством и не могла ни вытеснить, ни заменить, ни остановить настоящую поэзию — истинное, правдивое самовыражение духовной жизни человека.

Так, А. Т. Твардовский о лагерных стихах

Продолжение на стр. 83

Только выехали из Зенькова — залпы, пулеметы... Побросали коней, подводы поехали по одному направлению (извозчики — селяне), а сами — в другую сторону пешком, с деньгами. Те палят по подводам, а мы из сосняка. Это — ночь, под осень. А мы дошли до Будищ, там взяли подводы, пошли в Романивку.

Через несколько дней — слухи о больших отрядах, наступающих кругом. Видим — конец приходит, и решили распустить банду. Но перед тем устроить прощальный пир, деньги были. Те же двое (шпиков) были наряжены достать еды, вина, привезти баб. И под вечер на лугу, возле копны сена близ Романивки, пировали. Музыка, гопак, веселье отчаяния. Шпиков спрашивают:

— Ну что, не разыскали провокаторов?

Те:

— Нет. Да какие там провокаторы, когда завтра с утра — все в разные стороны...

Ночевка в Романивке — после пирушки. В одной большой хате и клунях — 36 человек, с Матюхой; в двух других — 20. В это время из 100 осталось уже 56 — разбежалась часть, кто почему. Было, например, два брата — саратовские немцы-колонисты: они все считали свои деньги, положили себе сколько-то накопить, и когда накопили — ушли.

Ночью отряд окружил избу, где было 36. Те завалили окна мешками с мукой, из-за мешков отстреливались до утра, потом сдались. А остальные 20 успели уйти... «Агент» послал отряд за ними по ложному следу. К ночи на другой день они вернулись в Романивку и здесь узнали, что всех увезли в Полтаву, кроме двоих, которые сейчас же были выпущены. Это и были два шпика. Их нашли и убили.

Потом сдались и эти 20. Все сидели в тюрьме. Процесс, до 400 свидетелей. 12 человек было расстреляно.

...Было у них знамя с надписью: «Долой НЭП! Да здравствует погром!»

В городок въезжает на тарантасе приезжий. Слышит: колокола звонят вовсю. Спрашивает возницу:

— В чем дело?

— А это мы бандитов чествуем.

— Как так?

— А зеленые они. Грабили — житья не было. Ну, воевали с ними, а потом предложили им сдаться. Они пришли и сдались — так чествуем их. Спектакль нынче для них в театре играют...

Группа куркулей-антиколхозников. Как только «сбор»-сход — они следят. Вот сейчас уже выносить резолюцию — вдруг загорается в деревне. Дым, набат. Все бегут — сход сорван. У них — свои агенты, особенно девки. Жестоко расправляются с изменниками.

Парень из этой группы и девка, влюбленная в него, — агент. Подозрение, что она все доносит. Тогда парень вызвал ее на свидание, на луг. Пошел туда еще с двумя, схватили ее — и бросили в колодец. Сами ушли. Она стала кричать — по горло в воде. Услышали, вытащили...

Любопытней всего, что потом она все же вышла замуж за того, кто бросил ее в колодец.

Специалист по снятию колоколов. Сын попа Мишка Покровский. Коммунист. Снимали колокола в Угличе, в монастыре. Собралось народу несметно, просят:

— Мишка, позвони последний раз!

Мишка грянул (звонарь был замечательный — попович), звонил час — и «перевод», и полиелей, и пасхальный. Народ плакал. Потом Мишка смахнул колокол вниз.

Голод на Волге.

В одной волости — ели лепешки из конского навоза.

В другом селе — распарили и съели резиновую калошу, забытую американцем.

Только что павшую лошадь — еще теплую — ели сырьем.

Прошлогодние листья — деликатес.

Вокруг стоит голая, черная роща: всю кору содрали и съели.

Приносили в контору руки и головы съеденных людоедами.

На носилках в столовую притаскивали больных тифом.

Голодный зеленый блеск глаз. Взрослые умирают: кормят в первую очередь детей.

Лошади могли везти только по 5 пудов.

Могилы кругом города, где попало.

Голодные двинулись ордами. Исход из Египта... Слухи о «хлебных» Туркестане и Ташкенте — туда. Кордоны.

Везут хлеб, добыли. Осмотр на станции, хотят отобрать мешки. Вой на платформе. Легли на рельсы бабы — и она, тоже везшая мешок муки для детей — легла.

Засуха. Земля трескается — трещины в аршин глубиной.

Пожары, поджоги. Очереди за водой.

Новые нищие.

О критике.

Есть критики-художники: они пишут художественно, то есть они пишут рассказы и повести, где действующие лица — книги или авторы. Следовательно, они не критики: они — беллетристы. Настоящим критиком может быть только тот, кто пишет антихудожественно: это — наследственная привилегия критиков-публицистов.

Это — единственная порода критиков, полезная для художника: у них можно учиться, как не надо писать — это не менее важно, чем научиться, как надо писать.

Благоразумный франсовский пес Рикэ учил: «Поступок, за который тебя накормили или приласкали — хороший поступок; поступок, за который тебя побили — дурной поступок». Чем дальше человек от Рикэ — тем ближе он к обратному правилу: поступок, за который тебя накормили или приласкали — дурной поступок; поступок, за который тебя побили — хороший поступок. Не будь критиков — как бы мы знали, какие из наших литературных поступков хорошие и какие — дурные?

Только дураки думают, что надо истребить гусей, чтобы взять Рим.

Деревня. Мальчишка деревенский — другому:

— Ванька, иди домой скорея, там шпикулянты из прочих держав пришли.

Это были голодные с Поволжья — пришли в скопскую деревню.

Кашира. Закрыли собор. Очередь причащающихся последний раз, как перед светопреставлением.

Скот душат в избе. Лошадь вешают, чтобы получить страховые. Лошадь выгнали на дорогу, на хвосте записка: «Бери, кто хочет». В Кашире — 15 рублей крестьянская лошадь, 50 — рысак.

В Коломне все врачи, 150 человек, поступили в партию.

Кулаки постановили: отслужить молебен за папу (Римского).

Портрет Ленина в лучах.

«Печать только свободная; прочая запрещена».

Николай Васильевич Успенский (брат Глеба).

«...Несколько лет назад он явился к нам, — рассказывает попадья, его теща, в Ефремовском уезде. — Пришел босиком, поселился, жил с нами, как родной. А потом обесчестил мою дочь, «назло вам», как он сам мне сказал.

— За что же назло?

— А сам не знаю. Просто захотелось вам сделать гадость.

Затем он на ней женился, быстро свел ее в гроб, а девочку — ее дочь — взял с собой и ушел от нас. Жил он потом тем, что потешал купцов, мещан и мужиков игрой на гармошке, всяким шутовством; девочку свою заставлял плясать и говорить для потехи всякую похабщину. Иногда «для забавы» брал ее, как щенка, за шиворот и бросал в реку или пруд.

— Вот сейчас вы увидите образец, как воспитывать детей надо... — и в воду ее.

Тургенев, чтоб спасти его, целое именьице ему подарил. А он именье бросил, изругал Тургенева последними словами и опять ушел шататься. А кончил тем, что зарезался на Кузнецком мосту бритвой среди бела дня. Глеб Успенский очень ценил его и иногда просил:

— Помоги-ка мне, напиши тут мужицкий разговор, ты гораздо лучше сделаешь это, чем я...»

Самарканд.

Старый город. На крыше заливаются сурнаи, в чайханах звенят дутары, гремят дойры. Дико орут ишаки. Орут цвета: фиолетовый халат с зелеными полосами, голубой халат и зеленая чалма. Запах акаций хочет все перекричать.

Мечеть Тимура — на широком дворе. Твердая. Стрижи — с криком под трещинами купола. На зеленом дворе на коврриках качаются белобородые белые фигуры в белых чалмах. Теперь или 500 лет назад все это?

Шах-и-Зинда, место, где, по преданию, живым дал себя хоронить Ибн-Аббас, брат Магомета; верят, что он жив и сейчас, и выйдет живым, когда надо будет вести мусульман против гяуров.





Глухая стена, кольцо в калитке. Во дворе — мята; вымыв руки в арыке, натирают их мятой, прежде чем подать гостю чай и лепешку. Нищий идет с маленькой жаровней, помахивает, бросил на жаровню щепоть каких-то трав — сладкий запах. Нищий стоит молча, не говорит, не просит — он уверен, что его травы — это подарок, за который он получит ответный дар.

У узбеков, как у маорийцев, цветок (акация) за ухом. Глаза — прищуренные, готовые улыбнуться.

Мансур-Худояр-хан — советский литератор (кокандский принц!). Он разговаривает по телефону, но говорит то же, что сказал бы Тимур. Нарком Ибрагимов, в белом шелку и вишневой тюбетейке, — он говорит таким же ровным, безусловным голосом, каким Тимур посылал на казнь. Тимур теперь был бы в Совнаркоме: Ибрагимов 500 лет назад был бы, как Тимур. Сейчас, усталый, он на ковре в чайхане, под ковром журчит арык.

Солнце здесь гонится за каждым в отдельности, его хватает на это.

Здесь не ссорятся, тихи беседы за чаем. Если ссора — то уже нож, пуля. Разговор:

— Я поссорился.

— Чем вы его ударили?

А так — узбеки воспитанны, безукоризненно выдержанны.

Очередь. Злые бабы — русские. Зло смотрят вслед узбекам, идущим с цветком за ухом, хотя и узбеки голодают. Но этого цветка, но того, что узбеки играют на дутаре, улыбаются — этого им не могут простить.

Ночь. Кишлак. Карагачи, угольно-черные. Чуть светлеют дувалы. Светло-серая дорога, мягкая от пыли. Тихо, только журчание арыков. Чайхана, у фонарика — тесный кружок, голова к голове, говорят. О чем? Где басмачи? Кто они?

Агалык. Сухие желтые горы — одни нарисованные на небе силуэты: толпой ушли эти горы из стены и стали тут, не оглядываясь назад.

Бухара — кладбище. Могилы — глиняные ульи. Минарет смерти, крепость; ворота на ночь запираются, за воротами воют шакалы. Могилы вокруг города, могилы в городе. Женщины в черных паранджах.

Ляби-хауз: квадратный пруд с каменными ступенями к воде, вода — зеленая, густая, с пастой «ришты» — малярии. Наверху, на площади, бархатная тень от тутовых деревьев, ковры, мечети с голубой эмалью. Аисты — на минаретах, на стенах, на крышах; они, кажется, самые живые в этом городе.

Раннее утро, туман. Слева на горизонте — черный силуэт каравана; справа — сады Ходжента с белыми голубями, рядом сидящими на заборе; впереди — огромная, вполнеба, серебряная с сиреневыми ущельями гора. Авто несется прямо на гору. Город — как все: верблюды, ишаки, фрукты, паранджи. Но Сыр-Дарья: вода — густая, желтое молоко. И на другом берегу — пустое селение, разрушенное басмачами.

Новогодняя ночь. Теплая, весенняя ночь, душистый ветер пахнет весенней мокрой землей.

Чайхана. Мой друг — оборванный, нищий, грязный погонщик верблюдов. Но какие у него движения, когда он пьет свой кок-чай! Как прислушивается, отставляя чай, к звону дутара!

Весна. Степь — в голубых тюльпанах, кишлаки — в розоватой пене миндальных и персиковых цветов. Все на кладбище — в красных маках. Вдали — бриллиантовые ледники Зеравшана.

«Два чайника чаю осталось пути...» Чайник пьется минут 40.

Арабское селение. Тимур вывез арабов из города Халафа, из священного племени Саид — 70000 семей. С ними был султан Мирхардай. Они расселились в Самарканде, Кок-тепе, Каракуле, между Кушни и Карши. В Камаши сохранился арабский язык; в других местах исчез почти без следа. Благодаря Мирхардаю, его ходатайству перед Тимуром, арабы были поселены не как пленные, а как свободные. Кишлак Араб-хане. Курган времен Зороастра, где стоял храм.

Амала-ханум, писательница. «Львица» — и в общественном смысле, и в любовном.

Связь мулл с Турцией, заговоры... Мелкие налеты басмачей. В арбе, в черных чалмах, арестованные, под стражей. «Хазафат». В городах — свист ветра, беркуты взмывают от винтовок... И привозят убитого басмачами, изуродованного. Похороны, колонны, музыка, знамена...

Плоская крыша дома, вся заросшая красными маками.

Концерт «Турки». Программа: «Ноэля» («Плач»); «Та узанни» («Опять о тебе»); «Шахназ» («Царственное кокетство»); «Дугохусани» («Двуголосье»), «Худояр-хан». Аккомпанемент — тамбур и дутар.

После этой музыки, особенно «Худояра» — трагического, — лежишь, весь разбитый, пластом на ковре. Кашгарская музыка — на дутаре, афганская — на рубабе. «Танец лодок».

Персидский купец, уговоривший европейскую женщину — русскую — ехать с ним в Кашгарию.

Двухрядная тростниковая свирель. Маленький квадрат двора. Синее вечернее небо в звездах. Ковры и подушки. Музыкант — Ахмет-Дорон-ака, философ. «Эта музыка написана на могилах, которым 2000 лет...» Танцовщица Тамара-ханум. Лицо Саломеи, но глаза — откровенно глупые.

Здесь все куда-то едут, все — прохожие, бродяги. Встреча, взаимное понимание на миг — и дальше, в разные стороны. Через год — опять случайная встреча...

Узбекский профессор (университета) Фитрат. Похож на китайского дипломата времен Зогрыхана. Сладчайшая любезность. Говорит по-русски правильно построенными фразами, но интонации и акцент — сплошь неверны, как он сам... учился где-то в Персии, в Турции.

Следы узбекской музыки — уже в XV веке. В Хорезме записывали ноты. Музыка народная и классическая — сестры. Музыкальная композиция имеет три части: мушкилет — собственно музыкальная, наср — музыка + пение, уфар — музыка + пение + танец. 24 определенных музыкальных ритма. Тактов нет. При записывании нотном указывается основной ритм в качестве ключа (ноты записываются без обозначения их длительности).

Могила пророка Даниила — «Ходжа-Даниэль». По преданию, он рос после смерти, и все время приходилось могилу надстраивать: уже 5 часовен. На пригорке над рекой Сиабом.

Перепелиные бои, «перепеломаны». Под деревянным навесом висят клеточки из цветных шнурков: в них держат перепелов, специально их кормят, тренируют.

На базаре — торговля тюбетейками: под стеной — прилавочек, и магазин весь — ниша в стене огромной высоты, вся увешанная тюбетейками. Как жар горят, их достают длинным шестом.

Араб в арабском кишлаке (Марокко!), верхом, гордо поднятая голова, белая чалма. В остальном — одет как Лев Толстой, и похож немного.

Чайхана. В передней, прислоненные к сундуку, стоят (вертикально) десятки туфель.

«Регистан» — четырехугольник, замкнутый мечетями. Внутри мечети — двор, в два этажа (терраса) — клетки для учеников.

Биби-ханым и Тимур — легенда. Тимур в отъезде. К его приезду китайская принцесса Биби-ханым хочет построить мечеть. Строитель-архитектор, перс, влюбился в Биби, просит ее поцелуя. Ее ответ: послала ему блюдо крашеных яиц. Тот изумлен:

— Что это значит?

Посланный отвечает:

— Разбей одно. И еще одно. И еще... Они внутри — все одинаковые. Так и женщины. Поцелуй вместо Биби любую из ее женщин.

Архитектор отказался. А Тимур уже близко. Архитектор настоял на свидании с Биби и попытался силой поцеловать ее. Биби успела заслониться ладонью. Но жар его любви был такой, что его поцелуй прожег ладонь Биби и оставил след на ее щеке. Когда Тимур, вернувшись, увидел это, он приказал выстроить прекрасный мавзолей — и там похоронил убитую им Биби. Архитектор-перс, построив себе крылья, улетел на них к себе домой.

Украина.

Звуки. Аисты на крышах. Щелканье клювами. Сверчок в сенях хаты. (Хата и «хатина»). Кузнечик вечером на лугу. Горлинки с утра. Лошади фыркают ночью на лугу.

Восстания. Из деревни в деревню — сигналы крыльями ветрянок. Колокольный звон.

Дети. Когда Мишку целуют, он вытирается:

— Терпеть не могу, когда девки целуют...

Девчонка:

— А в морду хошь?

— ...Еще жалеет меня! Не хочу!

Махновцы. Женщина спокойно рассказывает:

— Махновцы немного пожгли меня каленым железом за то, что братья были в Красной Армии.

Лагерная поэзия

Юрия Грунина заметил, что они писались «не по одной любви к этому занятию, а по более глубокой и существенной потребности». Эта «более глубокая и существенная потребность» заключалась в том, что люди, обращенные в самое жестокое и унизительное рабство, находясь постоянно на грани жизни и смерти, оставались людьми — их можно было убить физически, но нельзя было лишить права думать, чувствовать, понимать, надеяться, иметь свои убеждения. Поэтому разум, чувства — все то, что составляет духовную сущность человека, сопротивлялось смерти души и искало опору, как это было всегда, в слове.

В лагеря попадали уже известные поэты и начинающие литераторы (из Литинститута брали регулярно). Кроме того, и в лагерях, повинуясь все той же «глубокой и существенной потребности», люди начинали писать, рождались свои поэты. Сколько их было, лагерных, или, как назвал их А. И. Солженицын, «подпольных» поэтов — этого мы никогда не узнаем точно, но можно определенно сказать: много. По подсчетам современных историков, репрессировано было около шестидесяти миллионов — населения Франции, включая младенцев и стариков. Процент литературно одаренных людей среди шестидесяти миллионов заключенных должен быть такой же, как и среди вольных. Многое созданное ими погибло безвозвратно, но многое и сохранилось. Кто выжил, вернувшись из лагерей — записал свои стихи. Стихи погибших припоминают их товарищи...

Многие заключенные понимали, что их жизненный и нравственный опыт будет необходим будущим поколениям, поэтому они верили (и знали), что наступит время, когда эта тайная, катакомбная поэзия вольется в общенародную, частью которой она является, что их имена вспомнят.

Конечно, собственно лагерная тема — угнетения, издевательства, фантасмагорический быт — занимает большое место в стихах лагерников. Эти стихи страшны, как страшна была жизнь, которую они отражали. Но от лагерных поэтов собственное личное горе не закрывало горя их товарищей, горя всей страны: в лагерях раньше поняли, что происходит; и то, о чем сейчас пишут публицисты как о новом, там знали шестьдесят лет назад. Жизнь и судьба репрессированных была по сути более откровенной и четкой моделью всей жизни страны, всего народа, переход из положения вольного человека к заключенному или ссыльному был легок и закономерно-случаен, как и все другие пере-

мещения из одной социально-общественной группы в другую.
В борьбе так называемого «нового» со «старым» официальная поэзия под давлением власти теряла «старые» — общечеловеческие, национальные, гуманистические, моральные, исторические традиции. О них либо не говорилось, либо они извращались, либо были оклеветаны. От этого человеческие ценности и истины не переставали быть таковыми, но запрет на их знание должен был вести и вел к забвению их народом и к деградации нации. Лагерная поэзия (конечно, не только она — были «подпольные» поэты и на воле, но в основном все-таки она) приняла на себя сохранение тех духовных сокровищ, которым грозила гибель. В тюрьме великий ученый А. Л. Чижевский написал свои самые глубокие философские стихи, Д. Л. Андреев — историко-философскую лирику. В Бамлаге П. А. Флоренский пишет гуманистическую поэму «Оро», в произведениях лагерных поэтов звучат религиозные темы и мотивы, за колючей проволокой создавалась высокая, трагическая и светлая любовная лирика Анны Барковой...
Мы еще очень мало знаем эту литературу, не известны, не собраны, не напечатаны ее произведения, мало написано и о ней — кроме десятка-другого страниц в «Архипелаге ГУЛАГ» А. И. Солженицына, кажется, ничего и нет, но ее значение для нашего времени более важно, чем представляется на первый поверхностный взгляд. Литература эта — одна из тех животворных нитей, которая сохраняет связь времен, это — и рассказ о ее эпохе, и весть о прошлом, и прозрение будущего, а — главное — поэзия, созданная в тюрьмах и лагерях, в основе своей человечна, она свидетельствует даже одним своим существованием, что гуманизм и духовность — единственная достойная основа жизни человечества во все времена.
Сборник «Средь других имен» — первый сборник лагерной поэзии, созданной *там* и *тогда*, а не потом, по воспоминаниям. Эта поэзия в основе своей никогда не публиковалась (исключение — отдельные стихотворения Н. Заболоцкого, В. Шаламова, А. Жигулина и еще немногих поэтов), поэтому для сборника представили материалы ныне живущие поэты из своих архивов. Стихи погибших и умерших сохранили родные, товарищи по заключению. Низкий им поклон и благодарность. Нельзя забывать о том, что эти стихи сохранялись и тогда, когда их хранение было небезопасно.
Для настоящей публикации отобраны ранее не публиковавшиеся стихотворения, большинство имен впервые становятся известны читателю. Но это лишь начало, ряд имен лагерных поэтов безусловно будет пополняться, мы не знаем, какие нас еще ожидают открытия. Восстановить лагерную литературу мы можем только сообща, все вместе, поэтому я обращаюсь с просьбой ко всем присылать мне материалы о «подпольных» литераторах, а также лагерный фольклор.

Вл. МУРАВЬЕВ

Милый разговор:
— Велят мне вас повесить — зажмурюсь, а все-таки повешу.
Воробьи, малиновки, иволги, лягушки — целый день за окном.
Баба визгливая выскочила.
— Ты думаешь, как ты в галифях ходишь, так мы их тебе не спустим? Спу-устим!
Слух прошел, что в соседней деревне проявился «таиный агент». Так и сам о себе говорит:
— Я — коммунист и тайный агент.
Ну, а когда узнали, что и весь агент-то Матрены Кривой сын Федька Шелуха... так и бумагу ему написали: «Федьке Шелухе».
«Граждане не умеют себя вести в данном советском учреждении, разлагаются на столах и некоторые даже спят».
Лечение. В раны кладут — табак, деготь, колесную мазь. Приходят с флегмонами. Больных возят к «вошвам».
Умирают спокойно, деловито. И никто: ни умирающий, ни кругом — не волнуются. Старуха:
— Дай-ка, дай-ка сюда кофту-то. Тут заплатка сзади. Ну, ничего, на спине, не видать будет.
Дочь:
— Ты бы, мамка, платок-то с собой постарее взяла.
Мать:
— Нет, ты уж мне не перечь. Желаю, чтобы в этом.
— Кушай, жадочный, кушай. У нас вот тоже один из плена вернулся домой, на хлеб мягкий кэ-эк накинулся. Да как живот ему вздуло — через две недели и помер. Кушай, голубчик, кушай.
— Полтинники-то свои протри маленько.
(1918) Отслужили молебен; пришли к помещику:
— Ты барин хороший, мы все знаем, а уж прости — придется тебя повесить, нельзя иначе...

Рассказ В. Н.
«Мадонна» Рафаэля да Лоретто. Ее должны были выдать Франции при Наполеоне: надули, выдали копию. Торжество. В Лувре повесили. А оригинал — в одном монастыре. Позже Наполеон нашел ее там и, считая копией, подарил Жозефине Богарнэ. Жозефина вышла замуж за Демидова (?). «Мадонна» попала в Россию. «Мадонна» у Авроры (сестра Эмилии, о которой Лермонтов). Аврора — роковая женщина. 6 мужей, все умерли. Красавица, вдова. В нее влюбился Николай I и запретил ей выходить замуж. Она все же вышла за Григория Карамзина и была выслана в Сибирь. Взяла с собой обстановку одного из петербургских домов — и «Мадонну». Григорий Карамзин был взят на войну и убит. Аврора кончила жизнь в мраке и тоске, в Сибири.
В 1927—8 годах ученый нашел где-то в Нерчинске доску, переброшенную через канаву (с нечистотами из хлева). На доске — какое-то изображение. Это была расколотая надвое «Мадонна».

На пляже поставили два шеста с надписями: «Для мужчин», «Для женщин». Макс Волошин замазал дощечки масляной краской, они были как раз против его дачи. Жалоба исправнику на самоуправство. Исправник — мировому судье бумажку, где было сказано: «Известный декадент — Макс Волошин...», и бумажку Волошину, так и адресованную: «Максу Волошину». Макс ответил, что хотя он преисполнен к исправнику лучших чувств, однако не настолько, чтобы позволить называть себя уменьшительным именем Макс, и предпочел бы, чтобы его звали полным именем. Исправник обиделся и к мировому судье. Тот оставил дело без последствий.
Когда к Максу в дом заявился губернатор и исправник узнал об этом, он оробел. Он стоял у калитки вечером и ждал, и когда Макс вышел — исправник взял его под руку и сказал:
— Ну, стоит ли ссориться из-за пустяков? Ну, если хотите, зовите меня просто Миша.
Когда приехала губернаторша, исправник высылал городовых дежурить при ней, когда она, голая, лежала на пляже.

Женя. Ребенком — была очень красива: глаза, ресницы, рот. В 12 лет стала женщиной (крыса) — слишком рано, и тело осталось маленьким, тонким, а лицо — большое. Это не было безобразно, потому что лицо было чудесное, но было что-то странное в этой уменьшенной женщине, что одних отталкивало, других — притягивало.
Она рано стала думать о любви. Иные боялись ее, ее странных вопросов, иные — ее тела, никто не хотел даже шутя обнять ее. Она металась.
Появился уже пожилой, с проталинами в волосах, инженер. Влюбился в Женю. И она — не любя, одним своим маленьким телом — решила выйти за него.
Она — за границей, в Германии. Письма оттуда подруге. Сначала все хорошо, весело. И вдруг — беременность. Муж счастлив. Женя ни за что не хочет ребенка от нелюбимого (по-настоящему): она хочет избавиться от ребенка — пишет об этом подруге.
Это — не в России: трудно. Наконец, узнала, что можно — в Вене. Попытка уехать туда: муж поймал, понял все. Он решил настоять, чтобы ребенок был. Он вдруг изменился, из слуги стал господином. Она как в тюрьме, за нею следят. Муж уверен, что она родит и тогда все образуется.
Наконец — роды, тяжелые, двое суток. После родов она сошла с ума.

Леля. Очень красива, масса волос, сросшиеся брови. Очутилась в Москве без комнаты. На счастье — подруга разошлась с мужем, жила одна, — Леля поселилась у нее. Скоро у подруги — поклонник, потом — любовник-жених. Ей нужна была комната без свидетелей. Леля чувствовала, что она мешает, уходила гулять. Однажды подруга прямо сказала, чтобы она сегодня лучше не ночевала дома. Она вышла на улицу, долго ходила, потом пошла к студенту, двоюродному брату. Он, шутя, уже давно ухаживал за ней.
Ночью он ее взял... Он удивился: никак не думал, что она — девушка (слушательница драмстудии!). Женились. Год Леля сияла, ходила, одетая счастьем.
Появился ее старый поклонник. Когда он узнал, что Леля замужем, он пролил чай на скатерть и себе на колени. Он был смешон, Леля хохотала. Он понял, что его дело безнадежно. Исчез, но исчез где-то здесь, в Москве: его видели тут, там, пьяным в Кружке.
Однажды, когда мужа увезли в клинику — аппендицит — он явился к Леле. Он сказал, что сойдет с ума — или... или еще хуже, если она не будет ему принадлежать. Он говорил, качаясь на стуле — ножка подломилась, стул упал. Леля хохотала. Он сидел минуту бледный.
— Так вы смеетесь? Нет? Нет?
— Нет! — еле сказала Леля.
Он вытащил порошок, всыпал в чай и выпил.
Леля сидела, как статуя.
— Боже мой, как вы хороши... — Он не кончил, упал.
Тогда она вскочила, подхватила его в ужасе, в слезах. Позвала медичку из соседней комнаты. Отпаивали его — искусственная рвота и прочее. Отходили. Он лежал полумертвый. Остался до утра — к утру Леля отдалась ему — чтобы он жил, из милосердия...
Потом вернулся муж — у нее было двое. Мужу она сказала, он ответил тем, что понимает ее, но что теперь это должно прекратиться. Она обещала, но вечером опять пришел тот, другой.
Она мучилась. Однажды знакомый предложил ей понюхать эфир, чтобы забыть все. Она ухватилась за это. Нюхать надо было у знакомого в комнате. Нюханье кончилось тем, чем и должно было...
Потом пошли любовники без числа. Подруга видела однажды, как на вечеринке она пошла в темную кладовую рядом вместе с мальчиком-студентом, которого видела в первый раз. Они задержались там — подруга пошла за ней и увидела.
Она стала морфинисткой. Один молодой профессор увлекся ею и женился на ней. (Первый муж от нее ушел — не выдержал). Профессора она довела до того, что он спился. Сама она канула на дно. Говорили, что видели ее на улице...

КНИГИ Е. И. ЗАМЯТИНА:

Лица. — Нью-Йорк: 1955.
Повести. — Воронеж: Центр.-Черноземное кн. изд-во, 1986.
Сочинения. — М.: Книга, 1988.
Избранное. — М.: Правда, 1989.
Избранные произведения: повести, рассказы, сказки, роман, пьесы. — М.: Сов. писатель, 1989.
Мы: Роман. — М.: Худож. лит., 1989.

В МИРЕ КНИГ

ЩЕДРЫЕ СЕМЕНА

Передо мной два поэтических сборника двух поэтов-современников. Их имена широко известны — Юрий Кузнецов и Валентин Сорокин. А книги вобрали в себя все лучшее в лирике, что успели они сделать за свою жизнь в поэзии.
Листвю и ту, и другую с удовольствием, в них почти все знакомо, все на слуху...
У Кузнецова: «Какая даль, какие муки, Какая русская судьба, Что не слова, а только звуки Могу исторгнуть из себя!..»
У Сорокина: «Шелест листьев и вздох камыша, Словно жалоба или обида. Разве русская в мире душа Мало травлена, мучена, бита!»
Вот главный мотив их душевных исканий. Можно сказать, мотив традиционный для русской поэтической лирики. Но у этих двух поэтов традиция — не есть повторение, более того, их традиция жива, мудра и неоглядно неожиданна в выражении чувств.
У Кузнецова: «Раскинув руки, я упал с размаху, И Ночь меня засыпала росой. И мне не встать — сквозь мертвую рубаху Корнями в землю сердце проросло».
У Сорокина: «Не меж вами ль, гранитные скалки, Воздух родины замами спат, Окровавленных душ самородки Будто пламень грядущий лежат!»
Есть ли чувство извечнее, чем любовь к Родине, родной Земле, к Матери...
У Кузнецова: «Я пил из черепа отца За правду на земле, За сказку русского лица И верный путь во мгле. Вставали солнце и луна И чокались со мной. И повторял я имена, Забытые землей».
У Сорокина: «Я, не срезанный пулей солдат, Я, осознанно бьющий в набат, Я, кричащий в своей стороне: — Дайте Родину выручить мне... Но ползет по окопным цепям Дым сражений к лесам и степям».
Мне близка такая поэзия и понятна. Она наполняет мою душу чувством сопричастности и с землей, и с домом родным, и языком, способным выразить и передать мои мятежные желания, мои нежные надежды, мои безумно усталые мысли, мою натруженную боль о родной стороне, родных и близких людях, мои горести и утраты, мою непреходящую печаль о судьбе народа, ввергнутого в гнетущую лихололь века.
Все это есть в поэзии Юрия Кузнецова и Валентина Сорокина, все, потребное моему сердцу. И сказано это талантливо, вдохновенно могуче. Щедро брошены ими семена добра и любви... И будут щедры всходы!

Арс. КУЗЬМИН

Юрий Кузнецов. ЗОЛОТАЯ ГОРА. Стихотворения и поэмы разных лет. М.: Советская Россия, 1989 г.
Валентин Сорокин. ОБЕЩАНИЕ. Стихотворения и поэмы последних лет. М.: Современник, 1989 г.

КНИГОЧЕЮ НА ЗАМЕТКУ

Ляпин И. ИЗБРАННОЕ: СТИХОТВОРЕНИЯ. Поэмы / Вступ. ст. Е. Осетрова. — М.: Худож. лит., 1989. — 318 с. — 1 р. 80 к. 20 000 экз.
Скоп Ю. ИЗБРАННОЕ: Повести; Из книги раздумий «Открытки с тропы»; Факты минувшего дня: Роман. — М.: Худож. лит., 1989. — 734 с. — 2 р. 80 к. 100 000 экз.
Лесков Н. С. ЛЕГЕНДАРНЫЕ ХАРАКТЕРЫ: Сб. / Сост., вступ. ст., примеч. Н. Н. Старыгиной. — М.: Сов. Россия, 1989. — 614 с. — 2 р. 80 к. 300 000 экз.
Максимов С. В. ПО РУССКОЙ ЗЕМЛЕ: Сб. / Сост., подгот. текстов, вступ. ст. С. Н. Плеханова. — М.: Сов. Россия, 1989. — 528 с. — 2 р. 90 к. 100 000 экз.
СТАТЬИ И ВОСПОМИНАНИЯ О ВАСИЛИИ ШУКШИНЕ / Сост. Н. Н. Яновский. — Новосибирск: Кн. изд-во, 1989. — 326 с., ил. — 1 р. 40 к. 10 000 экз.
Некрасов А. С. ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ: Повесть, рассказы / Рис. В. Ротова. — Переизд. — М.: Дет. лит., 1989. — 349 с.: ил. — 1 р. 100 000 экз.
Воронин С. ТИХИЕ ЛЮДИ: Повести, рассказы. — Л.: Сов. писатель, 1989. — 427 с. — 1 р. 80 к. 100 000 экз.
Григорьев А. СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ / Сост., примеч. Е. Лебедева. — М.: Современник, 1989. — 270 с. — 1 р. 70 к. 25 000 экз.
ДЕТВОРА: Повести и рассказы русских писателей / Ред.-сост. Н. Гашева. — Пермь: Кн. изд-во, 1989. — 376 с., ил. — (Домашние вечера). — 2 р. 10 к. 100 000 экз.

АФИША ИЗДАТЕЛЬСТВА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

ЭКСПРЕСС-ИЗДАНИЯ 1989

ЭКСПРЕСС-ИЗДАНИЯ 1989

Сегодня свою продукцию «быстрого реагирования» представляет издательство «Молодая гвардия». Как видим, подбор книг не случаен — темы актуальны, находятся на острие читательского интереса.

ВЕРСТАКОВ В. Пылает город Кандагар: Стихи и песни. 3 л., 40 к., 20 000 экз. Эту «неизвестную» войну «афганец» Виктор Верстаков знает не понаслышке. Многие его стихи, передаваясь из уст в уста, стали солдатским фольклором. Сегодня с искренними, трагичными и правдивыми произведениями Верстакова знакомится всесоюзный читатель.

ВАЙНЕР Г., СЛОВИН Л. На темной стороне луны (серия «Стрела»). 10 л., 80 коп., 100 000 экз. Пока журналисты и ученые спорили на страницах печати о том, есть ли у нас в стране мафия, пока определялись в терминологии — что же назвать этим заграничным словом, мастера детективного жанра Г. Вайнер и Л. Словин написали повесть о «нашей» мафии. Время и место действия: 1986 год, Узбекистан.

СОЛОУХИН В. Северные березы: Стихотворения. 2,35 л., 50 к., 50 000 экз. В своей новой поэтической книге Владимир Солоухин размышляет о прошлом и настоящем нашего Отечества, социальных потрясениях, выпавших на его долю. В памяти писателя воскресают разрушенные храмы и дворцы, образы русской интеллигенции, ее крупнейших представителей, пострадавших в грозные годы революции, гражданской войны, а также в «мирные» периоды отечественной истории. Самые светлые страницы книги посвящены природе России.

О Великом инквизиторе. Достоевский и последующие. Сост. Ю. И. Селиверстов. 20 л., 1 р. 70 к., 100 000 экз. В. Розанов, К. Леонтьев, В. Соловьев, Н. Бердяев, С. Франк — созвездие имен представлено в книге не случайно. Томик впервые познакомит читателя с философскими работами, посвященными «вечному» сюжету о Великом инквизиторе, который нашел гениальное воплощение в «Братьях Карамазовых» Достоевского. Составил книгу известный художник Ю. И. Селиверстов, проиллюстрировав ее своими картинами на темы философии, творчества Достоевского.

ЛАВРОВ В., ШАПОШНИКОВ Ю. Истоки богатырства. Секреты атлетизма. 16 л., 1 р., 100 000 экз. Книга состоит из двух частей. В первой рассказывается об известных атлетах прошлого, легендарных богатырях, ставших гордостью России. Во второй части даются комплексы упражнений, благодаря которым можно стать не только сильным, но и хорошо сложенным, здоровым человеком.

ЛЕБЕДЕВ В. Мое измерение. 19 л., 2 р. 10 к., 100 000 экз. 211 суток провел на орбите дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР В. Лебедев. О том, чего стоят долгие дни и ночи космической жизни, узнаем мы из его рассказов.

РЫБАС С. Жертва. 12,5 л., 1 р. 20 к., 50 000 экз. Одна из самых трагических фигур первой мировой войны — генерал А. В. Самсонов, погибший в ее начале во время Восточно-Прусской операции, когда возглавляемая им армия совершила подвиг самопожертвования ради отвлечения уже прорвавшихся к столице Франции германских войск. Легендарному генералу посвящено произведение.

А теперь новый конкурс и новые семь призов для тех, кто пришлет правильные и самые полные ответы на наши вопросы:

1. У художника Ю. Селиверстова есть цикл работ под названием «Из русской думы». Портреты каких философов входит в этот цикл?

2. Какие произведения о наступлении армии генерала А. В. Самсонова во время первой мировой войны, помимо названного, вы знаете?

3. Повести и романы братьев Вайнеров, а также Л. Словина неоднократно экранизировались. Назовите эти киноверсии.

ЭКСПРЕСС-ИЗДАНИЯ 1989

Уважаемые читатели!

Вот и пришла пора подвести итоги конкурса, объявленного в № 6 журнала редакцией «Слова» и издательством «Современник».

«ЭВМ бы сюда!» — воскликнул один из членов конкурсной комиссии, взглянув на обилие конвертов, холмом возвышавшихся над редакционным столом. Однако приступив к анализу почты, мы вскоре вообразили, как машина, раскидав поначалу с самонадеянной легкостью все письма на кучки «правильно» и «неправильно», затем в нерешительности остановилась бы: чьи из десятков верных ответов признать лучшими...

«Вручную» перечитав весь ворох почты, решили: семи обещанных призовых мест удостаиваются те наши читатели, кто продемонстрировал глубокое знание вопроса, эрудицию, непервичную начитанность, кому поистине дорого творчество Анны Ахматовой. Москвичка С. В. Трофимова, бывая в Ленинграде, неизменно посещает Комарово, ухаживает за могилой Анны Андреевны. Жительница Киева Е. М. Ольшанская в первые годы, пока могила поэта не была забрана каменными плитами, посадила на нее большой красный пион. Письма, которые мы отобрали, обстоятельны, дополняют ответ на прямой вопрос рядом существенных подробностей. Однако должны предостеречь: лишние подробности — лишний случай ошибиться, как ошиблась, например, читательница из Ленинграда, неправильно указав дату смерти А. Ахматовой. И, хотя на все заданные нами вопросы она ответила верно, поздравлять ее сегодня не придется.

Значительная часть почты — это правильные, полные ответы, но... писанные как бы одним человеком, разными лишь почерками, и отправленные из разных концов страны. Их авторы избрали несложный путь: аккуратно выписали цитаты из юбилейных, июньских номеров периодики, почему-то не закавычив их и не сделав ссылки на источник. Этим читателям советуем на будущее более творчески относиться к участию в наших конкурсах.

Может быть, редакция и накалила страсти, пообещав отдать приоритет наиболее «быстрым разумом» конкурсантам. «Не было времени как-то уточнить ответы», — читаем торопливые строки письма С. М. Ларина из г. Родники Ивановской области. Очень жаль, Сергей Михайлович, что вы поспешили: ошибку сделали в первом же вопросе.

Авторов многих писем беспокоит их невыгодное положение по сравнению с москвичами, первыми получившими номер. Не волнуйтесь, уважаемые читатели, мы обязательно делаем поправку на расстояние и неспешную работу почты.

Понимаем, что в ажиотаже вокруг «прилавка с дефицитом» можно, разволновавшись, невзначай кого-то толкнуть, высказать кому-то несправедливый упрек — словом, стать вдруг не очень джентльменом... И все же, думаем, не стоило бы А. В. Иконникову из Котласа Архангельской области заканчивать свое письмо словами: «Вы ведете нечестную игру. Как могу я быть первым, если журнал получил 15 июля?» Отвечаем. Вы, товарищ Иконников, не стали первым, поскольку неверно ответили на один из вопросов.

Кажется, самое время привести правильные ответы.

1. Первый сборник стихов Анны Ахматовой «Вечер» вышел в 1912 году в Санкт-Петербурге.

2. Знаменитый «Реквием» посвящен сыну Ахматоеой Льву Гумилеву, незаконно репрессированному в 30-е годы. Личное горе Анны Андреевны слилось с трагедией народа, испытавшего ужас страшных лет сталинщины.

3. А. А. Ахматова похоронена в поселке Комарово под Ленинградом. Ее надгробие венчает большой крест, окованный медью.

А теперь назовем имена тех, чьи ответы признаны лучшими: Бланштейн Л. Л., Ленинград (приз — книга В. Шаламова «Левый берег»). Дмитриева П. Г., Печора, Коми АССР (В. Шаламов. Левый берег). Дорохова Н. Н., Печора, Коми АССР (В. Шульгин. Дни. 1920). Иванова З. В., Владивосток (В. Шульгин. Дни. 1920). Ольшанская Е. М., Киев (Реквием. Сборник стихов). Рожнев В. Т., Новосибирск (В. Пикуль. Честь имею). Трофимова С. В., Москва (Реквием. Сборник стихов).

Обещанные призы отправлены адресатам.

Поздравляем призеров. Благодарим всех, кто прислал ответы, и зовем к новым «баталиям», поскольку в каждом номере журнала — новый конкурс.

СЛОВО № 11 октябрь 1989

Издается с сентября 1936 года

Литературно-художественный журнал
Госкомпечати СССР и Госкомпечати РСФСР

В НОМЕРЕ:

Сдано в набор 29.08.89. Подписано в печать 04.10.89. А12639. Формат 84×108/16. Бумага Знаменская 100 гр. Печать глубокая и офсетная. Усл. печ. л. 8,40+0,84+0,42. Усл. кр.-отт. 21,42. Уч.-изд. 13,81+0,94. Тираж 162 442. Заказ 538. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 129272, Москва, Сущевский вал, 64

Телефон для справок: 281-50-98

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфкомбинат Госкомпечати СССР. 170024, г. Калинин, проспект Ленина, 5.

Во всех случаях обнаружения полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться на Калининский полиграфкомбинат по адресу, указанному в выходных сведениях. Вопросами подписки и доставки журнала занимаются предприятия связи.



Палехский гений

О себе он однажды сказал: «Материально я жил мерзко, но совершил революцию иконного искусства. Я ведь думаю: иконописцы — большие художники, и зло было слушать, когда, бывало, придешь на собрание, а председатель сельсовета клеймит нас богомазами, никому не нужными людьми».

В таком положении в начале 20-х годов оказался не только палешанин Иван Голиков (1886—1937), но все «богомазы», веками хранившие и передававшие из поколения в поколение тайны своего «святого ремесла».

Революция распорядилась по-своему с этим духовным наследием Руси...

Но Палех не просто сохранился, выжил как некий реликтовый островок. В Палехе произошла еще одна революция. Революция в искусстве, не уничтожившая, а сохранившая прошлое.

Палехский художник Иван Голиков сделал то, что не удалось свершить ни одному из народных сказителей, пытавшихся в те же самые годы создавать так называемые «новины» вместо традиционных «старин» (народное название былин). Каким бы выдающимся поэтическим даром ни обладали Марфа Крюкова, Анна Пашкова, Иван Фофанов или же Петр Иванович Рябинин-Андреев, их «новины» не привели к возрождению народной поэзии. Скорее, наоборот, — стали свидетельством глубочайшего кризиса, упадка. Еще одним — уже не теоретическим, а практическим подтверждением — нерасчлененности традиционного содержания и традиционных форм народного творчества.



И. И. Голиков, 1928 г.

П. Д. Корин (второй слева, сидит) среди палешан во дворе Третьяковской галереи. Стоит (первый справа) — И. И. Голиков

Но Иван Голиков свершил то невероятное, что не укладывается ни в какие теоретические постулаты и что подвластно лишь гению.

Ведь его «Битва», «Изба-читальня», «Косарь» — это и есть «новины», только не в фольклоре, а в народном изобразительном искусстве, которое тоже основано на неизменности и преемственности традиций. Но в том-то и дело, что Иван Голиков ничего не изменил и не разрушил. Он сохранил вековые традиции иконописного Палеха. Сохранил народное искусство от уничтожения, от беспамятства.

Правда, и сейчас есть «специалисты», для которых имя Ивана Голикова остается как бы вне пределов «подлинного» искусства. Но еще больше их было тогда, в 20—30-е годы, когда один из них писал: «У палехцев содержание едино с их мировосприятием, каким оно было до революции. И их искусство — это искусство иконо-былинно-сказочного мира, витиеватое, богатое «изографское» искусство теремной Москвы и является отдушиной для классово чуждой нам идеологии».

Но все подобные заклинания — как в прошлом, так и в настоящем — меркнут перед любой миниатюрой палешанина Ивана Голикова, перед его «Словом о полку Игореве», перед подлинно народным гением.

К. ЛУГИН